

# ПОЛ БЕЙТИ

## Продажная тварь



ОДИН ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ  
РОМАНОВ, НАПИСАННЫХ В XXI ВЕКЕ.

— *Los Angeles Times*



ОТ ЛАУРЕАТА БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2016 ГОДА



## Annotation

«Продажная тварь» — провокационный роман о расизме, политкорректности и двойных стандартах.

Кем можно вырасти в гетто, если твой отец — жестокий человек и социолог неортодоксальных взглядов, который все эксперименты ставит над тобой? Например, продавцом арбузов и знатоком человеческих душ, как герой этой книги. И что делать, если твой родной город с литературным именем Диккенс внезапно исчезает с карты Калифорнии? Например, попытаться вернуть город самостоятельно, размечая границы. Но все, что бы ни делал герой книги, не находит понимания у окружающих, особенно у местного кружка черных интеллектуалов, давших ему прозвище Продажная тварь.

Но кто на самом деле продался — он или все остальные?

---

- [Пол Бейти](#)
  - 
  - 
  - [Пролог](#)
  - [Греби говно лопатой](#)
    - [Глава первая](#)
    - [Глава вторая](#)
    - [Глава третья](#)
    - [Глава четвертая](#)
    - [Глава пятая](#)
    - [Глава шестая](#)
    - [Глава седьмая](#)
    - [Глава восьмая](#)
  - [Без сдачи, или дзен и поездки на автобусе как искусство восстановления отношений](#)
    - [Глава девятая](#)
    - [Глава десятая](#)
  - [Огни большого города: интерлюдия](#)
  - [Сплошные мексиканцы](#)
    - [Глава одиннадцатая](#)
    - [Глава двенадцатая](#)
    - [Глава тринадцатая](#)

- [Глава четырнадцатая](#)
  - [Глава пятнадцатая](#)
  - [Глава шестнадцатая](#)
- [Яблоки и апельсины](#)
  - [Глава семнадцатая](#)
  - [Глава восемнадцатая](#)
  - [Глава девятнадцатая](#)
  - [Глава двадцатая](#)
  - [Глава двадцать первая](#)
  - [Глава двадцать вторая](#)
  - [Глава двадцать третья](#)
- [Черный абсолют](#)
  - [Глава двадцать четвертая](#)
  - [Глава двадцать пятая](#)
  - [Глава двадцать шестая](#)
- [Завершенность](#)
- [Благодарности](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)

- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)

- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)

- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)

- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)

- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)



- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)

- [256](#)
  - [257](#)
  - [258](#)
  - [259](#)
  - [260](#)
  - [261](#)
  - [262](#)
  - [263](#)
  - [264](#)
  - [265](#)
  - [266](#)
  - [267](#)
  - [268](#)
  - [269](#)
  - [270](#)
  - [271](#)
  - [272](#)
  - [273](#)
  - [274](#)
  - [275](#)
  - [276](#)
  - [277](#)
  - [278](#)
  - [279](#)
  - [280](#)
  - [281](#)
  - [282](#)
  - [283](#)
  - [284](#)
-

# **Пол Бейти**

## **Продажная тварь**

© Чулкова С., перевод на русский язык, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Э“»,  
2018

\* \* \*

*Для Альтеи Амрик Вазоу*

## Пролог

Вы не поверите чернокожему, но я никогда в жизни ничего не крал. Не уклонялся от налогов, не мухлевал в карты. Не пытался без билета попасть в кинотеатр, а в аптеке всегда возвращал лишнюю сдачу кассиршам, лишенным меркантильности, это при их-то низких зарплатах. Я не грабил чужие дома, не врывался с пистолетом в винный магазин, чтобы выгрести кассу. Не отталкивал других, чтобы попасть в автобус или вагон метро, не занимал места для пожилых и инвалидов. Не вытаскивал из штанов свой огромный член и не мастурбировал с искаженным лицом. Но вот он я, в Верховном суде Соединенных Штатов, в этом огромном здании с бесконечными гулкими залами. Мою машину незаконно отогнали и припарковали, представьте себе, на бульваре Конституции. Мои руки заведены за спину и скованы наручниками, а мое право хранить молчание уже давно нарушено и похерено. Я сижу на стуле с мягкой обивкой, который, как и все остальное в этой стране, не так уж и удобен, как может показаться на первый взгляд.

Я оказался в этом городе после того, как получил официальное письмо с большим красным штампом «ВАЖНО!» большими буквами, как на лотерейных билетах. И как приехал — кручусь ужом на сковородке.

«Уважаемый сэр, — гласило письмо. — Поздравляем, возможно, именно вы станете победителем! Из сотен апелляционных дел именно ваше было отобрано к слушанию в Верховном суде Соединенных Штатов Америки. Вам оказана высокая честь! Настоятельно рекомендуем прибыть не позднее чем за два часа до заседания, которое состоится в 10 утра 19 марта ... года от Рождества Христова». Далее следовали подробности, как добраться до места из аэропорта, с указанием остановки метро и маршрута по автомагистрали I-95. Прилагались купоны на разные культурные мероприятия, на посещение ресторанов, проживание в мини-гостинице и прочее. Подпись отсутствовала. Письмо заканчивалось словами:

«Искренне ваш,  
Народ Соединенных Штатов Америки».

Вашингтон, Ди Си, с его широкими улицами, помпезными площадями, мраморными статуями, дорическими колоннами и куполообразными крышами напоминает Древний Рим (если бы в Риме имелись свои черные бездомные, собаки, натасканные на бомбы, туристические автобусы и цветущие вишни). Вчера днем, слово эфиоп в сандалиях на босу ногу, прибывший из дремучих джунглей Лос-Анджелеса, я отважился выйти из отеля и присоединился к хаджу деревенщины в синих джинсах, медленно и патриотично обозревающей исторические достопримечательности нашей империи. Я таращился на Мемориал Линкольна и диву давался. Интересно, если бы Честный Эйб вдруг ожил, приподняв свое шестиметровое костлявое тело из каменного кресла, что бы он сказал? Или сделал? Станцевал бы брейк-данс? Сыграл бы в орлянку на обочине? Или попросил бы сегодняшнюю газету и понял, что его Союз превратился в сборище плутократов, а люди, которых он освободил от рабства, подсели на R'n'B, рэп и хищническое кредитование? Наверное, решил бы, что его навыки больше подходят для баскетбольной площадки, а не для Белого Дома. Ловил бы крученые подачи, совершал трехочковые броски, держал стойку и матерился бы при неудачной подаче. Лучше, если бы много лет назад Великий эмансипатор притормозил со своей деятельностью.

Неудивительно, что Пентагон без конца воюет, заняться больше нечем. Они даже запрещают туристам тут фотографироваться. Поэтому когда династия ветеранов военно-морского флота в четвертом поколении в парадных формах потихоньку всучила мне «мыльницу», я был рад послужить родине — поснимал, как они встают по стойке «смирно», салютуют и делают «знаки мира» двумя пальцами. На Эспланаде я наблюдал одиночный «поход на Вашингтон». Белый парнишка лежал на лужайке, устроив инсталляцию. Казалось, что заостренный кверху памятник Вашингтону в отдалении торчит прямо из его расстегнутой ширинки как огромный белый член. Прохожие снимали парня на телефоны, а тот перешучивался со всеми, поглаживая получившийся фотоприапизм.

В зоопарке я задержался у клетки с приматами: белая посетительница сказала, что двухсоткилограммовый доминантный самец гориллы, который сидел на поваленном дереве, ревностно приглядывая за своим потомством, «похож на президента». Когда ее спутник, постукивая пальцем, указал на табличку «президентского» зверя с именем «Барака», девица громко расхохоталась, а потом испуганно умолкла, увидев рядом с собой меня — второго такого же двухсоткилограммового доминантного самца, сосущего огромный леденец «Чикита банана». Девушка безутешно заплакала и стала

извиняться передо мной (наверное, за то, что я вообще родился), а потом вдруг ляпнула: «Среди моих лучших друзей есть и обезьяны». Тут уж настала моя очередь смеяться. Я сразу понял, что она из Вашингтона. Весь этот город — сплошная оговорка по Фрейду, бетонный стояк от всех американских деяний и злодеяний. Рабство? Ну конечно, я забыл: Предопределение Судьбы<sup>[1]</sup>? Мещанские сериалы вроде «Лаверны и Ширли»? Невмешательство в действия Германии, которая пыталась уничтожить в Европе всех евреев? А вот мои лучшие друзья — Музей африканского искусства, Музей Холокоста, Музей американских индейцев, Национальный музей женского искусства. Я вам даже больше скажу: дочь моей сестры вышла замуж за орангутанга.

Нужно потратить всего один день на прогулку — Джорджтаун и Чайнатаун, Белый Дом, Феникс-хаус, Блэр-хаус и местный наркопритон, — и в голове все сразу встает на свои места. Что в Древнем Риме, что в современной Америке — везде ты либо гражданин, либо раб. Либо лев, либо еврей. Либо виновен, либо невинен. Тебе либо удобно, либо неудобно. И здесь, в Верховном суде Соединенных Штатов Америки, у меня, скованного чертовыми наручниками и скользящего по кожаной обивке стула, есть единственный способ не соскользнуть жопой на этот проклятый пол: я откидываюсь на спинку кресла с видом не то чтобы беззаботным, но безусловно выражающим презрение к правосудию. Звеня ключами, словно колокольцами над дугой, в зал ровным строем входят парами коротко стриженные судебные приставы, похожие на тяжеловозов-клайдсдейлей, связанных воедино любовью к Господу и отечеству. Главный пристав, тетка с фигурой бутылки «Бадвайзера», с перекинутыми через грудь наградами, хлопает ладонью по спинке моего сиденья, требуя, чтобы я сел прямо. Из свойственного мне гражданского протеста я демонстративно въеживаюсь в кресло еще сильнее, уперев ноги в пол, и мое ненасильственное сопротивление заканчивается тем, что я соскальзываю прямо на зад. Пристав хватает меня одной рукой (гладкой, без единого волоска) и, едва не проколов мне глаз ключом от наручников, поднимает обратно вместе со стулом и двигает к полированному, из красного дерева, столу цвета лимонного фрэша настолько близко, что я начинаю видеть собственное отражение. Я прежде не носил костюмы, и мужик, который мне его продал, сказал: «Тебе понравится, как ты в нем будешь выглядеть. Гарантирую». Но рожа, которая смотрела на меня из отражения на столе, была как у любого афроамериканца в деловом костюме — хоть с афрокосами, хоть с дредами или лысого, — чье имя вы не знаете и чье лицо вы не узнаете; проще говоря, это была рожа преступника.

«Когда хорошо выглядишь, то и чувствуешь себя уверенно», — пообещал продавец. Гарантировал. Как вернусь домой, потребую обратно свои сто двадцать девять долларов, потому что мне ни черта не нравится, как я выгляжу и как я себя чувствую. А чувствую я себя под стать костюму — дешево, весь чешусь и вот-вот расползусь по швам.

Как правило, копы ждут благодарностей. За то, что показали тебе дорогу к почте или избили до посинения в патрульной машине, или, как в моем случае, за то, что сняли с тебя наручники, вернули травку и курительные штуки, присовокупив традиционное для Верховного суда гусиное перо. Но на лице этой приставши написано сочувствие — я заметил это еще утром, когда вместе со своей кодлой она встречала меня на сорок четвертой ступеньке под фронтоном, на котором начертано «Правосудие для всех». Они стояли плечом к плечу, щурясь на утреннем солнышке, в куртках, припорошенных вишневыми лепестками, блокируя мне вход в здание. И я, и они понимали, что это такая шарада, бессмысленная демонстрация власти. Не шутил только служебный кокер-спаниель. Шурша поводком-рулеткой, пес обнюхал мои ботинки, брюки, ткнулся мокрым сопливым носом в пах, а потом сел рядом, довольно постукивая хвостом по ступеньке. Но мне вменялось настолько ужасное преступление, что арестовывать меня за пронос марихуаны в государственное учреждение было все равно что судить Гитлера за празднество или обвинять «Бритиш Петролеум» в раскидывании мусора после того, как эта ТНК пятьдесят лет взрывала нефтеперерабатывающие заводы и осуществляла разливы и выбросы ядовитых веществ в окружающую среду. Поэтому я двумя ударами громко выбиваю трубку о стол из красного дерева, чищу ее ершиком, смахнув на пол кусочки смолы, набиваю самосадом, и, словно командир расстрельной команды, зажигающий дезертиру последнюю сигарету, приставша угодливо щелкает передо мной зажигалкой. Я отказываюсь завязывать глаза перед казнью и делаю самую славную затяжку за всю историю курения травы. Зовите сюда всех расово профилированных, лишенных права на аборт, всех сжигателей национального флага, всех, воспользовавшихся пятой поправкой: пусть они требуют пересмотра своих дел — потому что я курю в суде высшей инстанции. Приставы уставились на меня с изумлением. Ведь я — ожившая мартышка из «обезьяньего процесса», недостающее звено в эволюции афроамериканской юриспруденции. Я слышу, как спаниель в коридоре скулит и царапает лапами дверь, пока я выдуваю ядерное грибообразное облако в лица на потолочных фризах. Хаммурапи, Моисей, Соломон — запечатленные в испанском мраморе заклинания о

демократии и справедливости, — Мухаммед, Наполеон, Карл Великий и какой-то полированный древнегреческий мажор в тоге. Интересно, с одинаковым ли презрением смотрели они сначала на парней из Скоттсборо [2], а потом на Альберта Гора-младшего?

Невозмутим лишь Конфуций. На нем китайский шелковый халат с широкими рукавами, сандалии кунфу. Борода и усы как у шаолиньского мастера-шифу. Я протягиваю ему трубку, предлагая затянуться. Ведь самый долгий путь начинается с одной затяжки...

— Херня о «самом долгом пути» — это Лао-Цзы, — говорит он.

— Все хуевы философы и поэты вечно талдычат одно и то же.

Этот мой трип — последний в череде ключевых дел, связанных с расовой принадлежностью. Думаю, исследователи конституции, культурологи и палеонтологи будут обсуждать, какой след я оставил в истории человечества. Будут делать радиоуглеродный анализ моей трубки, изучать, не прямой ли я потомок Дреда Скотта, черного человека-загадки, раба в свободной стране, который был настоящим мужчиной для своей жены и детей, настоящим мужчиной, судившимся со своим хозяином, но недочеловеком согласно букве Конституции, потому что в глазах суда он оказался всего лишь чьей-то собственностью — черным двуногим «без прав, которые должен бы уважать белый человек». Будут выискивать юридические обоснования, рыться в *antebellum vellum* [3], чтобы выяснить, подтверждает или опровергает мое дело решение Верховного суда по делу Плесси против Фергюсона [4]. Будут рыскать по заброшенным плантациям, гетто-кварталам, пригородным дворцам в тюдоровском стиле, разрешенным судом. Устроят погоню за призраками дискриминации: начнут выкапывать по задворкам окаменелые черно-белые игральные кости и домино, смахивая кисточкой пыль с замшелых судебных предписаний, сшитых в толстые тома, чтобы в итоге объявить меня «непредвиденным прецедентом поколения хип-хопа» в духе Лютера «Люка Скайуокера» Кэмпбэлла, того самого щербатого рэпера, который отстаивал свое право выступать перед белыми и пародировать их, как он пародировал до этого нас. Будь я по другую сторону судебной скамьи, я бы вырвал из рук главного судьи Уильяма Ренквиста авторучку и написал бы свое особое мнение: «Категорически утверждаю, что никакой придурок-рэпер с коронной песней вроде „Me So Horny“ не заслуживает уважения своих прав хоть со стороны белого человека или любого би-боя в замшевых „пумах“».

Дым дерет горло. «Правосудие для всех!» — ору я, в общем, в никуда. Это все следствие травки и моей хрупкой конституции. В районах вроде



того, где я вырос, бедных практикой, но богатых риторикой, пацаны говорят: «Пусть лучше меня судят двенадцать, чем унесут на кладбище шестеро». Это максима, заезженная строчка из рэп-лирики, алгоритм двух зол, проповедующий веру в систему, но на самом деле означающий: «Стреляй первым, уповай на госадвоката и благодари судьбу, что ты жив-здоров». Я не очень в этом искушен, но, насколько мне известно, положительных решений апелляционного суда еще не было. И я не слышал, чтобы какой-нибудь отвязный чувак с района говорил: «Пусть уж лучше мое дело проверят девять человек, чем я окажусь на милости одного арбитражного судьи». Люди сражались и погибали, чтобы добиться «правосудия для всех», о чем так беспечно сообщается с этого здания. Но виновен ты или нет, мало кто добирается до Верховного суда. Все апелляции сводятся к слезным обращениям матерей к Богу либо перезакладыванию бабушкиного дома. Если б я верил во все эти лозунги, тогда бы я сказал, что мне уже досталась толика правосудия. Но я не верю. Когда у людей есть необходимость украсить здание или сооружение всеми этими «Arbeit macht frei», «Самый большой городок в мире» или «Самое счастливое место на земле», это признак неуверенности в себе, отмазка за то, что они отнимают наше ограниченное пространство и время. Когда-нибудь были в городе Рино, штат Невада? Самый отвратный городишко на всей земле. И если Диснейленд и впрямь был бы раем, то о нем молчали бы в тряпочку и вход туда был бы бесплатным, а не равнялся среднегодовому подушевому доходу в небольшом центральноафриканском государстве вроде Детройта.

Но я не всегда так думал. В юности мне казалось, что все проблемы Черной Америки можно решить одним махом, имея собственный девиз. Что-то емкое, например *Liberté, égalité, fraternité*. И чтобы этот наш девиз был на каждой калитке из искусно кованного железа, на вышивках, висящих в рамках на кухне, на торжественных флагах. Этот девиз, как лучшие примеры афроамериканского фольклора и лучшие прически, должен был быть простым и в то же время емким. Благородным и в некотором смысле уравнительным. Визитная карточка целой расы, внешне вроде бы неотделимой от остальных, но которую подспудно считают очень, очень черной. Я не знаю, откуда понабралась всего этого молодежь, но когда все твои друзья называют своих родителей по имени, мне кажется, тут что-то не так. И сегодня, когда все кругом такие дерганые из-за кризиса, неплохо было бы распавшимся негритянским семьям вновь собраться у семейного очага, умиротворенно разглядывая любовно собранные на каминной полке самодельные памятные тарелочки с добрыми пожеланиями

и золотые монеты с ограниченным тиражом, купленные под впечатлением ночной телерекламы по кредитке с давно превышенным лимитом.

Есть же девизы у других этносов. Например, индейцы чикасо: «Непобежденные и непобедимые». Правда, он не подходит ни к войне на стороне Конфедерации, ни к игровым столикам в казино. «Аллах Акбар», «Шиката га най»<sup>[5]</sup>, «Никогда снова», «Выпускники Гарварда 1996 года», «Защищать и служить»<sup>[6]</sup> — все это не пустые слова и не затертые приветствия. Это коды, наполняющие энергией. Лингвистическое воплощение ци, дающее жизненную силу и связывающее нас с другими человеческими существами сходного цвета кожи, носителями общих смыслов и обуви. Как там говорят в Средиземноморье? *Stecca faccia, stessa razza*. Одна раса, одно лицо. У каждой расы есть свой девиз. Не верите? Знаете того темноволосого парня из отдела кадров? Он ведет себя как белый, говорит как белый, но сам-то он не совсем чтобы белый<sup>[7]</sup>. Вот спросите у него, почему мексиканские футболисты такие безбашенные и насколько безопасна мексиканская уличная еда? Давайте, толкните его плечом, хлопните его по плоскому мексиканскому затылку, и вот увидите, он обернется с «пронунсьямьенто»<sup>[8]</sup>: *¡Por La Raza — todo! ¡Fuera de La Raza — nada!* (Своим — все! Чужим — ничего!)

Когда мне было десять, я любил зарываться вечерами под плед вместе с желтым говорящим медвежонком «Фаншайн», напичканным загадочно-пенистым чувством языка и блумианским догматизмом. То был самый грамотный из всех «заботливых мишек» и мой самый строгий критик. Нам было уютно в нашей маленькой вязкой пещере, и мишка старательно держал в своих коротких желтых лапах фонарик, пока я пытался подобрать фразу из восьми слов (длиннее нельзя), способную спасти всю черную расу. Стараясь найти применение латыни, которую нам задавали на дом, я выдумывал девизы и подсовывал их под пластиковый мишкин нос в форме сердечка. Прочитав мой первый девиз, «Черная Америка: *Veni, vidi, vici — жареные птички!*», мишка зашевелил ушами и расстроенно закрыл свои пластиковые глазки. От «*Semper Fi, Semper Funky — верен долгу, да никакого толку*» полиэстеровая желтая шерсть на мишке встала дыбом, он поднялся во весь свой крошечный рост и гневно затопал короткими ножками, оскалив острые клыки и выпустив когти. А я судорожно пытался вспомнить, что написано в учебнике для бойскаутов про усмирение озверевших плюшевых медведей, опьяненных вином из шкафа и редакторской властью. «Если вы встретили сердитого мишку, сохраняйте спокойствие. Говорите тихим уверенным голосом, притворитесь взрослым.

Пусть ваши латинские фразы будут лаконичными, грамотно оформленными и позитивно настроенными».

*Unum corpus, una mens, una cor, unum amor.*

Одно тело, один разум, одна душа, одна любовь.

А что, неплохо. Для номерного знака пойдет. Я уже представлял мой девиз, выгравированный курсивом по краю медали за воинскую доблесть. Нельзя сказать, чтобы мишке совсем не понравилось, но по тому, как он сморщил нос перед тем, как мы оба наконец заснули, я понял, что формулировка подразумевает стереотип, к тому же разве черные не жалуются постоянно на то, что их считают единой группой? Я не стал будить Фаншайна, чтобы сказать ему: чернокожие действительно думают одинаково. Сами они вряд ли признаются в этом, но каждый черный считает, что он лучше другого черного. Ответа от Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и Национальной городской лиги я так и не получил, так что девиз черных по-прежнему существует всего лишь в моей голове, и я с прежним нетерпением жду, что вот появится какое-нибудь движение с придуманным мной логотипом, потому что в наше время логотип решает все.

А может, нам и не нужен девиз. Ведь сколько раз мне говорили: «Знаешь, ниггер, мой девиз по жизни...»? Будь я поумней, я бы нашел применение своей латыни. Брал бы по десять долларов за слово. Или даже пятнадцать, если человек не из нашего квартала или если кто-то попросит перевести «Don't hate the player, hate the game»<sup>[9]</sup>. Если и впрямь тело человеческое — храм божий, то я точно смогу заколачивать хорошие бабки. Открою лавочку где-нибудь на бульваре, и выстроится ко мне длинная очередь из татуированных клиентов, превративших себя в неконфессиональные места поклонения. За место на животах соперничают коптские кресты, аканские птицы-санкофы, ацтекские боги солнца и одинокие галактики звезд Давида. По бритым икрам и по позвоночникам сползают китайские иероглифы — синологические заклинания, посвященные умершим близким. Они думают, это значит: «Покойся с миром, бабуля Беверли», но на самом деле это читается как «Нет квитанся»<sup>[10]</sup> — нет двустороннего торгового соглашения!». Да, парень, это настоящее золотое дно. Обкуренные, они станут прибегать даже ночью. Я буду сидеть за перегородкой из оргстекла и сделаю такой металлический передаточный лоток, как в кассах на заправках. Буду толкать лоток от себя,

а клиенты — тайком — совать туда свои прошения, словно тюремные малявы. Чем круче мужик, тем аккуратнее его почерк. Чем мягкосердечнее женщина, тем задиристее фразы. «Вы же меня знаете, — начнут они, — мой девиз таков...» И кидают в лоток деньги и цитаты из Шекспира, из «Лица́ со шрамом»<sup>[11]</sup>, библейские стихи, школьные афоризмы и шпанистые высеры. Чем бы это ни было написано — кровью ли, подводкой для глаз, на смятой салфетке из бара, на одноразовой тарелке со следами шашлычного соуса или картофельного салата, или это бережно хранимая страница, вырванная из тайного дневника времен пребывания в колонии для несовершеннолетних, — чтоб я сдох, если выдам кому-то чужую тайну, *Ya estuvo*<sup>[12]</sup> (что бы это ни значило). Я буду относиться к работе серьезно. Ведь мне придется иметь дело с людьми, для которых фраза «А если я приставлю пушку к твоей башке?» не теоретическая. А когда кто-то прижимает к твоей татуировке «инь-ян» на виске холодное металлическое дуло, тебе уже не нужно читать Книгу Перемен «И-Цзин», чтобы постичь великое равновесие во Вселенной и магическую силу тату на заднице. Да и что может стать твоим девизом, кроме «Все возвращается на круги своя». *Quod circumvehitur, revehitur.*

Когда в делах наступит затишье, они придут ко мне, чтобы показать дело рук моих. В свете уличных фонарей на их потных накачанных торсах во всей своей орфографической красе блещут староанглийские буквы. Глупость гуляет, а деньги решают... *Pecunia sermo, somnium ambulo.* Дативы и аккумулятивы, вплетенные в яремные вены. В этом что-то есть, когда фразы, написанные на языке науки и романтики, серфингуют по гладкой толстомясости девиц с района. Клёво-хуёво... *Austerus verpa.* Хрупкие склонения существительных телеграфной лентой украсят их лбы, и это будет единственной для них возможностью побыть белыми, читая как белые. Подкрадывайся сзади, или окажешься в аде... *Criptum vexo vel carpo vex.* Такой неэссенциальный эссенциализм. Кровь за кровь... *Minuo in, minuo sicco.* Какое блаженство посмотреть на свой девиз в зеркальном отражении и подумать, что, если б Юлий Цезарь был черным, он так бы и сказал: любой ниггер если не параноик, то чокнутый... *Ullus niger vir quisnam est non insanus ist ravidus.* Действуй соответственно возрасту, а не размеру обуви... *Factio vestri aevum, non vestri calceus amplitudo.* А если все более и более плюралистическая Америка решит заказать новый девиз, я готов к сотрудничеству. Придумаю что-нибудь получше, чем *E pluribus unum* («Из многих — единое»).

*Tu dormis, tu perdis...* Кто первый встал, того и тапки.

Кто-то забирает у меня трубку:

— Хорош, старик, время — деньги. Пора за дело, братан.

Мой адвокат и старый друг Хэмптон Фиск отмахивается от остатков дыма и окутывает меня противогрибковым облаком освежителя воздуха. Я еще под кайфом и не могу говорить, и мы просто киваем друг другу и заговорщически улыбаемся, узнавая этот аромат. «Тропический Бриз» — таким же мы пытались задурить голову родителям, перебивая запах «ангельской пыли». Если мама Хэмптона приходила домой, скидывала с ног тряпичные эспадрильи и в воздухе носились ароматы яблока с корицей или клубники со сливками, то было ясно: детки накурились. А если в хате воняло РСР, ангельской пылью, то можно было обвинить «дядю Рика и его друзей». А иногда его мама была такой уставшей, что просто молчала, отгоняя от себя подозрения, что ее единственный сын зависим от транков, и надеялась, что проблема рассосется сама собой.

Вообще-то слушания в Верховном суде не в сфере компетенции Хэмпта. Он — адвокат по уголовным делам старой школы. Если звонишь ему в контору, то долго висишь на телефоне и ждешь ответа. И не потому, что у него нет секретарши или он говорит по другой линии с очередным бедолагой, прочитавшим его объявление на автобусной остановке или наткнувшимся на номер «1-80 °СВОБОДА» (за небольшие деньги нацарапанный такими же бедолагами — на металлических зеркалах в обезьянниках или на перегородках из оргстекла в полицейских машинах). Хэмп просто смакует собственное десятиминутное послание на автоответчике, в котором перечислены все его юридические победы и достижения.

*«Вы позвонили в компанию Фиска. Любая адвокатская контора определит, по какой статье вам будет предъявлено обвинение, но вытащим вас только мы. Убийство — невиновен. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — невиновен. Нападение на полицейского — невиновен. Сексуальные домогательства — невиновен. Избиение ребенка — невиновен. Нанесение побоев пожилым — невиновен. Кража — дело закрыто. Мошенничество — дело закрыто. Семейное насилие — закрыто более тысячи дел. Развратные действия с несовершеннолетними — дело закрыто. Вовлечение несовершеннолетнего в распространение наркотиков — дело закрыто. Похищение — дело закрыто...»*

Хэмп знает, что выслушать практически весь уголовный кодекс округа Лос-Анджелес хватит терпения только у самых отчаявшихся — сначала на английском, потом на испанском, а потом еще и на тагальском. Интересы

именно таких людей он любит представлять в суде. Он называет нас отверженными Земли. Людей слишком бедных, чтобы позволить себе кабельное телевидение, и слишком глупых, чтобы понять: они мало что при этом теряют. «Если б у Жана Вальжана был такой адвокат, как я, — любит повторять Хэмп, — роман „Отверженные“ состоял бы всего из шести страниц. Украл буханку хлеба — дело закрыто».

На записи автоответчика нет преступлений, которые вменяются мне. Прежде чем дать мне слово, судья окружного суда зачитал длинный список. По совокупности я обвинялся во всем на свете — начиная с осквернения образа родины и заканчивая заговором с целью испортить им всю обедню, когда все так хорошо. Я ошарашенно стоял, пытаюсь найти промежуток между «виновен» и «невиновен». У них что, нет других вариантов? «Почему я не могу быть ни тем, ни другим? Или обоими сразу?» — думал я. Набрав в грудь воздуха, я наконец обратился к суду:

— Ваша честь, я ведь живой человек.

Судья понимающе хмыкнул и сделал мне замечание за неуважение к суду. Но тут вмешался Хэмп и полущутя попросил, с учетом серьезности предъявленных обвинений, перенести слушания в Нюрнберг или Салем, штат Массачусетс. Хэмп не проговаривал этого со мной, но, думаю, последствия дела, которое он сперва счел обычным случаем абсурда в черном городе, так его поразили, что прямо на следующий день он подал апелляцию в Верховный суд.

Но это все не новость. Сегодня я нахожусь в Вашингтоне, округ Колумбия, болтаясь как полуповешенный на веревке юридической казуистики, задолбанный тяжбой и обдолбанный марихуаной. Во рту пересохло, словно я проснулся в автобусе номер семь, бухой в стельку после ночной гулянки и кувыркания с мексиканскими девчонками на пирсе в Санта-Монике, смотрю в окно и сквозь марихуанный угар медленно осознаю, что проехал свою остановку и представления не имею, где я и чего это на меня все так уставились. Например, эта черная женщина-учительница в первом ряду с перекошенным от гнева лицом, что тянется вперед через деревянные перила: она вскидывает руки и показывает мне два средних пальца с маникюренными накладными ногтями. У темнокожих женщин красивые руки, и сейчас эти руки, с их энергичными, иди-ка-ты-на-хуй-грациозными движениями, взбивают воздух, словно масло какао. Это руки поэта, со звенящими медными браслетами на запястьях, руки университетского поэта, в чьих элегиях все сравнивается с джазом. Рождение ребенка — это как джаз. Мохаммед Али — это как джаз. Филадельфия — это как джаз. Джаз — это как джаз. Все как джаз, кроме

меня. Я для нее — всего лишь англосаксонский ремикс присвоенной музыки черных. Я — Пэт Бун, исполняющий жиденькую версию песни Фэтс Домино «Ain't That a Shame»<sup>[13]</sup>. Я — каждая нота непанкового британского рок-н-ролла, который кто только не исполняет с того времени, когда Beatles порвали всех умопомрачительным вступительным аккордом песни «A Hard Day's Night». И мне хочется крикнуть ей: а как же Бобби Колдуэлл с его «What You Won't Do for Love», Джерри Маллиган, Third Bass и Дженис Джоплин? А Эрик Клэптон? Ладно, забираю свои слова обратно. Хуй с этим Эриком Клэптоном. Грудь вперед — учительница перепрыгивает через перила, пробирается сквозь полицейское оцепление и бросается ко мне. «Смотри, какая она длинная, шелковистая, мягкая и стоит кучу денег! Видел, ты, ублюдок, и чтоб обращался со мной как с королевой!» Шаль а-ля Тони Моррисон<sup>[14]</sup> волочится за ней как кашемировый хвост воздушного змея.

Она подносит свое лицо к моему, тихо и бессвязно бормоча про черную гордость, про корабли с рабами и компромисс «трех пятых»<sup>[15]</sup>, про подушный налог<sup>[16]</sup>, про Рональда Рейгана, про Марш на Вашингтон, про миф о нападении защитников, про то, что даже лошади ку-клукс-клана в белых пополах были расистами и что — самое главное — сейчас важно защитить ранимые умы «молодой чернокожей молодежи», ведь среди них оказывается все больше безработных. Рядом с ней стоит слабоумный мальчик, обхватив учительницу обеими руками за бедра, зарывшись лицом в ее пах. Да, ему явно нужен опекун, который еще бы и занялся его головой. На секунду мальчик отстраняется от учительницы, потому что ему жарко. С молчаливым недоумением он смотрит на женщину, пытаясь понять, за что она так меня ненавидит. Не получив ответа, мальчик снова зарывается во влажное тепло, вопреки стереотипу, что чернокожие мужчины так не поступают. Что бы я мог ему объяснить? «Умеешь играть в „Горки и лестницы“? Так вот, представь: раскручиваешь стрелку, она указывает тебе на шесть ходов, и в результате ты скатываешься по длинной извилистой красной горке с цифры шестьдесят семь на двадцать четыре, понимаешь?»

— Да, сэр, — вежливо отвечает мальчик.

— Так вот, — говорю я и глажу его по неровной, словно фигурный молоток, голове, — я и есть та самая красная горка.

Учительница-поэт дает мне пощечину. И я знаю за что. Ей, как и большинству присутствующих, нужно, чтобы я чувствовал себя виноватым, чтобы я сокрушался, плакал и извинялся. Ей хочется, чтобы я показал



раскаяние, зарыдал, сэкономил государственные деньги и спас ее от унижения, потому что она тоже черная. Да я и сам жду, когда знакомое, всепоглощающее чувство черной вины поставит меня на колени. Собьет меня на пол, отняв бессмысленный идиоматический костыль, пока я не согнусь в мольбе перед Америкой, слезно каясь в своих грехах перед цветом кожи и страной, упрашивая о помиловании свою гордую черную историю. Но ничего не происходит. Жужжит кондиционер, я все еще под кайфом. Охрана препровождает учительницу на место: мальчик плетется за ней, вцепившись в шаль, как в реликвию. Клеймо от пощечины, которое должно бы гореть на коже во веки веков, уже побледнело, и я не ощущаю ни малейшего укола совести.

Вот же черт: меня судят на всю жизнь, но впервые я не испытываю никакой вины. Эта вездесущая вина, черная, как подгорелая корка на яблочном пироге в фастфуде или баскетбол в тюрьме, ушла. Это почти как почувствовать себя белым. Ты вдруг освобождаешься от стыда за цвет кожи, того стыда, что заставляет чернокожего очкарика-первокурсника трястись в ожидании пятницы, когда в столовой подадут жареного цыпленка<sup>[17]</sup>. В колледже я был тем самым «этническим многообразием» — так это громко именовалось в глянцевых журналах, — но ни за какую стипендию я не стал бы жадно обсасывать куриную ножку под любопытными взорами однокашников. Я больше не участвую в этой коллективной вине, которая удерживает чернокожего виолончелиста на стуле в третьем ряду оркестра, чернокожую секретаршу, складского работника, победительницу конкурса красоты («и ничего в ней такого особенного, она просто черная») от того, чтобы однажды в понедельник прийти на работу и пристрелить всех белых ублюдков. Чувство вины заставляло меня бормотать «извините» за каждую неудачную передачу на площадке, за каждого политика под следствием, за каждого пучеглазого комика с голосом, в который прокралась негритянская хрипотца, за каждый фильм о черных, начиная с 1968 года. Но теперь я снимаю с себя всякую ответственность, поняв, что мы, чернокожие, не чувствуем за собой никакой вины, только когда действительно что-то натворим, избавившись, таким образом, от когнитивного диссонанса — как это можно быть черным и ни в чем не виноватым, и тогда перспектива оказаться в тюрьме приносит облегчение. В том смысле облегчение, когда срамить черных — облегчение. Голосовать за республиканцев — облегчение. Жениться на белой женщине — облегчение, правда только временное.

Беспокоясь оттого, что мне так спокойно, делаю последнюю попытку воссоединиться со своим народом. Закрываю глаза, кладу голову на стол,



носом в сгиб локтя. Сосредоточиваюсь на дыхании, изгоняя из сознания национальные флаги и фанфары, прорубаясь сквозь огромные залежи собственных размышлений, пока, наконец, не выуживаю оттуда поцарапанную архивную пленку, посвященную борьбе за гражданские права. Беру аккуратно пленку за края, вытаскиваю бобину из металлической коробки-саркофага, заправляю пленку в зубчатый барабан мысленных целей, проматываю через психологические препятствия, пока в голове моей мигает лампочка благих намерений. Включаю проектор. Тут даже фокус наводить не надо. Бойня всегда отображается в памяти в самом высоком разрешении. Все образы отчетливы, как на плазменной панели. Этот бесконечно прокручиваемый в голове месячный обзор из истории чернокожих: лай собак, плюющиеся огнеметы, кровавые карбункулы на головах со стрижкой за два доллара. Бесцветная кровь стекает по блестящим от пота лицам, светящиеся экраны телевизоров с последними новостями — все эти кадры составляют наше коллективное 16-миллиметровое суперэго. Но сегодня я — *medulla oblongata*, продолговатый мозг, который не умеет сосредоточиваться. Пленка в голове дергается, протягивается с перебоями. Обрывается звук, и если до этого люди падали как домино — это во время событий в Сельме, штат Алабама<sup>[18]</sup>, — то сейчас они похожи на кистоунских негров<sup>[19]</sup>. Словно вся эта толпа поскользнулась на одной и той же банановой кожуре и разом вывалилась на улицы, переплетя ноги и мечты в единый спутанный клубок. Участники марша на Вашингтон вдруг превращаются в зомби: сто тысяч мускулистых сомнамбул шагают в ногу в сторону супермаркета, протягивая жадные скрюченные пальцы, чтобы оторвать себе фунт плоти. Главный зомби, тот, что впереди, кажется измученным: его воскрешают из мертвых каждый раз, когда нужно разобраться, что черным позволено, а что — нет. Этот зомби, не зная, что микрофон включен, бормочет себе под нос: если б он попробовал то безвкусное пойло, которым торговали на Юге в кафе для черных, выдавая за чай со льдом, он отказался бы от борьбы за гражданские права, даже не начиная. Еще до бойкотов, избиений, убийств. Зомби ставит баночку с диетической содой на трибуну. «С колой дела пошли лучше. Это вещь!» — говорит он.

Нет, я не чувствую за собой никакой вины. Даже если я иду против хода истории и тяну за собой всю черную Америку, мне все равно. Разве я виноват, что единственным ощутимым достижением борьбы черных за свои права стало то, что они теперь не боятся собак, как прежде? Конечно, нет.

Судебный маршал встает, ударяя молоточком, и нараспев выводит: «Его Честь Председатель Верховного суда Соединенных Штатов и члены Верховного суда Соединенных Штатов».

Хэмптон, пыхтя, помогает мне подняться, и мы, как и все присутствующие в зале, почтительно замираем. В комнату входят судьи, всем своим видом выражая полную беспристрастность. Прически их выдержаны в стиле времен Эйзенхауэра, на лицах — тупое выражение «быстрее бы прошел рабочий день». Беда в том, что нельзя не выглядеть помпезно, если ты одет в черную мантию, да еще один из них, который афроамериканец, забыл снять платиновые «Ролексы» за пятьдесят тысяч штук. Если б у меня была гарантированная работа, как у Его Чести, я бы перещеголял этого ублюдка.

*Слушайте, слушайте, слушайте!*

Сейчас, после пяти лет бесконечного количества судебных решений, после всех отводов, апелляций, перенесенных заседаний и предварительных слушаний, я уже и сам не знаю, кто я — истец или подзащитный. Но я отчетливо вижу, что этот мрачный судья с пострасовым хронометром на запястье неотступно на меня пялится. Черные бусины его глаз уперлись в меня немигающим взглядом, в котором нет прощения. Он зол — ведь я практически насрал на его политическую целесообразность. Я испортил ему всю обедню, как тот мальчишка, впервые оказавшийся в зоопарке, несколько раз тщетно прошедший мимо вроде бы пустой клетки с рептилией, как вдруг останавливающийся у ограды и кричащий: «Вот он, глядите!»

Вот он, глядите! *Chamaeleo africanus tokenus*. Африканский хамелеон. Он спрятался в гуще кустарника, обхватив скользкими лапками судебную ветвь власти, и замер, тихо жуя листья неправосудных деяний. «С глаз долой, из сердца вон» — девиз чернокожих рабочих. Но сейчас вся страна увидела: мы все прижались носами к стеклу, дивясь, как он умудрился так долго маскировать свою черную алабамскую задницу на фоне красно-белосиних полосок американского флага.

*Все, у кого есть дело к достопочтенным судьям, к Верховному суду Соединенных Штатов Америки, пусть приблизятся и внемлют, ибо суд уже занял свои места. Боже, спаси Соединенные Штаты и высокий суд!*

Хэмп вжимает меня обратно в кресло, чтобы я не доставлял беспокойства чернокожему судье и республике, которую тот олицетворяет. Это вам не суд народа, а Верховный суд. От меня сегодня вообще ничего не требуется. Не надо предъявлять судьям копии квитанций из химчистки, полицейские рапорта или фотки смятого бампера. Тут судьи задают

вопросы, адвокаты предъявляют свои доводы, а я могу просто расслабиться в кресле и ловить кайф.

Председатель открывает заседание. Его спокойная манера человека, родившегося на Среднем Западе США, как нельзя лучше подходит для того, чтобы не нагнетать сейчас лишние страсти:

— Приступим к прениям по делу 09–2606...

Председатель замолкает и протирает глаза, чтобы сохранить самообладание:

— ...по делу 09–2606 «Я против Соединенных Штатов Америки».

Никакого взрыва негодования. Кто-то просто хихикает, делает большие глаза, цокает языком, но потом раздаётся одиночный громкий возглас: «Да что за хуй такой?» Ну да, согласен, «Я против Соединенных Штатов Америки» отдаёт манией величия, но как ещё я должен был сформулировать? Ведь «Я» — это я в буквальном смысле слова, скромный потомок семьи Я из штата Кентукки. Наша семья принадлежит к первой волне чернокожих переселенцев, осевших на юго-западе Лос-Анджелеса. Я могу проследить историю своего рода вплоть до первого корабля (хотя в данном случае это был автобус «Грейхаунд»), на котором мы бежали, спасаясь от развязанных государством репрессий на Юге. Когда я родился, отец, подражая лукавой традиции артистов-евреев переиначивать свои имена на зависть менее изворотливым и менее удачливым чернокожим, тоже решил урезать свою фамилию, убрав в конце ненужную букву «а». Это примерно как Джек Бенни забил на то, что он Бенджамин Кубельски, Кирк Дуглас — Даниелович, а Джерри Льюис — Дин Мартин. Это как Макс Байер забил на то, что он Шмелинг, парни из 3rd Bass забили на науку<sup>[20]</sup>, а Сэмми Дэвис-младший в конце концов забил-таки на иудаизм<sup>[21]</sup>. Что до отца, он просто не хотел, чтобы эта лишняя гласная мешала мне жить, как мешала ему. Отец любил повторять, что мою фамилию он не сделал более английской и не африканизировал, а просто оптимизировал её, тем самым подчеркивая, что я сразу родился с огромным потенциалом и могу перескочить третью ступень пирамиды Маслоу, третий класс и Христа.

Прекрасно понимая, как часто самые уродливые кинозвезды, самые белые рэперы и самые тупые интеллектуалы умудряются стать уважаемыми представителями своей профессии, Хэмп, адвокат с обликом уголовника, проводит языком по резцу в золотой коронке, кладет на кафедру зубочистку и поправляет на себе костюм — белый, как молочный зуб младенца, мешковатый, словно кафтан, — двубортный ансамбль,

висящий на его костлявой фигуре как сдувшийся воздушный шар. Костюм, который, в зависимости от ваших музыкальных предпочтений, удачно сочетается (или не сочетается) с его черной, как аспид, химической завивкой а-ля Клеопатра и с его цветом кожи — черным, как тьма после нокаута Майка Тайсона в первом раунде. Я уже почти готов услышать из его уст: «Уважаемые сутенеры и сутенерши, вы, очевидно, уже слышали о непорядочности моего клиента. Это еще мягко сказано, потому что на самом деле он просто жулик!» В наше время, когда общественные активисты получили в свое распоряжение миллионы долларов и возможность выступать на разных телешоу, таких олухов, как Хэмптон Фиск, готовых работать бесплатно, осталось немного. Он верит в систему и Конституцию, но одновременно прекрасно осознает, что риторика и реальность находятся в отрыве друг от друга. Я понятия не имею, верит ли Хэмп в меня, но точно знаю: стоит ему взяться за безнадежное дело, он закусит удила и забудет обо всем на свете. Потому что его профессиональный девиз — «У бедных что ни день, то джинсовая пятница».

Не успел Фиск произнести вступительную фразу, как чернокожий судья подался в своем кресле немного вперед. Никто бы и не заметил, если б колесики его кресла не были такие скрипучие. При каждом упоминании Хэмптоном какой-нибудь мутной статьи из Билля о гражданских правах со ссылками на судебную практику судья начинал нервно ерзать, пытаясь переместить центр тяжести с одного дряблого диабетического полужопия на другое. Можно ассимилировать человека, но не его давление: я вижу, как посередине лба судьи пульсирует и набухает вена. Он в бешенстве, он сверлит меня насквозь взглядом гипертоника с красными глазами. У меня на родине это называется уставиться как на Уиллоубрук-авеню. Уиллоубрук-авеню — это такой Стикс с четырехполосным движением, что в 1960-х разделял черные и белые кварталы. Но сейчас, во времена, когда нет ни черных, ни белых, когда любой продастся за доллар, стоит только поманить, — по обе стороны Уиллоубрук-авеню царит настоящий ад, и берега Стикса опасны и круты. Пока ты стоишь и ждешь, чтобы перейти на зеленый свет светофора, твоя жизнь может измениться. Какой-нибудь местный, такого-то цвета кожи, из такой-то банды или одной из пяти стадий кручины, проезжая мимо в двуцветном «купе», может запросто выставить на тебя пушку из окна пассажирского сиденья, окинув тебя взглядом Председателя Верховного Негритянского Суда, и спросить: «Ты откуда, придурок?»

Правильный ответ «ниоткуда», но иногда они тебя просто не слышат

из-за рева плюющего мотора, продолжающихся слушаний по твоему вопросу, либеральной шумихи в СМИ, слов черной шлюхи, обвинившей тебя в сексуальных домогательствах. Иногда даже «ниоткуда» оказывается недостаточным. Не потому, что тебе не верят — ведь любой человек все равно «откуда-то», — а потому, что они не хотят верить именно тебе. И сейчас вот этот судья с искаженным от злобы лицом, снявший с себя маску благородного патриция, ничем не отличается от бандюгана, что нарезает круги по Уиллоубрук-авеню и тычет тебе в лицо пушкой только потому, что она у него есть.

Впервые за долгие годы работы в Верховном суде у черного судьи возник вопрос. Прежде он никогда не делал замечания, поэтому не знает, как быть. Молча взглянув на коллегу-итальянца, ища у того поддержки, судья вскидывает вверх свой толстый, как сигара, палец. Он слишком взбешен, чтобы дожидаться кивка коллеги, и с визгом выкрикивает: «Ниггер, ты что, с ума сошел?» У него удивительно высокий голос, слишком высокий для чернокожего такой комплекции. Он уже забыл об объективности и беспристрастности и стучит по столу своими толстыми, как окорока, кулаками — с такой силой, что роскошная золоченая люстра над головой председателя раскачивается словно маятник. Черный судья слишком близко подносит лицо к микрофону и орет: ведь если я и сижу всего в полутора метрах от него, все равно нас разделяет много, очень много световых лет. Он требует объяснений: как в наше время и нашем обществе черный человек, в нарушение священных принципов Тринадцатой поправки, может держать раба? И почему я намеренно игнорирую Четырнадцатую поправку, утверждая, будто сегрегация может спланивать людей. Как и другие, кто верит в систему, судья желает получить ответы на все свои вопросы. Ему хочется верить, что Шекспир написал все свои книги, что Линкольн победил в Гражданской войне и дал рабам свободу, что Соединенные Штаты участвовали во Второй мировой войне ради спасения евреев и сохранения демократии во всем мире. И что в этот мир вернутся Христос и сдвоенные киносеансы. Но я не отношусь к числу наивных американцев. Когда я делал то, что я делал, я не думал о неотъемлемых правах нашего народа и о его славной истории. Я делал что мог, и если туда примешались рабство и немного сегрегации, которые задели чьи-то чувства, то и хер с ними.

Под кайфом стираются границы между подуманным и произнесенным, и, судя по тому, что судья в бешенстве, «то и хер с ними» было произнесено вслух. Судья вскакивает, словно готов со мной драться. На кончике его языка скопилась пенная слюна, извергнутая из глубины естества,

сформированного в аудиториях юридического факультета Йельского университета. Председатель осаживает его, и чернокожий судья плюхается обратно в кресло, сглатывая слюну (а возможно, и честь).

— Расовая сегрегация? Рабство? О чем ты говоришь, блядское отродье? Я уверен, что родители учили тебя более разумным вещам. Ладно, начнем нашу висельную вечеринку.

**Греби говно лопатой**

## Глава первая

В том-то и дело, что разумным вещам меня не учили. Мой отец (Карл Юнг, покойся с миром) был социологом умеренного признания. Основатель «психологии освобождения» и, насколько мне известно, единственный человек, ее практиковавший, он любил расхаживать по дому (читай: камере Скиннера) в белом халате. А я был его хулиганистой и рассеянной черной лабораторной крысой и обучался дома в строгом соответствии с теорией когнитивного развития Жана Пиаже. Меня не кормили — во мне вырабатывали рефлекс аппетита. Не наказывали, а подавляли безусловные рефлексy. Меня не любили, а взращивали в атмосфере сбалансированной душевности и интенсивной привязанности.

Жили мы в Диккенсе, негритянском гетто на южных задворках Лос-Анджелеса и, как ни странно, на ферме прямо в черте города. Основанный в 1868 году, Диккенс, как и большинство других калифорнийских городов (не считая Ирвайна, этого питомника по разведению тупых и жирных белых республиканцев, чихуахуа и их любителей — иммигрантов из Восточной Азии), поначалу задумывался именно как сельскохозяйственное сообщество. В первоначальной версии хартии города было закреплено, что «в Диккенсе не должно быть китайцев, испанцев каких бы то ни было оттенков, в какие бы диалекты и шляпы они ни рядились, никаких французов, индейцев, проезжих из больших городов или необразованных евреев». При этом отцы-основатели, будучи людьми мудрыми, но ограниченными, все же постановили, что пятьсот акров вдоль реки навечно отводятся под ведение «городского сельского хозяйства». Так появился мой родной квартал «Фермы» — на карте Диккенса он выглядит как десять ровно отмеренных квадратов. Для жителей Ферм город оказывался как бы в стороне, и музыка из проезжающих машин, как и результаты выборов, растворялась в воздухе, густо пропитанном запахом коровьего навоза или, при удачном направлении ветра, хорошей травки. Медленно крутя педали велосипедов, мужчины разъезжают по улицам Ферм, где постоянно возникают пробки из-за стай и выводков разнообразной домашней птицы — от кур до павлинов. Мужики ездят, не держась за руль, на ходу пересчитывая тоненькие пачки купюр или приветствуя знакомых: «Здорово! Как жизнь?» Тележные колеса, приколотенные к заборам или к деревьям перед домами в стиле ранчо, возвращают к временам пионеров-завоевателей, что несколько противоречит тому, что на каждом окне, двери



и собачьем лазе больше замков и засовов, чем на тюремной продуктовой лавке. На верандах в старых плетеных креслах сидят старики и восьмилетки, которые уже все повидали на своем веку: они скоблят выкидными ножами дощечки в ожидании события, которое не заставит себя ждать.

Все двадцать лет, что я знал отца, он временно исполнял обязанности декана на факультете психологии в колледже Западного Риверсайда. Проведя детство на небольшом ранчо в Лексингтоне, штат Кентукки, где мой дед управлял конюшней, отец ностальгировал по деревенскому образу жизни. И когда, получив место преподавателя, он перебрался на Запад, то с радостью поселился в черном квартале и стал разводить лошадей. И так и не оставил это дело, несмотря на то что никогда не мог потянуть ипотеку и содержание.

Может, если бы он был психологом-компаративистом, то его коровы и лошади жили бы дольше, чем по три года, а помидоры не были бы такими червивыми. Но в глубине души отца волновала не борьба с вредными насекомыми и благополучие всякой животины, а свобода для черных. В отцовских поисках ментальной свободы я был его Анной Фрейд, его маленьким тематическим подопытным, а в те дни, когда он не учил меня верховой езде, он повторял на мне знаменитые социологические опыты, в которых я был одновременно и контрольной, и экспериментальной группой. И, как любой «примитивный» чернокожий ребенок, который в целом удачно развился до периода формальных операций<sup>[22]</sup>, я вдруг понял, что получил хреновое воспитание и что мне его никогда не изжить.

Поскольку не существовало комиссии по этике с возможностью контролировать процесс моего воспитания, будем считать, что поначалу отцовские эксперименты были вполне невинными. На заре двадцатого века бихевиористы Уотсон и Рейнер, решившись доказать, что страх является условным рефлексом, подсовывали девятимесячному малышу Альберту такие «нейтральные» стимулы, как белых крыс, обезьян и подожженные газеты. Поначалу подопытный ребенок спокойно воспринимал и обезьян, и грызунов, и огонь, но потом Уотсон добавил к стимулам громкие звуки, и крошка Альберт начал бояться не только крыс, но и вообще всего пушистого. Когда мне было семь месяцев, отец клал в мою детскую кроватку игрушки в виде полицейских машин, холодные банки с пивом «Pabst Blue Ribbon», значки времен избирательной кампании Никсона и журнал «Economist», а чтобы я всего этого боялся, отец сопровождал эксперимент громкими звуками: приносил в комнату семейный револьвер тридцать восьмого калибра, несколько раз стрелял в потолок, отчего в

оконной раме тряслись стекла, и громко кричал: «Ниггер, отправляйся в Африку!» Его голос гремел даже сильнее, чем песня «Sweet Home Alabama», которую он врубал в гостиной на стереомагнитоле. Теперь я не могу досмотреть по телику до конца даже самую беззубую криминальную драму, испытываю необъяснимую привязанность к Нилу Янгу, а если не могу заснуть, то включаю не записи шума дождя или океанского прибоя, а пленки с судебных слушаний по делу Уотергейта.

Семейное предание гласит, что, когда мне было от года до четырех, отец заводил мне правую руку за спину и привязывал ее, чтобы я рос левшой с хорошо развитым правым полушарием, то есть «отцентрированным». Когда мне исполнилось восемь, отец решил проверить, как работает эффект постороннего применительно к «чернокожему сообществу». В этой реконструкции я, даже еще не подросток, должен был играть роль несчастной жительницы Нью-Йорка Китти Дженовезе, которую в 1964 году ограбили, изнасиловали и убили несколькими ударами ножом в спину — при молчаливом невмешательстве десятков прохожих и соседей, которые слышали ее жалобные, прямо по учебнику «Психология-101»<sup>[23]</sup>, крики, и ничего не сделали, чтобы ее спасти. Вот вам и эффект постороннего: чем больше вокруг людей, способных прийти тебе на помощь, тем меньше вероятность, что ты ее действительно получишь. Папа выдвинул гипотезу, что это неприменимо к чернокожим, потому что им нужно было выживать и они научились состраданию, помогая друг другу в беде. И вот отец ставил меня на самом оживленном перекрестке, из карманов моих торчали долларовые купюры, на ушах были крутые, блестящие наушники от плеера, на шее — толстая золотая хип-хоперская цепь, а через мою руку, как полотенце у официанта, была перекинута, сложно сказать зачем, пара автомобильных ковриков от Honda Civic. И пока из глаз моих лились слезы, мой собственный отец «грабил» меня. Он бил меня на глазах у прохожих, которые, впрочем, недолго оставались прохожими. Уже после пары ударов они пришли на помощь, только не мне, а отцу. Они упоенно пинали меня ногами, толкали локтями, а некоторые, насмотревшись телевизора, испробовали на мне пару приемов из реслинга. Одна тетенька применила ко мне мастерский (сейчас могу сказать, что она даже была ко мне добра) удушающий захват сзади. Когда я пришел в сознание, то увидел отца, с любопытством исследователя оглядывающего и ту тетку, и остальных нападавших — с потными лицами, запыхавшихся в порыве неудержимого альтруизма. И я тогда подумал, что, как и у меня, в их ушах, наверное, все еще звенят мои пронзительные крики и их безумный смех.

«Оцените проявленную вами самоотверженность»  
Совершенно не удовлетворен Удовлетворен частично Вполне  
удовлетворен  
1 2 3 4 5

Когда мы возвращались домой, отец успокаивающе обнял меня за ноющее плечо и прочитал апологетическую лекцию о том, что эксперимент не удался по причине не учтенного им «эффекта стадного поведения».

Потом ему захотелось проработать на мне тему «Покорность и послушность у хип-хоп поколения». Мне тогда было лет десять. Отец усадил меня на стул перед зеркалом, напялил на себя хэллоуинскую маску Рональда Рейгана, прицепил на халат капитанские нашивки «Trans World Airlines» и назвал себя «белым начальником».

— Ниггер, которого ты видишь в зеркале, тупой как пробка, — сказал он хриплым голосом цветных комиков, изображающих белых.

С этими словами он подсоединил к моим вискам электроды. Их проводочки тянулись к прибору с допотопным генератором напряжения со множеством кнопок и регуляторов.

— Ты должен задать парню в зеркале ряд исторических вопросов про ниггеров — список перед тобой на столе. Если парень ответит неверно или не уложится в десять секунд, ты нажимаешь на красную кнопку, отвечающую за удар током. По мере накопления неправильных ответов напряжение будет увеличиваться.

Просить о пощаде было бесполезно. В ответ мне припомнят чтение комикса номер 203 про Бэтмена, «Тайна пещеры с летучими мышами». Это было старое потрепанное издание, кем-то выброшенное на улицу, а я подобрал, разгладил помятые страницы, словно залечивая книжке раны. То была первая весточка, дошедшая до меня из внешнего мира. Когда во время домашних занятий я перекладывал учебники, книжка вывалилась наружу, и отец немедленно ее конфисковал. С тех пор, если я не справлялся с занятиями или не ладил с соседскими ребятами, отец вытаскивал книжку с порванной обложкой и тряс ею перед моим носом, приговаривая:

— Видишь? Если б ты не тратил время на чтение всякой хрени, ты бы давно уже понял, что никакого Бэтмена не существует и он не прилетит, чтобы спасти твою задницу и твой народ!

Читаю первый вопрос.

«Из каких двух колоний состояло западноафриканское государство Гана до обретения независимости в 1957 году?»

Ответа я не знал. Я прислушался, не летит ли ко мне Бэтмен на своем

бэтмобиле с реактивной тягой, но в полной тишине было слышно только, как отсчитывает время отцовский секундомер. Сжав зубы, я поднес палец к красной кнопке, ожидая, когда закончатся десять секунд.

— Правильный ответ — Тоголенд и Золотой Берег.

Покорно, как и предполагал отец, я нажал на красную кнопку. Стрелка на приборе и мой позвоночник дернулись, а мальчик в зеркале забился в конвульсиях.

— Сколько ж там было вольт? — спросил я, не в силах унять дрожь в руках.

— Мальчик в зеркале имеет право только отвечать на вопросы, а не задавать их, — бесстрастно произнес отец и потянулся к черному круглому регулятору, повернув его вправо на несколько щелчков, к отметке XXX.

— Прочитай, пожалуйста, следующий вопрос.

Я видел все размыто. Наверное, это объяснялось психосоматикой: картинка перед глазами расплывалась, как дешевое пиратское видео на плоском телевизоре, поэтому, чтобы прочитать следующий вопрос, мне пришлось поднести трясущийся лист бумаги совсем близко к глазам.

«Сколько человек из 23 тысяч нью-йоркских восьмиклассников подало документы в Стайвесант, самую элитную в городе государственную школу? И сколько афроамериканцев туда поступило?»

Когда я дочитал вопрос, из правой ноздри пошла кровь. Красные капли с хронометрической точностью раз в секунду застучали по столу. Отложив секундомер, отец начал отсчитывать время. Я с подозрением взглянул на него. Уж больно злободневный вопрос. Наверняка за завтраком вычитал его в «Нью-Йорк Таймс». Готовился к эксперименту. Выискивал пищу для ума за тарелкой с рисовыми хлопьями, сердито и спешно перелистывая страницы, и утренний воздух наполнялся хрустом и треском.

Если бы сейчас на кухню влетел Бэтмен и увидел моего отца, подвергающего родного сына ударам электрического тока, — как бы он поступил? Он расстегнул бы свою поясную сумку и зарядил бы пистолет патронами со слезоточивым газом, и пока мой отец задыхался бы и кашлял, Бэтмен довел бы отмщение до конца: надеюсь, его бэтменская веревка окажется достаточно длинной, чтобы затянуть петлю на толстой сосисочной шее моего папочки. Он выжег бы ему глаза лазерным лучом и сделал бы пару снимков на мини-камеру, как свидетельство для бэтменских потомков. И вот уже Бэтмен завладел мастер-ключом от небесно-синего «фольксвагена карманн гиа» специально для белых кварталов, и мы вдвоем прыгаем в машину и свинчиваем отсюда. Вот как бы поступил Бэтмен. Но я не он: как был сыкуном, так им и остался. Поэтому я просто пытался

обдумать вопрос. А сколько вообще могло быть чернокожих абитуриентов? И сколько учеников в среднем в каждом классе в Стайвесанте?

Не дожидаясь, когда десятая капля крови упадет на стол и мой отец выкрикнет правильный ответ (семь), я быстро нажал красную кнопку, насылая на себя всесотрясающий удар током, способный испугать самого бога Тора и произвести лоботомию целому классу. Мне уже стало интересно, хотелось почувствовать на собственной шкуре, что бывает с десятилетними чернокожими мальчиками, принесенными в жертву науке.

«Эвакуация содержимого кишечника» в моем случае была неправильным термином. Скорее верно обратное: произошла эвакуация меня через кишечник. То был грандиозный исход фекалий, сопоставимый с самыми масштабными эвакуациями в истории человечества. Дюнкерк. Сайгон. Новый Орлеан. Только в отличие от британцев, вьетнамских капиталистов и жителей района Девятая Палата в Новом Орлеане содержимому моего кишечного тракта и мочевого пузыря некуда было эвакуироваться. То, что моглолиться и не осело на моих ягодицах и яйцах, накатило волной и проследовало вниз по ногам, образовав лужу вокруг моих кроссовок. Не желая прерывать чистоту эксперимента, отец заткнул нос и сделал знак, требуя прочесть третий вопрос. Слава богу, я знал ответ («Сколько комнат в Ву-Танге<sup>[24]</sup>»?) — в противном случае мой мозг превратился бы в сухой брикет для барбекю на День Независимости.

Мое экстремальное домашнее обучение закончилось через два года, когда отец вздумал повторить исследование Кеннета и Мами Кларков<sup>[25]</sup>, посвященное особенностям самосознания с использованием черных и белых кукол. Версия моего отца была куда более революционной. Более современной. Если Кларки сажали перед детьми всего двух хорошеньких пупсов в натуральную величину, в двуцветных туфельках, то отец устроил целое кукольное представление.

— Сын, с каким из социально-культурных подтекстов ты себя ассоциируешь?

Сцена I: Кен и Барби «Малибу» в купальниках и в масках для плавания сидят возле бассейна во дворе своего домика. Сцена II: Мартин Лютер Кинг-младший, Малькольм Икс<sup>[26]</sup>, Гарриет Табмен<sup>[27]</sup> и смуглая неваляшка убегают (спотыкаясь) через болотистый лес от своры пластмассовых немецких овчарок. Их спустили на несчастных вооруженные до зубов куклуксклановцы в белых балахонах с капюшонами, переделанные из моих солдатиков.

— А это что? — спрашиваю я, указывая на крошечное рождественское

украшение: медленно крутясь над болотом, оно светит и переливается, как зеркальный шар в лучах заходящего солнца.

— Это Северная Звезда. Они бегут в сторону Северной Звезды, к свободе.

Я стал перебирать игрушки и лукаво поинтересовался:

— И что же они стоят на месте?

С Мартином Лютером Кингом-младшим все было в порядке. Черный с отливом элегантный костюм, в одной руке — приклеенная отцом автобиография Ганди, в другой — микрофон. Малькольм был в точно таком же костюме, в очках, как полагается, и с зажженным «коктейлем Молотова» в руке, которая, конечно же, плавилась, как любая пластмасса. Улыбчивая неваляшка явно была лишена какого-либо расового самосознания и здорово напоминала моего отца в детстве. Но зато она качалась и не падала, ни в моих руках, ни под напором «рыцарей», выступающих за превосходство белой расы. С мисс Табмен было что-то не так. Как и положено, на ней было обтягивающее рубище из мешковины, но я не помню, чтобы эта Моисей в юбке обладала идеальной, как песочные часы, фигурой 90–60–90, чтобы у нее были длинные шелковистые волосы, выщипанные брови, голубые глаза, пухлые губы и вздернутая пышная грудь.

— Папа, ты покрасил Барби в черный цвет?

— Я хотел внести элемент красоты, чтобы ты произвел сравнение и по этому принципу тоже.

Из спины Барби с плантации торчал шнурок, и я за него дернул. «Математика — это скучно. Давай займемся шопингом», — пропищала кукла. Я вернул все игрушки на кухонный стол, в их болото, снова придав им позы убегающих от погони.

— Я выбираю Кена и Барби.

Тут отец потерял всякую научную объективность и схватил меня за грудки.

— Почему? Почему? — вскричал он.

— Потому что у белых людей всего больше. У Гарриет Табмен — газовый фонарь, палочка да компас, а у Кена с Барби есть и багги, и катер. Что тут сравнивать?

На следующий день отец сжег в камине все свои исследования. «Публикуй или погибнешь» — это следовало понять еще на первом курсе. Мало того, что в колледже у отца даже не могло быть своего парковочного места с именной табличкой, а курсовая нагрузка — о-го-го какая, его социальный эксперимент над сыном провалился. Я оказался статистической погрешностью, разбившей его надежды относительно всей

черной расы в целом и меня в частности. Он заставит меня взрослеть. Деньги на расходы, которые прежде называл «позитивным стимулом», переименовал в «реституцию». Он все еще утверждал, что просвещение дается нам через книги, но вскоре после эксперимента с куклами у меня появились первая в жизни лопата, вилы и бритва для стрижки овец. Отец потрепал меня по щеке и отправил в поля, прицепив к комбинезону вдохновляющую цитату Букера Ти Вашингтона<sup>[28]</sup>: «Набирай полное ведро, пока есть вода».

\* \* \*

Если на небе есть рай для тех, кто изо всех сил старался попасть туда, как старался мой отец, значит, должен быть и журнал по божественной психологии для публикации всех неудачных экспериментов, неподтвержденных теорий и отрицательных результатов. Это гораздо важнее, чем писать об универсальных лечебных свойствах красного вина только потому, что мы сами вбили это себе в голову.

Далеко не все мои воспоминания об отце — плохие. Хотя я и был его единственным сыном, мой отец, как и другие черные мужчины, был отцом многих. Можно сказать, что его детьми были все жители Диккенса. С лошадьми он управлялся не очень, зато слыл в городе Заклинателем ниггеров. Если какой-то ниггер «совсем рехнулся, твою же мать» и возникала необходимость уговорить этого человека слезть с дерева или с моста над эстакадой, отца звали на помощь. Он хватал свою настольную книгу «Планирование изменений»<sup>[29]</sup> Бенниса, Бенна и Роберта Чина (недооцененного у нас китайского психолога американского происхождения, которого отец в глаза не видел, но считал своим учителем), прыгал в машину и уезжал на вызов. Другим детям перед сном читали сказки, а мне — главы из этой книги. Например, такую: «Использование практикующими психологами различных моделей окружающей среды для разных систем». Никем другим мой отец и не был, кроме как практикующим психологом. Не случилось такого, чтобы он хотя бы раз не взял меня на заклинание ниггера. По дороге на место он гордо заявлял, что черное сообщество, как и он сам, — это КНД.

— «Когда напишешь диссертацию»?

— «Крутые, непокоренные, добрые».

По прибытии на место отец сажал меня на припаркованный

поблизости минивэн или на крышку мусорного бака и вручал блокнот, чтобы я все записывал. Вокруг раздавался вой сирен, слышался чей-то плач, под подошвами замшевых отцовских ботинок хрустело стекло, и я тогда очень за него боялся. Но отец подходил к тем, к кому остальные боялись подойти. С лицом, преисполненным печали и сочувствия, с обращенными к небу ладонями, в точности как у фигурки Иисуса на нашем ветровом стекле, отец шел к какому-нибудь безумцу со зрачками, раздробленными на атомы под воздействием полутора литров «Хеннесси», заполированных дюжиной банок легкого пива. Словно не замечая, что рабочая униформа бедолаги вся измазана фекалиями вперемешку с раздробленными мозгами, отец обнимал этого человека как старого друга. Люди думали, что ему удалось подобраться так близко благодаря его бесстрашию, но все дело было в отцовском голосе. У него был дувоповский бас, фа диз. Густой низкий голос, как у «Файв Сэтинз» с их колдующей песней «In the Still of the Night», от которой девочки-подростки пятидесятых впадали в нирвану. Но варвара можно усмирить не столько посредством музыки, сколько грамотной десенсибилизацией. Отцовский голос умирал исступленных, помогая им спокойно посмотреть в глаза собственным страхам.

Когда я учился в школе, по вкусу граната, вызвавшего слезы в моих глазах; по тому, как летнее солнце окрашивало наши волосы в красно-оранжевый оттенок; по тому, как восторженно звучали слова отца, когда он говорил про «Доджер-стэдиум»<sup>[30]</sup>, белый зинфандель и зеленый закат, которым он любовался с горы Уилсон, я знал, что Калифорния — особенный край. И если призадуматься, то двадцатый век был более-менее терпим только из-за того, что было создано в гаражах Калифорнии: и компьютеры Apple, и планшет Voogie Board, и гангста-рэп. Кстати, на одном из заклинаний ниггеров, спасибо отцу, я оказался свидетелем зарождения гангста-рэпа. Одним ранним холодным утром в гетто, двумя кварталами от места, где я жил, Карл «Кило Джи» Гарфилд — дымящаяся трубка с крэком в руке — вывалился из своего гаража, накачанный дурью из своих запасов и меланхолией Альфреда Теннисона, и с прищуром уткнулся в свой черный молескин. Это был пик эры крэка. И я, десятилетний мальчишка, наблюдал, как Кило Джи<sup>[31]</sup> забрался в багажник своего навороченного желтого пикапа TOYOTA (на заднем борту имелись вмятины, поэтому «ТО» и «ТА» были просто покрашены краской, и оставалось одно лишь приветственное YO) и принялся во всю глотку зачитывать собственные строки, сбитый пятистопный ямб, отбиваемый



ударами револьвера тридцать восьмого калибра с никелевым напылением по обшивке и выкриками-мольбами матери скорее спасти свою черную задницу и бежать домой.

### АТАКА ЁКАРНОЙ БРИГАДЫ<sup>[32]</sup>

Пол-литра, пол-литра  
Мне кто-нибудь, братцы, нальет?  
Дорогою смерти —  
Отважные черти,  
Бей этих Бладз! —  
Скакали эти шестьсот.

Когда прибывший на место происшествия спецназ занял позиции за машинами и кипарисами, то полицейские тихо укатывались от смеха, прижав к груди автоматы, и были даже не в силах прицелиться.

Не думайте, что за херня на пути,  
Вам нужно стрельнуть и от пули уйти.

Там ниггеры слева,  
И ниггеры справа,  
И ниггеры впереди  
Гуляли и пели, но смело бригада  
Открыла огонь и держала осаду —  
Засранцам живым не уйти!  
Герои прошли сквозь ада горнило!  
Победа! И те, кого смерть не скосила,  
Домой ускакали. Но вот  
Их больше уже не шестьсот.

И тогда мой отец Заклинатель ниггеров с разлитой на лице блаженной улыбкой прошел сквозь полицейский заслон, приобнял несчастного наркодилера, укутал его в свой твидовый пиджак, нашептывая ему на ухо какое-то важное заклинание. Кило Джи растерянно заморгал, как лопух, зачарованный гипнотизером индейского казино, и покорно вручил отцу револьвер и ключи от своего сердца. Полицейские уже были готовы

произвести арест, но отец движением руки остановил их и попросил Кило Джи договорить стихотворение, вместе с ним заканчивая строки, как будто знал слова:

Вот шуму и грохоту учинили!  
Но мы мазафакеров не забыли!  
Их подвиг в анналы войдет!  
Всем рыцарям гордым респект за отвагу!  
А ниггера пусть отправят в тюрьму  
Со счетом минус шестьсот!

Полицейские машины растаяли в утренней дымке, оставив отца стоять посреди дороги одного, как бога, только что сотворившего доброе чудо. Гордо вскинув голову, он повернулся ко мне и произнес:

— Догадайся, что я сказал этому обдолбанному сукину сыну, чтобы он опустил пушку.

— И что же ты ему сказал, пап?

— Я сказал ему: «Брат мой, попробуй ответить себе всего на два вопроса. „Кто я есть? И как мне стать самим собой?“» Это и есть основа персонализированной терапии. Нужно, чтобы клиент почувствовал собственную значимость и что он способен вылечить себя сам. Так что запомни эти слова.

Мне хотелось спросить: почему же тогда ты не подбадриваешь меня, не обращаешься со мной как со своими «клиентами»? Но я уже заранее знал, каким будет ответ. Мне зададут ремня, а лечиться я буду меркурохромом<sup>[33]</sup>. И мне не только запретят гулять, а приговорят к трем или пяти неделям активного юнгианского воображения.

Удаляясь от нас, словно спиральная галактика, вдали бесшумно крутились синие и красные маячки полицейских сирен, превращая туман в северное сияние, зародившееся прямо тут, в городе. Я потрогал дырку в дереве, образовавшуюся от пули, и подумал, что, как и эта пуля, влетевшая на глубину десяти годовых колец и застрявшая там, я никогда не смогу выбраться из этого города. Я окончу тут школу, выйду середнячком с резюме из шести строчек и кучей орфографических ошибок, начну суетливо бегать по одному и тому же маршруту: от центра занятости — к стриптиз-бару, а потом утром — на городские бесплатные курсы по подготовке в колледж. Потом женюсь, буду трахать и под конец пристрелю Марпессу Делиссу Доусон, суку по соседству, единственную любовь всей

моей жизни. У нас будут дети. Я буду стращать их военным училищем и тем, что, если их заметут, я не стану вносить залог. Я буду обычным ниггером, из тех, что по вечерам играют в бильярд в стрип-баре и изменяют жене с блондинкой из супермаркета «Trader Joe's» на пересечении бульваров Нэшнл и Вествуд. Я перестану доставать отца бесконечными вопросами про мать, наконец признав, что ее наличие так же преувеличено, как сочинение трилогии. Через долгие годы, посокрушавшись, что так и не испробовал материнского молока, не прочитал «Рай», «Властелин Колец» и «Автостопом по галактике», я умру в той же комнате, где вырос, вперившись взглядом в трещины на потолке с лепниной, оставшиеся там после землетрясения 1968 года. Поэтому уже тогда, много лет назад, я не отягощал себя вопросами «Кто я есть? И как мне стать самим собой?», потому что все ответы были уже известны заранее. Как и весь город Диккенс, я был дитем своего отца, продукт своего окружения. Диккенс был мною. А я был моим отцом. Да только оба они исчезли из моей жизни — сначала отец, а потом и родной город. И вдруг я перестал понимать, кто я есть и как мне стать самим собой.

## Глава вторая

Вестсайд, ниггер! Чего?!

## Глава третья

Три основных закона физики негритянского гетто гласят: ниггер, который тебя задалбывает, так и будет тебя задалбывать; в какой бы точке неба ни находилось солнце, время у нас всегда «без четверти жопа верблюда»<sup>[34]</sup>; и третий закон: когда бы ни убили дорогого тебе человека, на зимние каникулы (первый курс колледжа) ты приедешь домой. Днем ты садишься на лошадь и едешь в кафе «Дам-Дам», чтобы посидеть с отцом на собрании клуба интеллектуалов. Папины коллеги угостят тебя яблочным сидром, булочками с корицей и проведут с тобой сеанс переходной терапии. (Не то чтобы твой отец считает тебя геем, но его беспокоит, что в одиннадцать вечера ты уже дома и в твоём словаре отсутствует слово «задница».)

Вечер. Холодрыга. Ты едешь на лошади по улице, никого не трогаешь, допиваешь остатки ванильного коктейля и вдруг натыкаешься на группу детективов, сгрудившихся вокруг мертвого тела. Ты спешиваешься, подходишь и видишь знакомую рубашку, ботинки, туфли или запонки. Отец лежал на мостовой лицом вниз, но я его узнал по крепко сжатому кулаку с выступающими венами. Я нарушил сцену преступления: вытащил ворсинку из его прически афро, поправил воротник его оксфордской рубашки, смахнул мелкие камешки с его щеки и, как позднее было указано в полицейском отчете, сунул руку в лужу крови, которая, к моему удивлению, оказалась холодной. А вовсе не горячей, взбаламученной кровью разгневанного чернокожего, не горячей, кипевшей от бесконечного разочарования кровью честного, пусть и немного чокнутого человека, который так и не стал самим собой.

— Ты его сын?

Детектив, сдвинув брови, изучал меня с головы до ног. По его презрительной усмешке я представлял всю его мысленную работу по сличению моих шрамов, роста и сложения с базой данных преступников в розыске.

— Да, сын.

— А ты что, какой-то особенный?

— В смысле?

— Офицеры сказали, что он накинута на них с криками, цитирую: «Вы, жопные буквоеды, архетипичные авторитаристы, вы еще не знаете, кто мой сын!» Вот я и спрашиваю: ты какой-то особенный?

Кто же я на самом деле? Неужели отец так сказал обо мне?

— Да нет во мне ничего особенного.

Когда умирает ваш отец, по идее нужно плакать. Проклинать систему, потому что он погиб от рук полиции. Оплакивать судьбу «низшего среднего класса» и «цветных» в этом полицейском государстве, которое защищает только богатых белых или кинозвезд любой расовой принадлежности, хотя я не знаю звезд азиатского происхождения. Но я не плакал. Смерть отца казалась мне розыгрышем, хитроумной уловкой, будто он просто хотел указать на ужасное положение черной расы, тем самым вдохновив меня на самосовершенствование. Мне казалось: вот он сейчас сядет, отряхнется и скажет: «Понял, ниггер? Если такое может случиться с умнейшим из черных, представь, во что можешь вляпаться ты, тупая задница. То, что расизм побежден, не значит, что негров не пристреливают на месте».

Сейчас, если б у меня был выбор, я бы плевал на то, что я черный. Когда в почтовый ящик бросают бланк переписи населения, в пункте «расовая принадлежность» я выбираю графу «др.» и гордо вписываю: «калифорниец». Разумеется, через два месяца у меня на пороге появляется переписчик. Смотрит на меня и говорит: «Ты, грязный ниггер, что ты можешь сказать в свое оправдание?» Как черному, мне нечего сказать в свое оправдание. Для того и нужен слоган, чтобы я мог бы выкрикнуть его, подняв вверх кулак и захлопнув дверь перед этой государственной рожей. Но, поскольку слогана нет, я бормочу извинения и ставлю галочку напротив графы «Черный, афроамериканец, негр, трус».

Жизненные силы я черпаю вовсе не из чувства принадлежности к расе. Нет, мною движут все те же старые добрые амбиции, которые давали нам великих президентов и великих притворщиков, капитанов промышленности и футбольных капитанов, — это всё тот же драйв, замешенный на эдиповом комплексе, который заставляет мужчину совершать всякие глупости: например, самоутверждаться через уличный баскетбол или через драки с соседскими мальчишками, потому что все закидоны должны оставаться за пределами дома. Я говорю исключительно о базовой потребности ребенка заслужить похвалу отца.

Многие отцы с малолетства культивируют в детях эту потребность своими бессмысленными манипуляциями. Они запускают с ними самолетики и позволяют есть мороженое в холод, а в выходные едут с ними на озеро Солтон-Си или в научный музей. Все эти фокусы, когда кажется, будто деньги берутся из воздуха, все эти развивающие игры с друзьями создают иллюзию, будто в итоге весь мир окажется у твоих ног и ты будешь смотреть на него и поплевывать из окон своего дома в тюдоровском

стиле. И начинает казаться, что без отцовской опеки остаток жизни будет таким же бесполезным существованием, как детство без Микки Мауса. Но потом, в отрочестве, после слишком многих неудачных парковок, пьяных плюх по голове, вдыханий метамфетаминового дыма, наказаний через засовывание в рот вскрытого перца халапеньо за неприличное слово, хотя ты просто пытался походить на папочку, ты понимаешь, что все мороженое, все поездки на автомойку были обыкновенной обманкой, прикрытием его убывающего сексуального влечения, компенсацией безрадостного существования по принципу «работай да приноси домой деньги» и неоправданных ожиданий собственного «предка». Эдипова тяга к одобрению со стороны отца сильна даже в нашем городке, где папаши давно отсутствуют: дети смиренно сидят вечерами у окна, ожидая, когда папочка вернется домой. Моя же проблема состояла в том, что папочка все время торчал дома.

Когда были отщелканы все необходимые снимки, опрошены свидетели, озвучены мрачные профессиональные шуточки, я бестрепетно, не роняя коктейль, подхватил отца за подмышки и вытащил его из мелового контура, проволока мимо пронумерованных желтым маркером отметок там, куда упали гильзы, и потащил дальше — через перекресток, парковку, через стеклянные раздвижные двери «Дам-Дам». Я посадил отца за его любимый столик, заказал себе и ему «как обычно»: два шоколадных глясе с мороженым и кружку молока, подвинув его порцию на его сторону стола. Поскольку отец опоздал на тридцать пять минут, да еще пришел мертвый, собрание начали без него. Председательствовал Фой Чешир — выходящий в тираж автор многих телешоу, некогда друг отца, а ныне главный претендент на освободившееся место председателя. «Дам-дамовцы» скептически взирали на грузного Фоя, как на Эндрю Джонсона после убийства Линкольна.

Я громко отхлебнул остатки купленного на улице коктейля, тем самым призывая заседающих продолжать, ибо того же хотел бы мой отец.

Революция «Пончиков Дам-Дам» должна продолжаться.

Мой отец создал клуб именно тут, обратив внимание, что «Пончики Дам-Дам» оказались единственной не латиноамериканской или черной забегаловкой, которую не громили во время бунтов. Более того, у окошка круглосуточного обслуживания толклись все вместе: мародеры, полицейские, пожарные — и покупали пирожки, булочки с корицей и необычайно вкусный лимонад — для особо разгоряченных. Если вдруг откуда-то выныривал назойливый репортер с вопросом: «Как вы думаете, долго ли будут продолжаться беспорядки?», все хором возмущались: «Я ж,

бля, в телевизоре, да?»

За все годы существования кафе ни разу не ограбили, не обворовали и не разгромили. И по сей день фасад заведения в стиле ар-деко свободен от граффити и потеков мочи. Посетители никогда не паркуются на местах для инвалидов. Почти как на привокзальной площади Амстердама, велосипеды оставляют возле «Дам-Дам» в аккуратных рамах, и никто не вешает на них замок. От этого места веет едва ли не монашеским покоем. Все идеально чисто. Нигде ни пятнышка. Обслуживающий персонал — здоровыслящ и обходителен. Может, все дело — в приглушенном освещении? Или в том, что стены расписаны яркими кленовыми листьями под стеклянной крошкой, изображающей капли дождя? Как бы то ни было, мой отец точно знал: это единственное место в Диккенсе, где ниггеры ведут себя прилично. Тебе всегда дадут растительные сливки и покажут на нос: «Вытри сахарную пудру». На все 20,3 хваленых квадратных километра нашего черного комьюнити нашлось всего 77 квадратных метров, где это слово действительно оправдывало свое изначальное латинское значение. Именно здесь, в «Пончиках Дам-Дам», можно было ощутить общность с остальными людьми. И вот, одним дождливым воскресным днем, когда беспорядки закончились и с улиц исчезла бронетехника и журналисты, отец пришел в «Дам-Дам», сел за столик возле банкомата, сделал заказ, а потом вдруг произнес, ни к кому конкретно не обращаясь:

— А вам известно, что средний годовой доход домохозяйства у белых составляет сто тринадцать тысяч сто сорок девять долларов, в семьях испанского происхождения — шесть тысяч триста двадцать пять долларов, а у черных — пять тысяч шестьсот семьдесят семь долларов?

— И кто это сказал, ниггер?

— Исследовательский центр Пью.

Любой придурок от Гарварда до Гарлема уважает центр Пью, поэтому некоторые посетители повернулись к отцу на своих скрипучих пластиковых сиденьях, учитывая, что максимальный угол поворота кресел не более шести градусов. Отец вежливо попросил менеджера приглушить свет, я включил проектор, положил на него слайд, и все задрали головы к потолку. Словно грозовое облако, над нами завис график «Неравномерность доходов по расовому признаку».

Кто-то сказал:

— То-то я думаю: и зачем этому мелкому ниггеру сдался проектор в «Дам-Даме»?

Отец, имевший наготове и график денежного обращения в макроэкономике, и цитаты из Милтона Фридмана<sup>[35]</sup>, провел настоящий



семинар, посвященный разрегулированности экономики и институциональному расизму. Он рассказал, что недавний финансовый обвал предсказали вовсе не кейнсианские ручные собачки, на которых ориентируются банки и масс-медиа, а экономисты-бихевиористы, прекрасно понимающие, что рынок зависит не от процентных ставок и колебаний национальных ВВП, а от жадности, страха и фискальной иллюзии<sup>[36]</sup>. Разгорелась жаркая дискуссия. Спешно доедая пирожные и слизывая с губ кокосовую стружку, посетители «Дам-Дама» начали поносить низкие процентные ставки на депозиты и местного провайдера кабельного телевидения, который уже в июле требует предоплаты за август. Одна тетенька, справившись наконец с миндальным печеньем, поинтересовалась:

— А китаезы сколько получают?

— Ну, азиаты вообще зарабатывают больше любой другой демографической группы.

— Даже больше, чем гомики? — воскликнул помощник управляющего «Дам-Дамов». — Вы точно в этом уверены? А я слышал, будто гомики гребут деньги лопатой.

— Азиаты все равно зарабатывают больше. Правда, стоит помнить, что они не имеют такого влияния, как гомосексуалисты.

— А если, например, взять гея-азиата? Вы провели регрессионный анализ с корреляцией расовой принадлежности и сексуальной ориентации?

Этот глубокомысленный вопрос задал Фой Чешир, бывший лет на десять старше моего отца. Он стоял возле фонтанчика, засунув руки в пиджак, надетый поверх шерстяного свитера, несмотря на 25 градусов выше нуля. Тогда еще у него не было ни славы, ни денег, он работал доцентом на кафедре урбанистики в Брентвуде при Калифорнийском университете, жил в Ларчмонте, как и другие интеллектуалы из Лос-Анджелеса, а в Диккенсе Фой ошивался, собирая материал для своей первой книги: «Блэктополис: неизбежность афроамериканской городской бедности и мешковатой одежды».

— Мне кажется, что пересечение независимых переменных доходов может привести к некоторым интересным  $r$ -коэффициентам. Не удивлюсь, если  $r$ -коэффициент<sup>[37]</sup> окажется примерно в значении 0,75.

Отец сразу проникся к Фою симпатией, несмотря на его самодовольный вид. Хотя Фой был родом из Мичигана, отец нечасто мог встретить в Диккенсе человека, понимающего разницу между  $t$ -критерием Стьюдента и вариативным анализом. Обсудив за коробкой пончиков

детали, все местные, а также Фой договорились о регулярных собраниях. Так зародился Клуб интеллектуалов «Пончики Дам-Дам». Но если для отца это стало площадкой по обмену информацией, продвижению общественных интересов и консультациям, то Фой рассматривал клуб как промежуточный этап на пути к славе. Поначалу они с отцом были на дружеской ноге: вместе разрабатывали стратегии, приударяли за женщинами. А потом через несколько лет Фой Чешир стал знаменитостью, а отец — нет. Фой никогда не был глубоким мыслителем, зато был лучше организован. Что до отца, то его сильная сторона одновременно была и его слабостью: он чересчур опережал свое время. Пока отец разрабатывал непонятные и слишком сырые для публикации теории, связывающие воедино угнетение черных, теорию игр и социального обучения, Фой уже вел ток-шоу на телевидении, брал интервью у политиков и звезд второго плана, кропал статьи в журналах и тусовался в Голливуде.

Как-то я спросил отца, работавшего за пишущей машинкой, откуда к нему приходят все идеи. Он повернулся и слегка заплетающимся от виски языком ответил:

— Вопрос не в том, откуда они приходят, а куда уходят.

— И куда же?

— Ко всяким петушилам вроде Фоя Чешира. Они крадут твои идеи, наваривают на них капитал, а потом на голубом глазу приглашают тебя на вечеринку по случаю запуска «своего» проекта.

Одной из идей, которую Фой украл у отца, был мультфильм «Черные коты и джазующие детки», который перевели на семь языков и показывали по всему миру, так что в конце девяностых у Чешира уже было достаточно денег, чтобы купить домик своей мечты посреди зеленых холмов. Отец слова злого не сказал о Фое на людях, особенно на заседаниях клуба, ибо, если повторить его же слова, «наш народ нуждается в чем угодно, но только не в обмене колкостями». И несколькими годами позже, когда Лос-Анджелес вышвырнул Фоя вон как провинциала (каковым он всегда и был), и потом, когда тот начал спускать деньги на наркоту и конопатых креолок, а потом его обманула продюсерская компания, а налоговое управление отобрало в счет уплаты долга все, кроме дома и машины, отец продолжал молчать. И когда, приставив револьвер к виску, раздавленный и потерянный, Фой позвонил отцу, умоляя применить к нему заклинание ниггеров, чтобы отговорить от самоубийства, отец честно соблюдал врачебную тайну. Он никому не говорил ни про ночные кошмары Фоя, когда тот просыпался весь в холодном поту, ни про его слуховые галлюцинации, ни про его диагноз (нарциссическое расстройство

личности), ни про трехнедельное пребывание в психиатрической клинике. В ту ночь, когда мой отец, убежденный атеист, умер, Фой читал молитвы и причитал над ним, прижимая к груди его безжизненное тело, — и вообще вел себя так, будто кровь на его белоснежной рубашке «Хьюго Босс» была и его собственной. Но я-то видел, что, несмотря на весь пафос и возвышенные слова о символичной гибели моего отца, в глубине души Фой радовался, что вместе со смертью тот унес с собой все его тайны, и что, может быть, теперь ему удастся осуществить свою робеспьеровскую мечту — возглавить Клуб интеллектуалов «Дам-Дам» как черный эквивалент Клуба якобинцев.

Пока дам-дамовцы обсуждали варианты вкрадчивой мести за убийство друга, я объявил заседание закрытым и вытащил отца на улицу, перекинул тело через лошадиный круп, так что голова и ноги свесились вниз, как в фильмах про ковбоев. Дам-дамовцы немного повозмущались, что я унес мученика без групповой фотографии на память, а потом мне перегородили дорогу полицейские машины. Я плакал и ругался. Я кружил по перекрестку, угрожая, что любой, кто посмеет приблизиться, получит копытом в лоб. Тогда все стали звать Заклинателя ниггеров. Но Заклинатель ниггеров был мертв.

Кризисный переговорщик капитан Мюррей Флорес сотрудничал с моим отцом. Он хорошо знал свою работу и не собирался подслащивать пилюлю. Приподняв голову моего отца и посмотрев на него, он огорченно сплюнул на землю и произнес:

— Ну что тут скажешь?

— Вы могли бы рассказать мне, как это случилось.

— Это «случайно» вышло.

— Прямо-таки и «случайно»?

— Ну, если честно... Твой отец притормозил на красный. Потом зажегся зеленый, но машина перед ним не сдвинулась с места. Это был автомобиль офицеров в штатском: Ороско и Медина патрулировали улицы, и им пришлось заниматься бездомной женщиной. Светофор уже несколько раз поменялся с красного на зеленый, но машина продолжала загоразживать движение. Твой отец не выдержал и поехал на красный свет, объехал полицейских, крикнув в их адрес что-то, а офицер Ороско выписал ему штраф и сделал строгое предупреждение. И тогда твой отец сказал...

— «Либо штраф, либо предупреждение, вы не имеете права на то и другое одновременно». Это слова Билла Рассела<sup>[38]</sup>.

— Ну да, тебе ли не знать своего отца. Офицеры возмутились и вытащили оружие, а твой отец побежал, как любой нормальный человек.

Они четыре раза выстрелили ему в спину, и он замертво упал на перекрестке. Теперь ты все знаешь. Позволь мне закончить свою работу. Этим делом займется полицейское управление штата и накажет виновных. А ты отдай мне тело.

И я задал капитану Флоресу вопрос, который много раз в жизни задавал мне отец:

— Вы знаете, скольким сотрудникам управления полиции Лос-Анджелеса давали срок за убийство при исполнении?

— Не знаю.

— Правильный ответ — ни одному. Никто не понесет ответственности, поэтому я забираю отца.

— Куда?

— Я похороню его за домом. А вы можете исполнять свой долг сколько угодно.

До этого я никогда не слышал полицейского свистка. Только в кино. Капитан Флорес дунул в свой медный свисток и махнул рукой, требуя, чтобы полиция, Фой и остальные дам-дамовцы отошли в сторону. Преграда распалась, и я медленно двинулся во главе небольшой похоронной процессии в сторону Бернар-авеню, 205.

Отец мечтал выкупить землю, на которой мы жили. «Пондероса» — так он ее называл. «Ипотека, усыновление детей другой расы — все это для слабаков, — любил повторять он, просматривая каталоги недвижимости, книги по безналичному инвестированию, просчитывая на калькуляторе варианты сделки. — Когда все получится, напишу об этом в своих мемуарах... Двадцать тысяч мы наберем легко... Заложим драгоценности твоей мамы за пять-шесть тысяч... И даже если нам придется платить штраф за досрочное снятие средств с твоего образовательного счета, мы уже соберем кучу денег, и земля вместе с домом будет у нас в кармане».

Никаких мемуаров отец не написал, только придумывал названия, которые выкрикивал из душа, трахаясь с какой-нибудь девятнадцатилетней «университетской коллегой». Отец высовывал голову из ванной, окутанный парами горячей воды, и спрашивал, что я думаю об «Интерпретации ниггеров». Или вот еще, мое любимое: «У меня все пучком — у тебя все пучком». Да и не было никаких драгоценностей. Моя мать — красавица недели по версии журнала «Jet». Выцветшая обложка с ее портретом висит у меня на стене возле кровати. На маме — никаких побрякушек, даже самой дешевой бижутерии. Скромная прическа, роскошные бедра, немного блеска на губах и купальник со стразами. Она позировала на трамплине бассейна во дворе какого-то дома. Ее подробная биография почерпнута

мною из текста в нижнем правом углу: «Лаурель Лескук, студентка из Ки-Бискейн, штат Флорида. Любит прогулки на велосипеде, фотографию и поэзию». Впоследствии нашел эту мисс Лескук. Она работала помощником адвоката в Атланте. Да, она помнит отца, но ни разу с ним не встречалась. Когда в сентябре 1977 года вышел этот журнал, он завалил ее письмами с предложением выйти за него замуж, а еще присылал совершенно гадкие стихи и цветные фотографии своего эрегированного пениса. Учитывая, что на моем счету на обучение лежало всего 326 доллара 72 цента, собранные во время моей немногочленной блэк-мицвы, и что никакой книги мемуаров и маминых драгоценностей в природе не существовало, напрашивался логичный вывод, что мы с отцом никогда не станем полновластными владельцами ранчо на Бернар-авеню, 205. Но удача нам сопутствовала. Суд присудил выплатить мне два миллиона долларов за неправомерные действия полиции. В каком-то смысле я и отец купили ферму в один день.

На первый взгляд то, что мечта отца наконец сбылась, было для меня важнее компенсации. Но даже при самом беглом осмотре (который в начале каждого года проводили чиновники калифорнийского отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности) называть словом «ранчо» этот гектар земли, пусть плодородной, но изрытой кратерами, как на Луне; да еще в самом ужасном гетто округа Лос-Анджелес; да еще с покореженным автофургоном «виннебаго чифтейн» 1973 года выпуска, в качестве покосившегося, тесного амбара; с полуразваленным, переполненным, бедненьким курятником, на крыше которого флюгер настолько приржавел, что никакой ветер Санта-Ана, ураган Эль-Ниньо и торнадо 1983 года не смогли бы сдвинуть его с места; да еще с зараженной плодовыми мушками лимонной рощей из трех деревьев; с тремя лошадьми, четырьмя свиньями, двуногим козлом с колесами от тачки вместо задних ног; да еще с двенадцатью бездомными кошками, стадом коров численностью в одну голову; с тучей мух над испускающей миазмы «рыбной заводью», с забродившими крысиными какашками, которые, как и все остальное, я считай что освободил из-под залога (выиграв по иску два миллиона) в тот самый день, когда мой отец потребовал от полицейского под прикрытием Эдварда Ороско убрать с дороги свой сраный «форд краун виктория», — в общем, называть весь этот несчастный афро-аграрный кусочек несубсидированной лос-анджелесской земли словом «ранчо» было бы преувеличить возможности реальности. Если б мы с отцом, а не европейские пилигримы основали Джеймстаун<sup>[39]</sup>, то индейцы, бросив взор на наши кривые лабиринтообразные посадки маиса и кумквата, сказали бы: «Ну все, семинар по выращиванию кукурузы объявляется закрытым,

потому что вы, ниггеры, ни на что не годитесь».

Когда растешь на ферме в центре гетто, то со временем начинаешь понимать истинность тех слов, что говаривал мне отец во время моих утренних дел: люди жрут то говно, что им подносят на лопате. Так же, как свиньи, мы все живем, засунув голову в корыто. С той разницей, что свиньи верят не в Бога, не в американскую мечту или в то, что перо разит сильнее меча, — они верят в жратву столь же неистово, как мы в воскресные газеты, в Библию, в местное радио для черных и в острый соус. В выходные отец, бывало, приглашал соседей только для того, чтобы они поглядели, как я работаю. Хотя фермы были нарезаны для сельского хозяйства, многие семьи расхотели быть «солью земли» и довольствовались приусадебными участками, устроив там баскетбольную площадку или теннисный корт, а где-нибудь в стороне отстраивали гостевой домик. Кто-то еще держал кур, возможно, одну корову, или организовывал школу верховой езды для девиантной молодежи. Мы были единственной семьей, полностью посвятившей себя фермерству. Пытались заработать, продолжая верить в старые обещания времен Гражданской войны. Один дурак на сорок акров. «О, этот ниггер будет не таким, как вы, — говаривал отец, клятвенно положив одну руку на пах, а другой указывая на меня. — Мой сын станет ниггером Ренессанса, Галилеем наших времен. Вот кого я из него выращу!» Он откупоривал бутылку джина, а на столе уже стояли наготове одноразовые стаканчики, кубики льда и газировка со вкусом лимона и лайма. Гости усаживались на задней веранде и смотрели, как я собираю клубнику, горох и прочую херню, в зависимости от сезона. Ужаснее всего было собирать хлопок. Дело было не в колючках и не в согнутом положении, не в спиричуэлс Пола Робсона, что включал отец, чтобы заглушить латиноамериканскую музыку соседей. Дело даже не в том, что сам процесс посева, полива и сбора урожая был делом хлопотным и бесполезным. Я ненавидел сбор хлопка, потому что именно тогда отец начинал ностальгировать. В легком подпитии он хвалился перед соседями, что никогда мной не занимался и не строил мне в детстве песочниц. Он бил себя в грудь и клялся, что меня выкормила свиноматка Сюзи Кью<sup>[40]</sup>, но в борьбе за ее титьку поросенок-гений Савуар Фэр<sup>[41]</sup> оказался сильнее меня, негритенка. Папины друзья глядели, как лихо я отрываю хлопковые коробочки от уже сухих стеблей. Они ждали, когда же я презрительно хрюкну, воспротивившись мироустройству по Оруэллу (тем самым лишь подтвердив свое свинское происхождение).

1. Ходящий на двух ногах — враг твой.
2. Ходящий на четырех, имеющий крылья или коричневую кожу, — друг.
3. Пиггер не носит шорты осенью, не говоря уже о зиме.
4. Пиггера не застать врасплох спящим.
5. Пиггер не будет пить подслащенный Kool-Aid.
6. Все свиньи равны, но некоторые просто дерьмо.

Не помню, чтобы папа привязывал мою правую руку к спине или оставлял на попечение свиней, но точно помню, как, упершись обеими руками в толстую щетинистую задницу Савуар Фэра, заталкивал его вверх по деревянному пандусу, приставленному к фургончику. Отец, наверное, последний шофер на земле, который до сих пор использует поворотные сигналы, вел машину медленно, аккуратно руля на поворотах, одновременно рассказывая, что осень — лучшая пора для забоя свиней, потому что нет мух и какое-то время мясо можно хранить на улице, а при замораживании его качество ухудшается. Я ехал непристегнутый (как и любой ребенок, родившийся до появления подушек безопасности и детских автомобильных кресел): упершись коленками в сиденье, я смотрел через маленькое окошко на Савуар Фэра — все это время по дороге на бойню он, падла, визжал во все свои сто восемьдесят килограммов живого веса, словно обращаясь ко мне: «Ты — человеческая слизь, ты выиграл свою последнюю партию „Четыре в ряд“<sup>[42]</sup>. Ты меня урыл, сукин сын, теперь король — ты!» На светофорах отец высовывал руку из окна, согнув ее в локте и развернув ладонь назад. «Люди жрут то говно, что им подносят на лопате!» — изрекал он, перекрикивая музыку, лившуюся из радиолы. Он включал левый поворотник, но все равно дублировал его рукой, одновременно подпевая Эмме Фицджеральд и заглядывая в список бестселлеров по версии «Лос-Анджелес таймс».

Люди жрут то говно, что им подносят на лопате.

Я хотел бы сказать: «Я похоронил отца за домом и в тот же день стал настоящим человеком» или другую сентиментальную фигню, принятую в Америке. Но так случилось, что в тот день на сердце полегчало. Больше не надо изображать отсутствие присутствия, если твой отец скандалит из-за места на парковке возле фермерского рынка. Или кроет на чем свет стоит престарелых дам с Беверли-Хиллз, пытающихся воткнуть свои огромные роскошные седаны на парковках с табличкой «только для маленьких машин»: «Ты, тупая сука на таблетках! Если ты сейчас же не уберешь свой



сранный драндулет с моего законного места, богом клянусь: я врежу по твоей вымазанной омолаживающим кремом морде, и я поверну вспять все пятьсот лет господства белых и спущу в трубу твои пятьсот тыщ долларов, которые ты потратила на пластические операции!»

Люди жрут то говно, что им подносят на лопате. Иногда, подъезжая на лошади к окошку забегаловки или ловя на себе взгляды пришлых *ватос*<sup>[43]</sup>, набившихся в кабриолет и тыкающих пальцами в сторону *вакero*<sup>[44]</sup>, пасущего скот в заваленных мусором полях, прямо под высоковольтной линией, тянущейся вдоль улицы, словно по небу боком плывет Эйфелева башня, я вспоминаю: сколько же разной фигни *ad infinitum* отец скормил мне, что в конце концов его мечты стали и моими. Иногда, когда я точу плуг или стригу овец, мне кажется, что каждое мгновение — вовсе не из моей жизни, а лишь его «дежа-вю». Нет, я не скучаю по отцу. Я просто жалею, что у меня ни разу не хватило смелости спросить, действительно ли на сенсомоторной и дооперациональных стадиях развития я жил с привязанной к спине правой рукой. Каково это, а — когда тебя с детства растят ущербным? Плевать, что я черный. А вы попробуйте ползать, кататься на трехколесном велосипеде, играть в «Ку-ку» или построить внутреннюю модель сознания всего одной рукой.



## Глава четвертая

Вы не найдете на карте Диккенс, штат Калифорния. Через пять лет после смерти отца и через год после окончания мною колледжа ушел в небытие и сам город. Никаких громких слов прощания. Он исчез не с таким треском, как Нагасаки, Содом и Гоморра, или мой отец. Диккенс просто стерли с карты, как города, которые исчезли с карт Советского Союза во время холодной войны, ставшие жертвой атомных катастроф. Но исчезновение Диккенса было не случайностью, а результатом бессовестного заговора соседних богатеев городов, где на одну семью уже приходилось по две машины плюс гараж, и жителям уже хотелось, чтобы у них росло не давление, а цены на их недвижимость. После строительного бума в самом начале нынешнего века многие небогатые кварталы округа Лос-Анджелес здорово переменились. В некогда симпатичных рабочих анклавах теперь царствовали фальшивые сиськи, фальшивые дипломы и сфальсифицированные показатели уровня преступности, трансплантация деревьев и волос, липосакция и отсосакция. Общественные советы, ассоциации домовладельцев и местные богатеи заседали по ночам, выдумывая разные живописные имена для своих не очень-то живописных кварталов, и уже до рассвета на каком-нибудь телеграфном столбе вдруг появлялась большая табличка с лазурной, как Средиземное море, надписью. А когда утренний туман рассеивался, обитатели пока еще не облагороженной улицы внезапно узнавали, что проживают теперь на Крест-вью, или Ла-Сенега-хейтс, или Вестдейл, хотя никаких гор, высот или долин поблизости не наблюдалось. Сегодняшние ангеленосы<sup>[45]</sup>, желающие натурализоваться одновременно на Западе, Востоке и Юге, ввязывались в длительные тяжбы, чтобы переписать свои милые трехкомнатные коттеджи на улицы Беверливуд или Забевверливуд.

Что до нашего Диккенса, с ним произошли совсем иные перемены. Одним ясным утром мы вдруг проснулись и обнаружили... Нет, город не переименовали — просто исчезла табличка «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОРОД ДИККЕНС». И никаких официальных уведомлений или хотя бы статьи в газете или краткого вечернего репортажа по ящику. Всем было плевать. В каком-то смысле горожане были даже рады, что теперь они — ниоткуда. Прежде, услышав, что ты из Диккенса, люди опасливо пятились назад, приговаривая: «Ради бога, простите, только не убивайте!» Ходил

слух, что округ отозвал у нас городской статус из-за большого количества коррупционеров. Тут же закрыли полицейский участок и пожарную станцию. В бывшем здании городского совета валяла дурака грубая сикалявка Ребекка, строившая из себя секретаршу: «Никакого ниггера по имени Диккенс тут нет, больше не звоните сюда!» Независимый школьный совет самораспустился, а поиск в интернете выдавал только «Диккенс, Чарльз Джон Хафем» и задрипанный округ в Техасе, названный Диккенсом в честь бедняги, который то ли погиб в битве за Аламо, то ли нет.

Через несколько лет после смерти отца местные решили, что теперь Заклинателем ниггеров буду я. Нельзя сказать, чтобы я откликнулся из чувства долга, фамильной гордости или общественных соображений. Просто я ни с кем не общался, а заклинание ниггеров было поводом хоть как-то оторваться от дома и от хозяйства. Я знакомился с интересными людьми, пытаюсь убедить их, что, сколько бы они ни накачивали себя героином и Ар Келли<sup>[46]</sup>, они все равно не смогут летать. Только у отца все получалось легко. Меня же бог не наградил таким звучным, громогласным басом из рекламы дорогих машин. На громких нотах у меня ужасно противный голос. Я вроде самого стеснительного участника бой-бэнда, я — тихоня, из тех, что в музыкальных клипах сажают на заднее сиденье кабриолета, и они не могут претендовать даже на девушку, не то что на соло. Поэтому мне выдали мегафон. Пытались когда-нибудь шептать с помощью мегафона?

Пока город не исчез, с работой я справлялся. Я играл роль кризисного переговорщика лишь раз в месяц, оставаясь фермером. Но когда Диккенс убрали с карты, меня стали звать минимум раз в неделю. Я даже не успевал переодеться, и как был, в пижаме, оказывался во дворе жилого дома с мегафоном в руке, взирая на обезумевшую мамашу на балконе третьего этажа. По ее виду было понятно, что она вытягивала волосы плойкой, но не довела дело до конца, потому что ей моча ударила в голову и она уже перекинула своего младенца через перила. У отца больше всего заклинаний выдавалось на ночь пятницы. И пошло-поехало — целый поток малоимущих ниггеров с биполярными расстройствами. В пятницу, в день зарплаты, они спускали все в баре и, устав от того, что показывал телевизор, они отрывались, раскидывая во все стороны домочадцев, отрастивших себе толстые задницы сидением на диванах, расталкивали ногами коробки недораспроданной косметики «Эйвон», перебирались на кухню, где вырубали радио, орущее песню за песней про добродетели пятничных ночей в клубе, с распиванием бутылок, разбиванием голов и раскусыванием женских телес (в таком порядке), потом на следующее утро

отменяли прием с психиатром, с балаболкой-косметологом, которая хоть и работает с головой столько лет, все делает одну и ту же прическу — подсушить, подкрасить и уложить набок. Они выбирали именно ночь пятницы, этот «день Венеры», богини любви, красоты и неоплаченных счетов, чтобы совершить самоубийство, а может, убийство, а может, и то, и другое. Но при мне люди срывались уже в среду. Просто какой-то критический день, честное слово. Какие там говорят заклинания на талисман гри-гри<sup>[47]</sup>, представления не имею. Я нажимаю на кнопку мегафона, и тот оживает, фонит. Половина племени ждет, что вот сейчас я произнесу волшебные слова и все обойдется, а другим жуть как интересно, распахнет ли женщина халат, обнажив свою набухшую от молока грудь.

Иногда я подпускаю немного юмора. Вытаскиваю из большого коричневого конверта бумагу и говорю голосом ведущего какого-нибудь скандального вечернего шоу: «Что до восьмимесячного младенца Коуба Джордана Карима Лаборна Мэйуезера Третьего, то я *не* являюсь его отцом... А жаль». Глядя на меня, мамаша закатывается от смеха и роняет ребенка в обкаканых подгузниках прямо в мои протянутые руки.

Но чаще дело обстоит гораздо сложнее. Вечерний воздух буквально наэлектризован отчаяньем «Mississippi Goddam»<sup>[48]</sup>, мешая сосредоточиться. Фиолетовые синяки на лице и на руках, с плеч кокетливо соскальзывает махровый халат, и ты понимаешь, что это не женщина, а мужчина, накачавший себя гормонами так, что у него выросла грудь. Ты видишь его бритый лобок, женственно-округлые бедра, а тот, кто размахивает монтировкой, — доминантный, широкоплечий, в футболке и бейсболке с козырьком, повернутым набок, — может, он и мужчина, а может, только похож, — и вот *оно* нервно вышагивает по крытой стоянке, обещая проломить мне башку, если только я скажу хоть одно неосторожное слово. А младенец в голубых пеленках, потому что голубое — это цвет банды «калеки», так надрывается от плача, что хочется его заткнуть, но иногда не издает ни звука, и я пугаюсь, что он уже мертв. И фоном, за раздувающимися, как парус, занавесками, что рвутся наружу через приоткрытые стеклянные двери, всегда маячит размытый силуэт Нины Симоне. Отец давно предупреждал меня, каких женщин стоит опасаться. Женщины, чья жизнь разрушена наркотиками и каким-нибудь подонком. Разочарованные в любви и тоскующие по ней, они курят сигареты одну за другой, часами просиживают в темноте с прижатой к уху телефонной трубкой, пытаясь дозвониться на радио K-Earth 101 FM («Для тех, кому за...»), чтобы заказать песню Нины Симоне или что-нибудь из

«Ширэлз»<sup>[49]</sup> — вроде «Посвящается моему любимому», что в переводе на человеческий язык означает «Посвящается ниггеру, который избил меня до полусмерти и бросил». Отец говорил мне: «Держись подальше от всяких сучек, которые обожают песни Нины Симоне и дружат с пидорами. Они мужененавистницы».

Суча крошечными ножками, младенец описывает в воздухе огромную дугу, вращаясь вокруг собственной оси. Я тупо стою под балконом: заклинатель ниггеров, не знающий ни одного заклинания. Толпа тихо ропщет, что я вообще ни черта не умею. А я и вправду не умею.

— Хуль стоишь, чувак? Сейчас ребенок убёцца!

— Не убёцца, а убьется.

— Да какая разница, тупой ты ниггер! Скажи хоть что-нибудь!

Все думают, что я окончил колледж с дипломом психолога, а потом вернулся домой, чтобы продолжить дело отца. Но меня совершенно не интересует ни психоанализ, ни тесты с чернильными пятнами, ни состояние человеческой психики. Я пошел в Риверсайдский университет только потому, что у них был приличный сельскохозяйственный факультет, и выбрал специальность «животноводство», мечтая превратить отцовское ранчо в страусиную ферму, где я мог бы продавать страусов рэперам из начала девяностых, игрокам, прошедшим первый раунд драфта НХЛ, и корешам-киношникам, которые, первый раз в жизни попав в салон первого класса и листая замусоленный журнал авиалиний, наткнутся на мое объявление и подумают: «Черт! А ведь за страусами — будущее!» Это ж и ежу понятно. Питательный страусиный стейк, одобренный FDA<sup>[50]</sup>, продается по сорок долларов за килограмм, перья идут по пять долларов за штуку, а пупырчатые шкуры — по двести долларов. Но на самом деле основной доход можно получить только от продажи племенных страусов ниггерам-нуворишам, которые сами хотят заняться их разведением. А я уже знал, что на среднюю птицу приходится всего двадцать килограммов съедобного мяса, что Оскар Уайльд давно умер, плюмаж или шляпки с перьями носят разве что трансвеститы за сорок, баварские духовики, пародисты, изображающие Маркуса Гарви<sup>[51]</sup>, да южные красавицы, любительницы тройных ставок на дерби в Кентукки и мятного сиропа — женщины той породы, что скорее купят секрет нестареющей кожи, чтобы ими обладали исключительно пенисами в двадцать три сантиметра, чем добавят в гардероб хотя бы один предмет черного цвета. Я прекрасно понимал, что не смогу разводить страусов. На это у меня не было стартового капитала. Но когда я учился на втором курсе, в программе «Твоя

ферма» возник недостаток в диссертациях по двуногим нелетающим, а ведь, как говорят наркоторговцы: «Не продашь ты, продаст кто-то другой». И уж поверьте, в горах Сан-Гейбриел и по сей день вылупляются диковинные особи — результат моих многочисленных неудачных экспериментов.

— Я не знаю, что сказать.

— Разве ты не выучился на психолога, как твой папа?

— Я знаю только, как брачуются животные.

— Вот оттого, что они выходят замуж за этих животных, и начинаются все неприятности! Так что иди и объясни все этой глупой корове!

Второй специальностью я выбрал растениеводство: профессор Фарли, преподававшая у нас агрономию, сказала, что я просто создан для этого и что при желании я могу стать вторым Джоном Вашингтоном Карвером<sup>[52]</sup>. Просто нужно постараться вывести собственную культуру, как Карвер начал культивировать арахис. «Свой аутентичный стручок чего-то», — с улыбкой добавила профессор, положив мне в ладонь одну-единственную фасолинку *phaseolus vulgaris*. Но если вы когда-нибудь заходили в «Tito's Tacos», чтобы съесть миску с теплым, маслянистым, кремовым пюре из жареной фасоли, приправленным толстым слоем расплавленного сыра чеддер, у вас не возникнет никаких сомнений, что такая культура, как фасоль, уже доведена до генетического совершенства. Помню, я спрашивал себя: почему именно как Джордж Вашингтон Карвер? Почему не как Грегор Мендель или как тот чувак, что вывел собачку чиа, пусть даже это и не чиа белая? Или почему не Капитан Кенгуру<sup>[53]</sup>, если кто помнит, или не Мистер Зеленые Джинсы?<sup>[54]</sup> В итоге я выбрал растениеводство в наиболее близкой мне тематике: арбузы и марихуана. Я живу натуральным хозяйством, но три-четыре раза в год впрягаю лошадь в фургончик и — клац-клац — разъезжаю по Диккенсу, чтобы заработать денег. Из моих динамиков раздается песня «Человек-арбуз» в исполнении Монго Сантамария. Эта песня, долбящая на расстоянии, известна тем, что способна остановить летний баскетбольный матч на середине, прервать детскую игру в «звоночки»<sup>[55]</sup>, остановить марафон раньше времени и заставить женщин и детей на перекрестке Комптон и Файерстоун в ожидании автобуса, который отвезет их на свидание в местную тюрьму, сделать сложный выбор: остаться или нет?

Хотя арбузы выращивать нетрудно и я занимаюсь этим много лет, но народ по-прежнему шалееет от вида квадратных ягод. На втором сроке пора

бы уже привыкнуть, что у нас черный президент и что раз в год, одетый по протоколу, он выступает с обращением к нации. Вот так же и с моими арбузами. Хорошо идут пирамидальные образцы, а ближе к Рождеству я продаю полосатых зеленых «крольчат», выведенные благодаря чудесам генной инженерии. На их коже, если прищуриться, можно прочесть: «Господь наш Спаситель». Такие трудно выращивать в больших количествах, но у них есть еще один козырь — это их вкус. Представьте себе самый вкусный арбуз из всех, что вам когда-либо попался в руки. Теперь добавьте туда чуть-чуть аниса и жженого сахара. А семечки! Их не хочется выплевывать: они охлаждают небо, словно остатки кубиков со льдом, облитых колой. Сам я не видел, но, говорят, люди теряют сознание, попробовав мои арбузы. Специалисты по сердечной реанимации, спасающие моих клиентов из миниатюрных надувных бассейнов, проделав искусственное дыхание рот в рот, даже не спрашивают о сердечных приступах и наследственности в семье. Облизывая губы, вытирая с лица и щек красный «реанимационный» нектар, все в семечках, словно в веснушках, они спрашивают больных лишь одно: «Где вы купили такой арбуз?» Иногда в поисках убежавшего козленка или овцы я забредаю в мексиканские кварталы по ту сторону Харрис-авеню. Ватага пацанят-чоло [\[56\]](#) с выбритыми и блестящими на солнце головами, идущая домой после школы, подходит ко мне, окружает меня, хватая за руки, благоговейно повторяя: «Por la sandia... gracias» [\[57\]](#).

Но даже в солнечной Калифорнии невозможно выращивать арбузы круглый год. Наши зимние ночи гораздо холоднее, чем вы думаете. Десятикилограммовые арбузы все никак не вызревают, высасывая из почвы все нитраты словно наркоманы. В это время года я держусь на марихуане. Я редко ее продаю. Конопля — это не тупая стрижка купонов, так, деньги на бензин, плюс я не хочу, чтобы ко мне в дом по ночам таскались всякие ублюдки. Иногда я могу угостить знакомых осьмушкой. Ничего не подозревающий парняга, впитавший кроник [\[58\]](#) с молоком матери, валяется на моей лужайке, весь в траве и грязи, и ржет без остановки, не в силах выпутать ноги из рамы своего велосипеда. Но косяк он не выронил и, гордо подняв его над землей, спрашивает:

— Что это за шняга?

— «Атаксия».

На домашней вечеринке, когда Хохотушка (с которой мы знакомы со второго класса) наконец перестает довольно пялиться в зеркальце на лицо, которое она не узнает, но оно ей нравится, поворачивается ко мне и задает

три вопроса: кто я? что за негр трется о мою задницу и сует язык мне в ухо? и что я курю? — она получает три ответа: Бриджит Санчес Хохотушка. Твой муж. «Прозопагнозию». Иногда народ интересуется, чего это я ношу при себе дурь. Но всегда можно отвести от себя подозрение, невинно пожав плечами: «Да я тут знаю одних белых...»

Раскури косяк. Выдохни ей в лицо дым. Травка с плохим запахом — это знатная травка. Объятая влажным, зыбким облаком с привкусом красного прилива на Хангтингтон-Бич, с запахом мертвой рыбы, изнывающих от жары чаек, — женщина перестает крутить в руках ребенка. Дай ей затянуться. Это «Англофобия», новый сорт, я его совсем недавно вывел, но ей необязательно об этом знать. Подойдет любой способ, чтобы подобраться ближе. Не делая резких движений, вскарабкаться по увитой плющом решетке или на плечи какого-нибудь ниггера покрупнее, только бы оказаться от нее на расстоянии вытянутой руки. Я глажу ее — так гладят породистую кобылицу, когда занятия в школе верховой езды закончены и ты хочешь пустить лошадь вскачь по полям. Я тру ей ушки, чтобы она втягивала мой запах ноздрями, растираю ей суставы, причесываю волосы, а потом выдыхаю облачко дыма в ее скорбный жаждущий рот. Когда она отдает мне ребенка и под аплодисменты толпы я спускаюсь вниз по лестнице, мне думается, что, наверное, Грегор Мендель, Джордж Вашингтон Карвер и даже отец мною бы гордились. Иногда, глядя, как женщину пристегивают ремнями к каталке — или ее просто успокаивает натерпевшаяся страху бабушка ребенка, — я спрашиваю их: «Почему именно в среду?»



## Глава пятая

Да, многие воспринимали исчезновение Диккенса очень болезненно. Но более всего в моей помощи нуждался старик по имени Хомини Дженкинс. Он всегда был нестабилен, но отец не занимался им вплотную. Думаю, он считал, что, если эта седая реликвия канет в прошлое времен «Хижины Дяди Тома» или в крайнем случае этим «придурочным ниггером» займусь я, не будет особой потери. В каком-то смысле Хомини и был моим первым пациентом. Накинув на его плечи плед, я пресекал самоубийственные попытки Хомини носить красные цвета в голубых кварталах, голубые в красных кварталах, или кричать «¡Yo soy el gran pinche mayate! ¡Julio César Chávez es un puto!»<sup>[59]</sup> смугло-коричневым латиносам. Он мог залезть на пальму и орать: «Я Тарзан, а вы шаники»<sup>[60]</sup>! И тогда мне приходилось оттаскивать в сторону разъяренных женщин, умоляя их опустить оружие, а потом нужно было еще уговорить Хомини слезть с дерева, предлагая ему липовый контракт с какой-нибудь загнувшейся киностудией с дополнительными бонусами в виде пива и копченого миндаля. Как-то на Хэллоуин Хомини отодрал от стен провода дверного звонка и привязал их к своим яйцам. Когда в дом позвонили дети, игравшие в «Сласти или напасти», вместо сладостей или фотки с автографом они получили напасти: из дома раздался душераздирающий вопль. Прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось протолкнуться сквозь прильнувшую к окнам толпу фей и супергероев. Отдернув от звонка зеленый пальчик восьмилетней девочки в костюме Женщины-Халк, я потом еще долго уговаривал Хомини натянуть обратно штаны и задернуть занавески.

Прославившийся как возможная Столица Убийц, Диккенс не особо привлекал туристов. Лишь иногда шальная компания студентов, проводящая каникулы в Лос-Анджелесе впервые, могла нагрянуть к нам, только чтобы снять двадцатисекундное дрыгающееся видео на оживленной улице. С победным уханьем и прыгая как дикари, они кричали в камеру: «Эй, народ, глядите, мы в Диккенсе, штат Калифорния. А вам слабо?» Потом они заливали свое видео городского сафари в интернет. Демонтировать все таблички «Добро пожаловать в Диккенс» — это было как оставить нас без Камня Красноречия<sup>[61]</sup>, к которому бы тянулись приезжие, чтобы его поцеловать. Впрочем, искренних почитателей никто не отменял. Обычно это были пожилые люди: они медленно ехали по



улицам в своих фургонах с неместными номерами и пытались вспомнить собственную юность. Те безмятежные времена, которые политики обещают нам вернуть, когда Америка была великой и уважаемой, землей моральных ценностей и дешевого бензина. Спросить местного: «Простите, вы не знаете, где проживает Хомини?» — все равно что поинтересоваться у певички из дешевого кабака дорогу к Сан-Хосе.

Хомини Дженкинс — последний живой участник сериала «Пострелята»<sup>[62]</sup>. Этот сериал, начиная с бурных двадцатых и заканчивая восьмидесятыми с их рейганомикой, опустошал по всему миру детские копилки, порождая волну школьных прогулов — и это несмотря на то что «Пострелят» показывали по телевизору и в выходные, и после уроков в будни. В середине тридцатых Хомини подписал договор со студией Хэла Роуча на триста пятьдесят долларов в неделю и стал дублером Томаса-Гречихи. В основном же он сшибал деньги, в ожидании своего часа играя в эпизодах всех подряд. Он был то младшим братом, с которым нужно посидеть, потому что мама отправляется в тюрьму на свидание с папой, то негретенком, пытающимся удержаться на муле, ускакавшем от хозяев. Иногда ему давали роли со словами: например, ответить с задней парты на вопрос учителя. Хомини корчил рожи, кричал «Йоуза!» (это восклицание стало его визитной карточкой), подыгрывая основным детским персонажам, и особенно Альфальфе, который буквально заливался соловьем — настолько многословными были у него роли. Хотя остроумие и детский задор Хомини не были полностью востребованы, мальчик терпеливо ждал и мечтал, как однажды наденет волшебные, с задранными носами туфли джина и окажется в пантеоне других знаменитых негрят. Ведь он по праву заслужил место в этом веселом пантеоне, куда входили и Фарина, и Стайми, и Гречиха. Пронесет наследие расизма с его оборванцами и шляпами-котелками прямо в 1950-е. Но время умильных черномазых рожиц, а заодно и самих короткометражек закончилось, а очередь Хомини так и не подошла. Потребность в черном цвете Голливуд восполнял через полубелизну Гарри Беллафонте и Сидни Пуатье, через негритянскую темпераментность Джеймса Дина и через призывную, округлую, как планета Венера в черном космосе, задницу Мэрилин Монро.

Когда поклонникам наконец удалось найти дом Хомини, тот одаривал их улыбкой, демонстрировавшей вычищенную искусственную челюсть, и задорно потрясал в воздухе артритным пальцем. Приглашал гостей отведать фруктового пунша с высоким содержанием аскорбиновой кислоты и, отдельных счастличиков, — моего арбуза. Не думаю, что он делился с ними теми историями, что рассказывал нам. Сейчас уже и не

припомнишь, как завязалась любовь между мной и Марпессой Делиссой Доусон. Она старше меня на три года, и я знаком с ней сколько себя помню. Марпесса всю жизнь прожила тут: ее мать держала клуб верховой езды «От солнца к солнцу» и школу игры в поло. Они всегда меня звали, если надо было показать конкур или когда в детской команде не хватало защитника. И то, и другое у меня выходило плохо, так как, во-первых, лошади аппалузы не годятся для конкур, и, во-вторых, в поло запрещено играть левой рукой. В детстве все мы — я, Марпесса и остальные ребята — после уроков приходили к Хомини. Посмотреть несколько серий «Пострелят» в компании с одним из них — большего счастья и не придумаешь.

В те времена роль пульта с дистанционным управлением выполнял отцовский окрик: «Шон! Дон! Марк! Кто-то из вас, пиздюков, спуститесь вниз и переключите мне на другую программу». Настройка мудреного высокочастотного канала вроде Channel 52 или KBSC-TV Corona на раздолбанном черно-белом телевизоре с комнатной антенной без одного уха требовала рук, чутких, как у сосудистого хирурга. Зажав пассатижами почти утопленные в корпус колесики, пытаешься попасть на нужную частоту — да еще эта чертова горизонтальная и вертикальная развертка! И вот уже мурлычат валторны, выводя музыкальную заставку, выплывает логотип сериала. Кольца обогревателя-змеевика раскалились докрасна, словно костер Дядюшки Римуса.

— Дядюшка Римус, то есть Хомини, расскажи нам еще одну историю.

— Не помню, слышали вы или нет, как я дал просрать Дарле в двенадцатой серии про наш клуб юных мужчин-женоненавистников...

Только теперь я понимаю, что Хомини, пытавшийся согреться в лучах давно потухшей славы, был совершенно ку-ку. Но тогда нас забавляли его характерные телодвижения, когда на экране мелькали кружевные панталоны Дарлы.

— Скажу вам, что в жизни эта сучка была не так уж соблазнительна, как в кино. На, получи за Альфальфу, Микки, Порки, Чабби, Фрогги, Батча, Уолли, за всех наших парней! — кричал Хомини, ритмично раскачиваясь и оргазмически впечатывая свои чресла в экран. Понятно, что Хомини злился. Он хотел заслуженной славы, но не получил ее.

Кроме рассказов о своих сексуальных завоевательных походах, Хомини любил похвастаться знанием четырех языков, потому что каждый фильм выходил в четырех версиях — на английском, французском, испанском и немецком. Когда он сказал это в первый раз, мы рассмеялись, так как его персонаж Гречиха только и говорил, что «О'тей, Спэнки» (на старый негритянский манер, словно у нее каша во рту), а «О'кей, Спэнки»

— это «О’кей, Спэнки» на любом, блядь, языке. Однажды мы смотрели мой любимый эпизод «Молоко и каша», и Хомини приглушил звук как раз на том самом месте, когда маленькие негодники из пансиона «Блик-Хилл» уселись завтракать. Старик Кэп все никак не дождетсЯ пенсии, а его жена, повадками и лицом в морщинистых складках напоминающая шарпея, ругается на непослушных ребят. Один из маленьких негодников, который доил корову и опрокинул ведро с молоком, шепчет соседу и просит передать по кругу слова, которые мы и так знаем наизусть — можно даже не включать громкость.

«Не пей молоко», — хором произносим мы.

«Почему?» — спрашивает белый мальчик на экране.

«Оно испорченное», — шепчем мы.

Не пей молоко. И передай по кругу. И тут Хомини начал повторять эту реплику на разных языках:

No bebas la leche. Porque? Está mala.

Ne bois pas le lait. Pourquoi? C’est gate.

Trink die Milch nicht! Warum? Die ist schlecht.

Не пей молоко. Почему? Оно испорченное.

«Испорченным» молоко было потому, что по стаканам разлили разбавленную водой штукатурку, которая затвердеет, когда дети выльют ее в кашу, а Хомини испортила детская популярность. Если в каком-нибудь эпизоде делались «купюры» из соображений политкорректности, Хомини дулся и топал ногами:

— Они вырезали меня из этой сцены! Там Спэнки должен найти волшебную лампу Аладдина, потерять ее и сказать: «Пусть Хомини превратится в мартышку, пусть Хомини превратится в мартышку». И тут — оба-ёба! — я превращаюсь в ебучую мартышку!

— В мартышку?!

— Ну да, в капуцина, если точнее, и я даже отрепетировал, как ходить вперевалочку и вихлять задом. И вот я даю деру и забегаю в магазинчик, где ниггер торгует газировкой. Рядом с ним — его девушка, и вот он закрывает глаза и тянется к ней для поцелуя. Увидев меня, девушка убегает, а этот балбес целует меня в губы. На этом месте народ просто умирал от смеха. «Волшебная лампа и постреленыш» — у меня там самая большая роль. За мной гоняется вся полиция, а в конце мы со Спэнки съедаем до хренища пирожных. И, скажу я вам, Спэнки был самым охуительным

белым мальчишкой из всех, что я встречал в жизни. Йоуза!

Сложно сказать, то ли он на самом деле превратился в обезьяну, то ли ребята из киностудии Хэла Роуча, не особо блиставшей спецэффектами, просто открыли книгу рецептов Классических Американских Стереотипов и выбрали из нее один простейший, «Как сделать из негра обезьяну»: «1. Просто добавь хвост». Как бы то ни было, по мере того как на полу монтажной росла гора вырезанных кадров, откровенно попахивавших расизмом, уже и так было понятно, что им просто был нужен маленький черномазый шут. Вся его карьера — это дайджест из вырезанных фрагментов фильмов, где он был бы окружен белизной: яичница-глазунья, белая краска, просыпающаяся на голову белая мука. На черном лице — выпученные от страха глаза с белыми белками; белые привидения в заброшенном доме; компания новообращенных призраков, говорящих на непонятном языке и сомнамбулически продирающихся сквозь дремучий лес; белая ночнушка на бельевой веревке раздувается на ветру, словно заколдованное привидение, до смерти перепугав Хомини. Его гримировали под альбиноса. Ему выпрямляли волосы, как в фильмах ужасов, заставляли с разбегу залезать на дерево посреди болота, перепрыгивать через заборы, пробивать собою стекла витрин. И он постоянно нарывался на удары током, по собственной неосторожности или по воле божьей, — но искры и молнии никогда не промахивались мимо его задницы, прикрытой штанами на подтяжках. В эпизоде «Честно говоря, Бен Франклин»<sup>[63]</sup>, когда на очкастого Спэнки нападает питбуль, кто, как не Хомини, вызывается оттащить мальчика от опасности, став воздушным змеем? Гигантский орел пришит к огромному флагу Бетси Росс<sup>[64]</sup>, в рваных штанишках и треуголке, из которой торчит металлический штырь, с плакатом на шее, написанным плачущими от непогоды чернилами, — «Бывают времена, сжигающие человеческие жизни. Натан Хейл<sup>[65]</sup>», — Хомини взмывает в небеса, словно черная живая антенна, паря под пронизывающим дождем, штормовыми ветрами и зигзагами молний. Раздается громовой раскат, и что-то сильно искрит. Спэнки держится за светящийся ключ, привязанный к распоркам воздушного змея. Ключ весь наэлектризован, и Спэнки уже открывает было рот, чтобы сказать «Эврика!», но сверху его обрывает Хомини. Он упал и запутался в ветках дерева, он весь обгорел, и дым валит из его глаз, изо рта (и опять эта вечная белозубая улыбка), но произносит самый длинный монолог за всю свою кинематографическую карьеру: «Йоуза! Я опткрыл алектричество!»

Потом появились кабельное телевидение, видеоигры и Мелани Прайс

с грудью восьмого размера, которую она любила демонстрировать, устраивая у окна своей комнаты стриптиз как раз в то же время, когда по телевизору показывали «Пострелят». От нашей банды, ходившей в гости к Хомини, один за другим отпадали участники. В конце концов остались только я и Марпесса. Не знаю, почему она не ушла со всеми, ведь у нее тоже выросла своя грудь и ей тоже было чем похвастаться. Иногда парни постарше просили ее выйти на минутку, но Марпесса всегда досматривала «Пострелят» до конца, а парни стояли на крыльце дома Хомини и маялись. Хотелось бы думать, что Марпессе я уже тогда нравился. Но скорее ею двигала жалость, и еще хотя бы с полчетвертого до четырех она чувствовала себя в безопасности. Мы ели виноград и смотрели веселые музыкальные выступления пострелят-семилеток, умеющих петь хриплыми голосами и отбивать чечетку так, что пыль столбом стояла. И впрямь, какую опасность для Марпессы могли представлять тринадцатилетний фермерский мальчишка на домашнем обучении и выживший из ума старик?

— Марпесса.

— М-м-м?

— Вытри подбородок, с него течет.

— Еще бы. Этот виноград — просто объеденье. Ты правда сам его вырастил?

— Угу.

— Зачем?

— Это мое домашнее задание.

— Ну и ебанутый же у тебя отец.

Это первое, что мне понравилось в Марпессе. Ее прямота. Ну и, конечно, ее сиськи мне тоже нравились. Хотя она как-то сказала, поймав на себе мой взгляд, что даже при самых благоприятных обстоятельствах я не знал бы, что с ними делать. А потом обилие поклонников постарше и поопытней (у которых к тому же водились деньги от торговли наркотой) взяло верх над симпатичным Альфальфой в ковбойской шляпе, любившим распевать «Дом на ранчо», так что чаще всего оставались только я, Хомини и виноград. Но я ни разу не пожалел, что не бегал с друзьями подглядывать за девчонками. Мой расчет был таков: пока Марпесса ест виноград и его сок стекает на ее пышную грудь, сквозь мокрую футболку рано или поздно проступят ее твердые соски.

Увы, увидеть женскую грудь в ее трехмерной красе мне довелось только накануне собственного шестнадцатилетия. Я проснулся среди ночи и увидел, как на краешке моей кровати сидела Таша, очередная отцовская

«ассистентка». От ее нагого тела исходили посткоитальные испарения, кислые, как яблочный жмых или мускат. Она читала мне вслух из книги Нэнси Чодороу: «Разумеется, мать — это женщина, потому что мать является родителем женского пола... Мы вполне можем сказать, что мужчина растит ребенка как мать, если он единственный родитель или если из двоих родителей он оказывается самым заботливым. Но мы никогда не скажем, что мать воспитывает ребенка как отец». И по сей день, когда мне одиноко, я трогаю себя, вспоминая грудь Таши, и размышляю о том, что фрейдистская герменевтика совершенно не распространяется на Диккенс. Город, где именно дети зачастую заботятся о своих родителях, где эдипов комплекс или комплекс Электры не приживаются, потому что неважно, кто чей сын или дочь, отчим или брат: все вокруг трахались, не занимаясь пенисомеркой, потому что *никто* не испытывал недостатка в сексе.

Не знаю почему, но я чувствовал себя обязанным перед Хомини за все те дни, что мы с Марпессой провели в его доме. Безумие, в которое он себя вогнал, помогло мне остаться относительно вменяемым человеком. То был ветреный день, среда, примерно три года тому назад. Я разрешил себе поспать подольше, и во сне услышал голос Марпессы. Она сказала только одно слово: «Хомини». Я выскочил на улицу и побежал к его дому. На шаткой стеклянной двери болталась торопливо начирканная записка, приклеенная скотчем. *Я ф задний комнаты*. Почерк был прямо как у пострелят — сплошные закорючки, но всегда можно прочесть, что написано. Задней комнатой называлась пристройка в дальнем конце дома, служившая чем-то вроде Зала Славы. На шестнадцати квадратных метрах хранились вещи, связанные с «Пострелятами»: всевозможный реквизит, фотографии героев и их костюмы. Но на тот момент большинство реликвий — доспехи, в которых Спэнки читал монолог Марка Антония под градом запущенных в него пирожных (эпизод «Трясущийся Шекспир»), локон Альфальфы, белый цилиндр и смокинг Гречиши, в которых он дирижировал оркестром в клубе Спэнки и заработал, по словам Хомини, сотни и даже тысячи долларов за участие в музыкальном эпизоде «Приколы нашей банды 1938», ржавый пожарный насос, с помощью которого пострелята отбили Джейн у богатого мальчишки с настоящей пожарной машиной; казу<sup>[66]</sup>, флейты и ложки и прочее, во что можно было дуть и отбивать ритм и извлекать музыку для группы «Международный серебрянотрунный субмариновый бэнд», — большая часть всего этого была заложена или продана на аукционах. Как и гласила записка, Хомини и впрямь был *ф* полной заднице: раздевшись догола, он повесился на потолочной балке. В

метре от него стоял складной стул с надписью «занято», а на сиденье лежал рекламный буклет «Пострелята на бис»<sup>[67]</sup>, пьеса отчаяния. Хомини повесился на амортизационном тросике и, не сними он ботинки, вполне мог достать ногами до пола. Хомини с посиневшим лицом болтался и извивался на сквозняке, как червяк. Мне даже хотелось оставить его как есть.

— Отрежь мой член и засунь его мне в рот, — прохрипел повешенный, собирая остатки воздуха в легких.

Как известно, при удушении пенис набухает, так что его коричневый друг торчал словно крепкий сук, воткнутый в лохматый снежный ком абсолютно седой лобковой растительности. Хомини крутился на тросике и отчаянно дрыгал ногами, потому что ему надо было успеть совершить самосожжение, а количество кислорода в его пораженной Альцгеймером башке неуклонно убывало. Насрать мне на «бремя белого человека»<sup>[68]</sup> — в тот момент моим бременем был Хомини Дженкинс. Поэтому я выбил из его руки канистру керосина с зажигалкой и пошел домой — именно пошел, а не побежал — за садовыми ножницами и лосьоном. Спешить было некуда, ибо расистские негритянские архетипы вроде «Bebe's Kids»<sup>[69]</sup> не умирают, а размножаются. Потому что керосин, выплеснувшийся на мою рубашку, пах алкогольным коктейлем *Zima*, но в основном я шел потому, что отец рассказывал, что в таких случаях никогда не паниковал. «Дело в том, что черные хреново завязывают узлы».

Я обрезал трос и спас этого клоуна, вознамерившегося линчевать себя, аккуратно усадил его на тряпичный ковер, положив себе на плечо его всклокоченную голову. Пока я втирал кортизон в его поцарапанную шею, Хомини плакал и заливал соплями мою подмышку, а я свободной рукой пролистывал старый рекламный буклет. На второй странице была фотка нашего Хомини с братьями Маркс на съемочной площадке «Черно-белого дня», так и не вышедшего сиквела «Дня на скачках»<sup>[70]</sup>. Братья Маркс сидели верхом на стульях, так что можно было прочитать прибитые к спинкам таблички с именами героев: Граучо, Чико, Харпо и Зеппо. На самом высоком стуле сбоку сидел шестилетний Хомини с нарисованными усами, пышными, как у Граучо, только не черными, а белыми, а на спинке висела табличка: *Депрессо*. Под фотографией — написанное от руки посвящение: «Дорогому Хомини Дженкинсу, черной овце из нашего белого стада. С наилучшими пожеланиями, братья Маркс». Под фото — биография Хомини с перечислением его ролей. Это скорее напоминало прощальную записку самоубийцы:



Хомини Дженкинс (Хомини Дженкинс). Хомини счастлив уж тем, что его актерская карьера началась и закончилась в театре «Задняя Комната». В 1933 году, поразив продюсеров своей буйной африканской шевелюрой, он дебютировал в «Кинг-Конге», где сыграл роль туземного плачущего младенца. Ребенок пережил этот инцидент с Островом черепов. С тех пор Хомини играл чернокожих мальчиков в возрасте от восьми до восьмидесяти лет. Вот чем примечательна его фильмография: «Черная красавица» — мальчик на конюшне (в титрах отсутствует), «Война миров» — разносчик газет (в титрах отсутствует), «Одиссея капитана Блада» — юнга (в титрах отсутствует), «Чарли Чан и его Клан» — помощник официанта (в титрах отсутствует). Все фильмы, снятые в Лос-Анджелесе между 1937 и 1963 годами, — чистильщик обуви (в титрах отсутствует). Другие роли включают: коридорный, мальчик в кегельбане, мальчик в бильярдной, курьер, мальчик на побегушках, мальчик для забавы (порно), а также помощник инженера-техника космического корабля в оscarоносном фильме «Апполон-13». Актер благодарен всем своим поклонникам, которые поддерживали его своей любовью на протяжении этих долгих лет. Какая длинная и странная жизнь.

Если б этот голый человек, плачущий на моем плече, родился где-нибудь в другом месте, скажем в Эдинбурге, он давно был бы произведен в рыцари. «Почтим вставанием сэра Хомини из Диккенса, сэра Джига из Бу, сэра Бо из Зо». Родись он в Японии, выдержав суровые удары войны, экономических пузырей и кинжала сёнена<sup>[71]</sup>, то быть ему престарелым исполнителем кабуки, а во втором акте «Кио Нингё»<sup>[72]</sup> в зале наступала бы торжественная пауза под громогласное объявление с пожалованием ему почетной государственной пенсии: «Роль куртизанки, куклы из Киото, исполняет живая легенда нации и ее великое достояние Хомини Кокоцзынь Дженкинс Восьмой!» Да только угораздило его родиться в городе Диккенс, штат Калифорния. Тут Хомини является не великим национальным достоянием, а Живым Национальным Недоразумением. Он лежит пятном позора на афроамериканском наследии, и его надо бы стереть, удалить из расовой памяти — как белых комиков, изображающих негров, как радиоспектакли «Эймос и Энди»<sup>[73]</sup>, падение Дэйва Шапелла<sup>[74]</sup> и людей, которые говорят «С Днем святого Валентина!»

Я поднес губы к мягким, как воск, складкам его ушной раковины:

— Зачем, Хомини?



Не знаю, услышал ли он меня. Он улыбнулся артистической улыбкой, белозубой и угодливой, он просто смотрел на меня и счастливо улыбался. Это какое-то безумие, но люди, побывавшие в детстве актерами, не стареют. Черты лица просто не меняются, делая их вечно молодыми, пусть и давно забытыми. Вспомните хотя бы эти детские щечки Гэри Коулмана, этот вздернутый носик Ширли Темпл, этот монструозный нос Эдди Мюнстера<sup>[75]</sup>, эту по-детски плоскую грудь Брук Шилдс и эту вечно счастливую улыбку Хомини Дженкинса.

— Ты спрашиваешь почему, *масса*? Потому что с исчезновением Диккенса исчез и я. Мне перестали приходить письма от поклонников. За последние десять лет — ни одного гостя... Потому что никто не знает, как меня найти. А я хочу признания. Старый шут просит о такой малости — о признании. Неужели это так сложно?

Я покачал головой. Но у меня был еще один вопрос:

— Но почему именно в среду?

— Так ты не знаешь? Забыл? На заседании клуба «Дам-Дам», последнем из тех, где был твой отец, нам объяснил. Чаще всего рабы восставали именно по средам, потому что четверг был днем бичевания. Нью-йоркские бунты, бунты в Лос-Анджелесе, фильм «Амистад» и прочая фигня.

Улыбнувшись деревянной улыбкой, словно кукла чревовещателя, Хомини продолжил:

— Так всегда было, с самого начала времен, когда мы появились в этой стране. Тебя бьют хлыстом, останавливают на улице и обыскивают, даже если ты не совершил ничего дурного. Так почему бы не возбунтовать в среду, зная, что в четверг тебя все равно побьют. Верно я говорю, *масса*?

— Хомини, ты не раб и какой я тебе хозяин?

— *Масса*... — снова повторил он, грустно покачав головой, и улыбка стерлась с его лица. Так бывает, когда человек, превозносящий тебя, вдруг узнает, что превозносят его. — Иногда лучше смириться с тем, кто ты есть, и жить по этим правилам. Я раб, и никак иначе. Эта роль была отведена мне с самого рождения. Быть рабом, который случайно оказался актером. Вжиться в роль черного невозможно. Ли Страсберг может показать тебе, как стать деревом, но такой методики, чтобы почувствовать себя черным, не существует. Это порочный круг в нашем ремесле, да и хватит об этом. Я твой ниггер на всю жизнь, не будем спорить.

Не в силах отличить собственное «я» от прямолинейной метафорички «я обязан тебе жизнью, я твой раб», Хомини окончательно свихнулся, и я должен был его срочно госпитализировать. Вызвать полицию и упечь его в

психушку. Но однажды, когда я навещал его в «Приюте для престарелых, забывчивых и забытых» при голливудской «Синематеке», Хомини взял с меня слово, что я его там не оставлю. Он не хотел, чтобы его использовали, как его старых друзей. Сликер Смит<sup>[76]</sup>, Чаттануга Браун<sup>[77]</sup> и «королева кухни» Беула<sup>[78]</sup>, чтобы хоть еще разок сыграть в кино и уж потом навеки поселиться в небесной гримерке, пытались, даже находившись на смертном одре, пройти прослушивания для студентов из УКЛА<sup>[79]</sup> по дополнительной образовательной программе в области кино. Они мечтали сняться в дипломном проекте, чтобы в последний раз почувствовать себя пусть затухающей, пусть выжившей из ума, но все равно — звездой.

Следующим утром, в четверг, проснувшись, я обнаружил возле своего дома Хомини, босого, без рубахи, с замотанными веревкой руками и привязанного к почтовому ящику. Он требовал, чтобы я избил его хлыстом. Не знаю, кто связал ему руки, но то, что Хомини связал меня по рукам и ногам, — это точно.

— *Масса.*

— Хомини, прекрати.

— Я хочу тебя поблагодарить. Ты спас мне жизнь.

— Ты же знаешь, что я все для тебя сделаю. Ты и «Пострелята» скрасили мое детство.

— Ты ведь желаешь мне счастья?

— Конечно. Ты и сам это знаешь.

— Тогда избежь меня. Избежь до черной полусмерти, но только не убивай меня, *масса*. Ты должен восполнить то, чего мне не хватает.

— А нельзя как-нибудь по-другому? Есть что-нибудь другое, чтобы сделать тебя счастливым?

— Верни мне Диккенс.

— Ты же знаешь, что это невозможно. Города уходят и не возвращаются.

— Тогда ты знаешь, как поступать.

Говорят, от Хомини меня оттаскивали три помощника шерифа, потому что я отхлестал этого ниггера по самое не хочу. Отец сказал бы, что это «диссоциативная реакция»: он всегда так говорил, когда ему случалось меня побить. Он открывал свое настольное «Руководство по психическим болезням, Издание первое», бывшее для него святее самой Библии (книга была настолько старой, что гомосексуальность определялась в ней еще как «либидинальная дислексия»), показывал мне главу про диссоциативные реакции, а потом, протерев очки, начинал медленно рассказывать:

— Диссоциативная реакция — это короткое замыкание психики. Наш мозг под воздействием мощного стресса и прочей херни отключается вместе со всеми когнитивными функциями. Это как обморок. Ты совершаешь действия, но не отдаешь себе отчета. Так что, хотя я и не помню, как вывихнул тебе челюсть...

Если б только я мог сказать себе, что, когда очнулся, вспомнил лишь, как больно щиплют ссадины от ударов полицейских, — Хомини сидел надо мной и аккуратно обрабатывал их ватными дисками, смоченными в перекиси водорода! Если бы так. Потому что я никогда не забуду свист своего двустороннего черно-коричневого ремня, которым я хлестал Хомини. Этот пронзающий воздух свист и хлопки, раздирающие кожу на его спине. И его лицо, заплаканное, но счастливое и благодарное, когда он не отползал от меня, а наоборот, подставлял себя под удары, словно ища во мне защиту после мучительно долгого векового терпения, когда гнев загонялся внутрь человека, после десятилетий, прожитых в унижении. Обхватив мои колени, он умолял хлестнуть его еще сильнее, его черная плоть вождедела обжигающих ударов, от которых он скрежетал зубами и стонал, впадая в экстаз. Я никогда не забуду, как он лежал на земле, истекая кровью, и, как всякий раб, — а это уже проверено историей и временем, — отказывался предъявлять мне любые обвинения. Я не забуду, как, заботливо поддерживая, он завел меня в дом, а собравшихся попросил не судить меня строго, а он нашепчет заклинателю ниггеров слова, какие надо.

— Хомини.

— Да, *масса*.

— Какие слова ты хотел бы мне нашептать?

— Я бы нашептал тебе, что ты мелко мыслишь. Спасая с мегафоном ниггера за ниггером, ты не сможешь спасти Диккенс. Ты должен мыслить даже шире, чем твой отец. Тебе ведь известно такое выражение: «за деревьями леса не увидеть»?

— Конечно.

— Ну так вот. Перестань воспринимать нас как отдельных людей, *масса*, ибо за ниггерами ты не видишь плантации.

## Глава шестая

Слышал, доля сутенера нелегка. Как и рабовладельца. Нынче рабы — как дети, собаки, игральные кости, политики-«обещалкины» и проститутки — не делают то, что им велят. Если ваш восьмидесятилетний с гаком чернокожий раб трудится не более пятнадцати минут в неделю, любит наказания до поросычьего визга, ты лишаешься всех тех выгод от плантации, что показывают в кино. Никакого «Горе мне», никто не поет «Go Down Moses» в поле. Никакой тебе черной пышной груди, чтобы зарыться носом. Никто не смахивает пыль в доме метелкой из перьев. Никто не говорит смиренно: «Живем помаленьку». Никаких тебе ужинов с канделябрами, никто не подаст тебе на блюде глазированный окорок, картофельное пюре, посыпанное зеленью прямо с грядки. Мне так и не удалось познать того непререкаемого союза, возникающего между господином и подданным. Я просто владел дряхлым чернокожим стариком, и единственное, что он знал, — свое место. Хомини не мог поменять колесо на телеге. Мотыжить землю. Тянуть баржу или таскать тяжести. Он только мог оторвать свою жопу и с часу до часу пятнадцати или около того появиться на работе. И выбрать себе занятие по вкусу. Иногда работа могла заключаться в том, чтобы покрасоваться в ярких розовых или изумрудных штанах, или поддержать в вытянутой руке керосиновую лампу, или изобразить статую газонного жокея в натуральную величину. Бывало, ему нравилось поработать скамейкой для ног, а в минуты особого вдохновения он падал на четвереньки, чтобы я мог, наступив на него, забраться на лошадь или сесть в грузовик и отправиться — не по своей воле — в винный магазин или на ярмарку домашнего скота из Онтарио. Но по большей части работа Хомини состояла в том, чтобы наблюдать, как работаю я. Поедая сливы бербанк — я потратил шесть лет, добиваясь правильного баланса между кислым, сладким и толщиной кожицы, — Хомини приговаривал:

— Ох, *масса*, до чего ж хороши сливы! Японский сорт, говоришь? Поди засунул руку в жопу Годзилле, у тебя большой палец аж позеленел к хуям.

Так что, поверьте, рабовладение — это одно расстройство. Не подумайте, будто я брал на себя какое-то обязательство — этот смерд в клинической депрессии сам навязался на мою голову. Расставим все точки над «і»: я тысячу раз пытался «освободить» его. Слова на него не

действовали. И однажды, богом клянусь, я едва не оставил его в горах Сан-Бернардино как надоевшего пса, просто в тот же момент я отвлекся на заблудившегося страуса со стикером «Pharcyde»<sup>[80]</sup> на хвосте, и кураж ушел. Я даже просил Хэмптона составить вольную в стиле эпохи раннего индустриализма и заплатил двести долларов нотариусу за оформление контракта на старинной пергаментной бумаге, которую нарыл в специальном магазине на Беверли-Хиллз, потому что некоторые богатенькие до сих пор ей пользуются. На кой она им? Откуда я знаю. Возможно, учитывая дела в нашей банковской системе, они перешли на составление карт спрятанных сокровищ.

«Для предъявления по месту требования, — гласил контракт. — Настоящим даю свободу, освобождаю от рабства, предоставляю волю, отпускаю и позволяю уйти на бессрочные времена и на все четыре стороны раба моего Хомини Дженкинса, бывшего у меня в услужении в течение последних трех недель. Вышеупомянутый Хомини — среднего телосложения, роста невысокого и ума невеликого. Для сведения всех заинтересованных лиц сообщаю, что отныне Хомини Дженкинс — свободный черный человек. Во удостоверение чего сия отпускная за подписанием моим сего дня, октября семнадцатого дня, года одна тысяча восемьсот тридцать восьмого». Фокус не удался. Хомини стянул штаны, награл на мою герань, подтерся своей свободой и вернул ее мне.

— Ума невеликого, говоришь? — изрек он, вскинув на меня седую бровь. — Во-первых, я в курсе, какой сегодня год. Во-вторых, свобода — это право оставаться в том числе и рабом.

Он подтянул штаны и перешел на «плантационный» язык из фильмов Metro-Goldwyn-Mayer:

— Знаю-знаю, меня силком не затянешь, если не захочу, но вот этот раб, от которого тебе никогда не избавиться. Пусть свобода поцелует мою старую черную жопу.

Наверное, рабство не приносило неграм радости, одни лишь страдания, но иногда повкалываешь в жару — то козам рога отпилить, то подправить изгородь из колючей проволоки, — и развалишься на крыльце, наблюдая, как в лучах закатного солнца окрашивается в охряные цвета туман над городом... И тогда Хомини выносит тебе графин холодного лимонада. Есть в этом что-то умиротворяющее — смотреть, как на стенках бокала оседает конденсат по мере того, как Хомини медленно наполняет твой бокал, потом — буль-буль — бросает туда кубики льда, а потом обмахивает тебя веером, чтобы не докучали оводы. Спускается прохлада, и под песни Тупака из стереосистемы в машине начинаешь понимать, какое

владычество имели рабовладельцы времен Конфедерации. Блин, если б Хомини всегда был таким пайнкой, я бы тоже популял в форт Самтер<sup>[81]</sup>.

По четвергам, как бы случайно, Хомини намеренно проливал напиток на мои штаны. Такой толстый намек. Так домашний пес царапает лапами входную дверь, когда ему нужно выйти по делам.

— Хомини.

— Да, *масса*? — Он многозначительно чешет свой зад.

— Ты остановился на кандидатуре психолога?

— Я посмотрел в интернете. Они все белые. Кто-то сфоткался в лесу, кто-то — на фоне книжных полок. Все обещают карьерный рост, сексуальную удовлетворенность и здоровые отношения. Тогда где фотки их преуспевающих детей или как они удовлетворенно трахаются со своими благоверными? Доказательства где?

Мокрое пятно на моих штанах уже расплылось до самых колен, и я говорю:

— Ладно, садись в машину.

Как ни странно, Хомини не возражал против того, что все госпожи в БДСМ-клубе «Стикс энд Стоунс» на Вестсайде (с которым я заключил контракт, переложив на них наказания для моего «раба») оказались белыми женщинами. Самой его любимой пыточной комнатой была «Бастилия». В одной только кепке армии Севера, голая Госпожа Дороти, бледнолицая брюнетка с пухлыми губками, накрашенными такой яркой помадой «Maybelline», что сама Скарлетт О’Хара умерла бы от зависти, привязывала Хомини к тележному колесу и хлестала его по полной программе. Прищемив его гениталии какой-то хитрой штуковиной, она требовала разведданные о передвижениях и численности армии северян. Потом, когда мы садились в кабину грузовичка, Дороти чмокала Хомини в щечку и совала мне в руки счет. Две сотни баксов плюс плата за «расово окрашенные эпитеты», счет стал нехуево расти. Первые пять «черномазых», «чумазых», «гуталиновых рож», «самбо» — в таксу не входили, но дальше — по три доллара за оскорбление. Слово же «ниггер», во всех его интонационных и грамматических вариациях — по десять баксов. Без обсуждений. После сессии Хомини был такой счастливый, что потраченные деньги стоили того. Но счастье Хомини — это не мое счастье и не счастье Диккенса, но я не мог придумать хоть какой-то способ вернуть город до одного теплого вечера, когда мы возвращались из «Стикс энд Стоунс».

Мы ехали по оживленной трассе, пытаюсь пробиться вперед, виляя с полосы на полосу. Все бы ничего, но на пересечении 405-й и 105-й улиц

начались пробки. У моего отца была теория, что бедные — самые лучшие водители, так как не могут позволить себе страховку, поэтому ездить им приходится так же, как и жить, — с осторожностью. И вот мы ползем как улитки, зажатые со всех сторон такими же незастрахованными ржавыми драндулетами, ползем со скоростью восемьдесят километров в час, наши подобранные на помойке «дворники» бестолково болтаются на ветру, а Хомини начинал потихоньку отходить от садомазохистского кайфа, воспоминания, если не только боль, о его сессии рассеиваются и уходят одно за другим. Ощупывая синяки на руках, он вслух удивился, откуда это у него. Я вытащил из бардачка косяк, предлагая ему «медицинскую» затяжку. Хомини отрицательно качает головой и говорит:

— Знаешь, кто из нашей банды курил? Малыш Скотти Бекетт.

Скотти. Большеглазый белый «постреленок», который всегда оказывался рядом со Спэнки. Мордашка симпатичная, но он неважно играл и быстро вылетел из сериала.

— Да что ты говоришь? А Спэнки не сидел на наркотиках?

— Спэнки ни хера не делал, только ебался направо и налево.

Я опустил стекло. Ехали мы медленно, дым от марихуаны виновато завис в воздухе. Существует легенда, что «Пострелята», как и «Макбет», — проклятые постановки, после которых актеры быстро умирали.

ЧЛЕН «БАНДЫ»	ВОЗРАСТ	ПРИЧИНА СМЕРТИ
Альфальфа	42	Тридцать выстрелов в лицо (по пуле на каждую веснушку) в ссоре из-за денег
Гречиха	49	Инфаркт
Уизер	19	Авиакатастрофа во время учебного армейского полета
Дарла Худ	47	По словам Хомини, он затрахал ее до смерти. На самом деле — гепатит
Чабби	21	Имел что-то тяжелое на душе. Безответная любовь к мисс Крэбтри, 136 кг жира при росте 150 см
Фрогги	16	Сбит грузовиком
Щенок Пит	7	Проглотил будильник

Хомини заерзал на сиденье, ощупывая на спине набухшие красные

следы от хлыста, и не понимал, откуда они и почему кровят. Черт, лучше бы я позволил ему умереть! Я мог бы выкинуть его из машины на потрескавшийся, в пятнах машинного масла асфальт на шоссе Харбор. Да кто его задавит — движение полностью встало. На полосе скоростного движения лежал перевернутый «ягуар». Терпеть не могу эту модель. Владелец «ягуара», в свитере с высоким воротником, сидел на земле живой и невредимый и, прислонившись к разделительному барьеру, читал книгу в твердой обложке, из тех, что продают только в аэропортах. Посреди полосы, разбитая всмятку от наезда сзади, поджаривалась вместе с водителем «хонда седан» в ожидании эвакуации на свалку и кладбище соответственно. У всех «ягуаров» названия моделей, как у ракет: XJ — S, XJ8, E — Туре... А «хонды» словно называют для пацифистов и дипломатов с гуманитарными миссиями. «Аккорд», «сивик», «инсайт»<sup>[82]</sup> ... Хомини выбрался из машины, твердо вознамерившись разрулить пробку. Размахивая руками, словно сумасшедший, — а Хомини и был сумасшедшим, — он разделял машины по цвету. В смысле не по цвету машин, а цвету кожи водителей.

— Чувак, ты у нас черный? Давай назад. Белый, все белые на правую полосу. Коричневый, разворачивайся. Ты, желтолицый, вставай в хвост к белым, пусть рассосется. Краснокожий, полный вперед! Мулаты — жми на газ!

Если он не мог определить на глаз, то спрашивал напрямик:

— Чикано, говоришь? А это то есть какого цвета? Ты просто так, хуеплет, расы не придумывай. Это я *puto*<sup>[83]</sup>? Вот где я видел твое *puto*, понял, *pendejo*<sup>[84]</sup>! Быстро встал на свою полосу, ниггер, и не высовывайся. Твое место там!

Когда приехали полицейские с мигалками, машины уже двинулись, и Хомини забрался обратно в машину, отряхивая руки, как будто он что-то сделал.

— Во как надо, видал? Меня этому научил Саншайн Сэмми: «Время никого не будет ждать, а ниггер будет ждать кого угодно ради чаевых в 25 центов».

— Что за Саншайн Сэмми?

— А тебе какая разница, кто такой Саншайн Сэмми. У вас, у новых ниггеров, и черный президент, и игроки в гольф. А у меня — Саншайн Сэмми. Это был настоящий постреленок, то есть самый первый из нас. Вот уж кто спасал нашу ватагу из самых крутых передраг! Он и был настоящим беспартийным лидером!



Хомини плюхнулся на сиденье, сцепив руки за головой, выглянув в окно и свое прошлое. Чтобы заполнить паузу, я включил трансляцию матча с «Доджерс»<sup>[85]</sup>. Хомини тосковал по старым добрым временам, по Саншайн Сэмми, а я — по Вину Скалли<sup>[86]</sup>, сладкозвучному голосу объективности прямого репортажа. В моем пуританском понимании бейсбола старые добрые времена — это все, что было до появления десятых игроков, стероидов, игр между лигами, говнюков на дальней части поля, до лихо заломленных назад бейсболок, слетающих с голов после каждой неудачной попытки игрока поймать «каттер» или «свечу», теряющихся под солнцем национального досуга. Те времена — это я и мой отец, жующие «доджер-доги», запивая их газировкой; мы, два черных ученых лоботряса, что сидят и томятся на июньской жаре вместе с мотыльками, кроя на чем свет нашу команду, занявшую пятое место, и мечтая о временах, когда играли Рон Сей, Стив Гарви, Сэнди Коуфакс, Дасти и Томми Ласорда. Хомини грустит по временам, когда он олицетворял собой американский примитивизм. Ведь это означало, что он жив: даже карнавальному негру в баке-ловушке хочется внимания. И эта страна — латентный старшеклассник-гомосексуалист, мулатка, косящая под белую, неандерталец, без конца выщипывающий сросшиеся брови, — нуждается в таких, как Хомини. Чтобы было в кого швырнуть бейсбольным мячом, кого обозвать пидором, на ком оттоптаться, куда вторгнуться, где ввести эмбарго. Этой стране всегда нужно что-то вроде бейсбола, чтобы вертеться у зеркала вместо того, чтобы заглянуть в него и вспомнить, где зарыты тела. В тот вечер «Доджерс» продули третий раз подряд. Хомини выпрямился и протер окошко на запотевшем ветровом стекле.

— Еще не приехали?

Мы находились возле съезда к Эль-Сегундо и Розенкранц-авеню, и тут меня осенило: раньше здесь висел указатель «СЛЕДУЮЩИЙ ПОВОРОТ — ДИККЕНС». Хомини скучал по своим прошлым денькам, а я вспоминал, как мы возвращались домой с ярмарки в Помоне и отец толкнул меня локтем, чтобы я просыпался. По радио повторяли матч «Доджерс», я сонно протираю глаза и, увидев щит: «СЛЕДУЮЩИЙ ПОВОРОТ — ДИККЕНС», понимал, что уже дома. Черт, я скучал по этому указателю. Да и что есть в самом деле города, как не их указатели и условные границы?

Нужны не такие уж большие деньги, чтобы соорудить этот бело-зеленый щит: лист алюминия размером с двуспальную кровать, два металлических шеста по 180 сантиметров, несколько конусов дорожного ограждения, пару прожекторов, два светоотражающих оранжевых жилета,

два баллончика краски, пару касок. Ну и плюс одна бессонная ночь. Из скаченных «Нормативов по техническим средствам регулирования движения» я получил все спецификации, начиная от нужного оттенка зеленой краски (Pantone 342) и заканчивая размерами щита (152 на 92 сантиметра), высотой букв (20 сантиметров) и шрифтом (Highway Gothic). Всю ночь я кроил, вырезал, рисовал, потом нанес по трафарету смываемой краской на дверцу машины «СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САНШАЙН СЭММИ» — и вот мы с Хомини уже едем в сторону шоссе. Выкопать две ямки, залить цементом и подождать, пока он схватится, чтобы на нужном месте вырос указатель, — это ж практически как посадить дерево. Я врубил прожекторы и приступил к работе: выкорчевал плющ, вырыл ямки и всадил в землю указатель, пока Хомини на переднем сиденье дрых под звуки джаза на волне KLON.

Над эстакадой Эль-Сегундо-авеню взошло солнце, и дорога ожила. Зашуршали по асфальту шины, зарокотали в небе вертолеты дорожной инспекции, зашипели переключатели скоростей тяжелых грузовиков, а мы с Хомини сидели на обочине, любуясь содеянным. Наш указатель был один в один с настоящим «техническим средством регулирования движения», и его было не отличить от остальных. Всего четыре часа работы — а я чувствовал себя как Микеланджело, любующийся своей Сикстинской капеллой после четырех лет напряженного труда, или как Бэнкси, шесть дней ищущий в интернете идею, чтобы ее украсть, и три минуты — чтобы пройти и воплотить эту идею актом уличного вандализма.

— *Масса*, все-таки указатели — сильная вещь. Я даже почти верю, что там, за туманом, все же существует наш Диккенс.

— Хомини, а что тебе больше нравится: получать хлыстом или смотреть на эту надпись?

Тут Хомини призадумался, а потом сказал:

— Хлыст греет спину, а надпись — сердце.

Тем утром, вернувшись домой, я отослал Хомини к себе, открыл банку пива и взял с полки последнее издание «Атласа Томаса». Десять квадратных километров из территории округа Лос-Анджелес<sup>[87]</sup> остаются неизведанными, как океанское дно. И хотя вам понадобится научная степень по геоматике, чтобы разобраться с его 800+ страницами, «Атлас округа Лос-Анджелес» на пружинах — настоящая бумажная Сакагавея<sup>[88]</sup> для бесстрашных исследователей урбанистического пространства без единого оазиса. Даже во времена GPS и поисковых систем на переднем

сиденье любого такси, эвакуатора или служебной машины лежит эта книжица, да и любому суреньо<sup>[89]</sup>, нагло едущему на красный, запахло оказаться застреленным без заветного атласа. Я пролистал книгу. Каждый год отец приносил домой новое полное издание, и я обязательно открывал его на странице 704 или 705, чтобы найти там местоположение нашей хаты — Бернар-авеню, 205. Осознание, что в этом огромном томе есть и мой дом, укрепляло почву под ногами, создавало ощущение, будто тебя любит весь мир. Но теперь Бернар-авеню, 205, затерялся среди безликой разметки улиц с шоссе по обе стороны. Я прямо чуть не расплакался. Больно осознавать, что Диккенс отправили в небытие, как и другие поселения-невидимки округа. Сверхсекретные бастионы меньшинств, «доны» и авеню, которые никогда не числились или не имели надобности иметь о себе информацию в справочнике, официальные границы или глуповатые указатели, объявляющие «Вы въезжаете в...» или «Вы выезжаете из...», потому что, когда ваш внутренний голос (а это, вы готовы поклясться, не предрассудок и не расизм) подсказывает, что нужно поднять стекла машины и запереть все двери, вы точно знаете, что попали в Джунгли или Фрут-таун, а когда вы снова опускаете стекла и начинаете дышать полной грудью, вы уже выехали оттуда. Я нашел синий маркер и по памяти обвел на страницах 704–705 неровные очертания Диккенса, изобразил внутри фигуры название города и крошечную пиктограмму установленного мной указателя. Если хватит духу, врую еще два. Так что если вам доведется отправиться на юг по 110-му шоссе и за окнами промелькнут два желто-черных указателя «ОСТОРОЖНО: ПАДЕНИЕ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ» и «ВПЕРЕДИ — ЧЕРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ», вы знаете, кого благодарить за предупреждение.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ИЗ «ПОНЧИКОВ ДАМ-ДАМ»

## Глава седьмая

В воскресенье, после установки указателя, я решил объявить о своем намерении вернуть Диккенс из небытия. Где я мог это сделать? Конечно, на предстоящем заседании Клуба интеллектуалов «Пончики Дам-Дам», нечто, наиболее напоминающее правительство у нас.

Еще один грустный парадокс из жизни афроамериканцев: любое заурядное и бессмысленное сборище называется «мероприятием». Только эти черные мероприятия никогда не начинаются по расписанию, так что почти невозможно откалибровать свой приход так, чтобы красиво опоздать, но и не пропустить все мероприятие целиком. Не желая тратить время на заслушивание протокола, я решил досмотреть дома игру «Рейдерс»<sup>[90]</sup> хотя бы до середины. После смерти отца наш клуб превратился в сборище из приезжих фанатов Фоя Чешира — черных представителей «среднего класса» и ученых, желающих хотя бы два раза в месяц прикоснуться к его сомнительной славе. А поскольку черная Америка чтит своих павших героев, было непонятно, что поражает собравшихся больше — жизнестойкость Фоя Чешира или его винтажный «Мерседес 300SL» 1956 года выпуска. Как бы то ни было, они собирались, надеясь поразить его своим глубоким пониманием социально незащищенного чернокожего населения, которое, если хоть на минуту снять расовые шторы с глаз, уже давно не черное, а по большей части латиноамериканское.

На встречи приходили те, кто приходил раз в две недели, споря с теми, кто приходил раз в два месяца, что означает «ежедвумесечно». В тот день я вошел в кафе как раз в момент раздачи экземпляров последнего выпуска «Тикера», где публиковалась обновленная статистика по Диккенсу. Стоя в глубине зала рядом с пончиками с черникой, я поднес газету к носу, вдыхая запах краски для ротатора, перед тем как начать ее читать. «Тикер» — общественное начинание моего отца: он придумал дизайн, как в «Биржевых сводках Доу-Джонса», только товары и голубые фишки заменил на социальные бедствия и угрозы. На одном графике кривая всегда неуклонно шла вверх (уровень безработицы, бедность, преступность и детская смертность), а на другом — обрушивалась вниз (уровень грамотности, образования, продолжительность жизни).

Фой Чешир стоял под часами. За последние десять лет он прибавил тридцать четыре килограмма, а так почти не изменился. Фой был не намного моложе Хомини, но даже еще не начал сидеть, а на лице едва были

заметны мимические морщины. За спиной Фоя висели два огромных фото в рамах, на одном красовалась корзинка с пухлыми и аппетитными пончиками — ничего общего со скукоженной и комковатой так называемой свежей выпечкой, выложенной на витрине и черствевшей буквально на глазах, на втором — цветной фотопортрет моего отца в галстук с заколкой Американской психологической ассоциации и с прической, отретушированной до идеальной волнистости. Судя по серьезным лицам присутствующих, повестка дня была обширной, и дам-дамовцы перейдут к «второстепенным вопросам» нескоро.

Фой взял в руки две книжки и начал размахивать ими перед слушателями, словно фокусник. *Бери-ка культуру, любую на выбор.* Наконец он поднял вверх одну из книг и заговорил с торжественностью южного пастора-методиста, и это при том что сам он — с Беверли-Хиллз, через Гранд-Рапидс.

— Как-то вечером, — начал он, — я попытался прочитать своим внукам вот эту книгу, «Приключения Гекльберри Финна», но мы дошли только до шестой страницы, потому что там везде — слово на букву «н». Моим внукам восемь и десять лет, и хотя они самые умные и боевые ребята из всех детей, что я знаю, и умеют постоять за себя, но я понимал, что мои детки не готовы постичь «Гекльберри Финна» в том виде, в каком он существует сейчас. Поэтому я позволил себе переписать этот шедевр Марка Твена. Там, где встречается отвратительное слово на букву «н», я везде заменял его на «воин», а слово «раб» — на «чернокожий доброволец».

— Правильно, правильно! — закричали наперебой собравшиеся.

— Кроме того, я поправил речь Джима, немного перекроил сюжет и дал книге новое название: «Очищенные от бранных слов приключения, а также интеллектуально-духовные путешествия афроамериканца по имени Джим и его юного протеже, Белого Брата Гекльберри Финна, или В поисках утерянного родства с черной семьей».

Фой еще раз торжественно поднял книгу, чтобы все могли полюбоваться. Вижу я не очень, но, по-моему, на обложке был изображен Гекльберри Финн: он управлял плотом, несущимся по бурным водам Миссисипи, а капитан, то есть афроамериканец Джим, подбоченясь, стоял рядом. У Джима была козлиная борода, он был худ и одет в спортивную куртку «Burberry», которую носил Фой.

Мне никогда особо не нравились эти заседания, но после смерти отца я захаживал на них, если только на ферме не было неотложных дел. До того, как главным мыслителем назначили Фоя, шел разговор, чтобы место отца занял я. Ким Чен Ын гетто-концептуализма. Ведь я же стал Заклинателем

ниггеров, как мой отец. И все-таки от лидерства я отказался, ссылаясь на слабое знание черной культуры. Об афроамериканцах я знал только то, что для нас не существует таких понятий, как «слишком соленое» или «слишком сладкое». За все эти десять лет, когда Калифорнию накрывала волна насилия на фоне полного игнорирования проблем черных, бедняков, всех цветных, в виде попыток протащить Поправки 8<sup>[91]</sup> и 187<sup>[92]</sup>, отмены социальных пособий, фильма [Дэвида Кроненберга](#) «Автокатастрофа», покровительственного благодетеля человечества Дейва Эггерса<sup>[93]</sup>, — я не произнес ни единого слова. Отмечая присутствующих, Фой никогда не называл меня по имени, а просто выкрикивал: «Продажная тварь!» Глядел мне в глаза с хитроватой отстраненной улыбкой, бормотал: «Здесь» — и ставил галочку напротив моего имени.

Фой сложил перед собой ладони домиком — универсальный сигнал, что сейчас самый умный из нас будет держать речь. Фой говорил торопливо и громко, и его эмоциональный напор нарастал с каждым произнесенным словом:

— Предлагаю требовать включения моей политкорректной версии «Гекльберри Финна» в школьную учебную программу. Это преступление, что целые поколения чернокожих выросли, так и не прочитав (тут он кивнул в сторону оригинала) это яркое произведение, жемчужину американской классики.

— Так чернокожих или черных?

Мы с Фоем оба оторопели оттого, что я вдруг заговорил впервые за много лет. Но я пришел с намерением выступить, так почему бы не разогреть голосовые связки? Я откусил кусок печенья и смело его проглотил.

— Как правильно сказать? Лично я не знаю.

Фой молча отпил свой капучино и промолчал. И он, и остальное стадо неместных принадлежали к подмножеству ужасных ликантропических<sup>[94]</sup> мыслителей, которых я прозвал «верниггерами». Днем они — эрудиты и урбанисты, но каждый лунный цикл, отчетный квартал и во время пересмотра преподавательского контракта у них начинает вырастать шерсть на загривке, они влезают в свои шубы в пол и норковые палантины, отращивают клыки и покидают свои башни из слоновой кости и переговорные и рыщут по отдаленным районам, где в полнолуние можно попить за стаканчиком и послушать посредственные блюзы. Теперь же, когда у верниггера Фоя умалились если не богатство, то слава уж точно, у него остался единственный выбор — туманное болото в гетто под

названием Диккенс. Обычно я стараюсь обходить верниггеров стороной. И вовсе не из страха, что они порвут меня на кусочки в интеллектуальном смысле, а из-за их слащавой настырности, когда они обращаются «брат такой-то» или «сестра такая-то» особенно к тем, кого терпеть не могут. Раньше, чтобы развеять скуку, я приводил на заседания Хомини. К тому же он говорил всю херню, о чем я думал. «И чего это вы, ниггеры, тут разговариваете как черные, глотая окончания в деепричастиях, а в своих коротких репликах на бесплатном телевидении вы, ублюдки, говорите как Келси Грэммер<sup>[95]</sup> с палкой в жопе». Но когда до Хомини дошли слухи, будто Фой Чешир потратил миллионы из своих гонораров на покупку самых расистских выпусков из кинонаследия «Пострелят», я попросил его больше не приходить на заседания. Потому что старик орал, топал ногами и театрально вопил: «Ниггер, куда ты подевал моих пострелят?!» Хомини клянется, что эти короткометражки — самая его большая гордость как актера. Если бы это было так, то простить Фоя, этого лицемерного хранителя черной идентичности, невозможно. Ведь своим поступком он отнял у человечества возможность любоваться лучшими образцами американского расизма на Blu-ray и со звуком «долби». Хотя всем известно, что история с Фоем, якобы скупившим расистские выпуски «Пострелят», — всего лишь городская легенда вроде того, что в канализации живут аллигаторы, а конфеты «Pop Rocks»<sup>[96]</sup> с газировкой смертельно опасны для здоровья.

Фой быстро нашелся с ответом и противопоставил моей наглости упаковку вкуснейших вафельных трубочек-канноли (мы оба брезговали дам-дамовской выпечкой).

— Это серьезно. Брат Марк Твен использовал в своей книге слово на букву «н» 219 раз, то есть по 0,68 раза на страницу.

— А по мне, Марк Твен сильно недобрал со словом «ниггер», — пробормотал я.

Но поскольку мой рот был набит любимым печеньем всех американцев, не думаю, что меня поняли. А мне хотелось продолжать. Например, зачем обвинять Марка Твена, если у вас не хватает смелости и терпения объяснить детям, что слово на букву «н» все равно существует и что рано или поздно, как бы беспечно им ни жилось, кто-нибудь обзовет их ниггерами или, прости господи, они и сами кого-нибудь так назовут. Никто не собирается называть их «маленькими черненькими эвфемизмами», так что милости просим в американский лексикон, ниггер! Но я забыл заказать молока, чтобы запить печенье. Так что мне не выдалась возможность



растолковать Фою и его зашоренным коллегам, в чем состоит правда Марка Твена. А состоит она в том, что среднестатистический черный ниггер морально и интеллектуально превосходит среднестатистического белого негра, так нет же: эти дам-дамовские ниггеры хотят запретить само это слово, отменить арбуз, утренние понюшки, мытье члена в раковине и вечно стыдиться лобковых волос цвета и текстуры немолотого перца. В этом разница между большинством угнетенных народов мира и американскими черными: первые клянутся никогда не забывать, а мы хотим все вычеркнуть из нашей истории, запечатать и отправить дело на вечное хранение. Мы хотим, чтобы наши интересы представляли такие, как Фой Чешир, который напридумывает столько инструкций, что суд закрывает глаза на многовековые насмешки и стереотипы, притворившись, будто унылые негры, стоящие перед ним, начинают свою историю с нуля.

Фой продолжал распинаться:

— Слово на букву «н» — самое мерзкое и отвратительное из всех слов, существующих в английском языке. Не думаю, что вы станете против этого возражать.

— А я знаю слова еще более отвратительное, чем «ниггер», — не удержался я.

Я наконец дожевал вязкий шоладно-кремовый комок и, прищурив один глаз, посмотрел через полуобъеденное печенье на голову Фоя. Получилась такая маленькая черная корона с надписью «Огео» посередине.

— Например?

— Все слова с уменьшительным суффиксом: статуэтка, негритоска, поэтесска, актриска. Нет уж, пусть уж лучше меня кличут ниггером, чем «гигантиком».

— Сомнительно, — пробормотал кто-то из присутствующих, называя кодовое слово, которое используют черные мыслители для описания кого-то или чего-то, вызывающего у них чувство дискомфорта, беспомощности и мучительного осознания, что им нечем ответить придуркам вроде меня. «Хули ты тогда пришел, если не можешь сказать ничего по существу?»

Фой поднял руку вверх, призывая всех к спокойствию:

— Мы уважительно относимся к любой высказанной идее. И для тех, кто не знает: эта продажная шкура является сыном основателя нашего клуба.

Сокрушенно взглянув на меня, Фой произнес:

— Ну что, Продажная тварь. Рассказывай, с чем пришел.

Чаще всего, когда нужно было сделать презентацию, дам-дамовцы использовали свою программу EmpowerPoint<sup>[97]</sup> — «афроамериканский»



софт, разработанный лично Фоем Чеширом. Он мало чем отличался от продукта Microsoft, с той лишь разницей, что шрифты в нем назывались вроде «Тимбукту», «Гарлемский Ренессанс», «Питтсбург Курьер». Я подошел к кладовке и открыл ее. Среди ведер, швабр и тряпок лежал наш старый проектор. Его стеклянный верх и одинокий слайд были грязны как тюремные окна, но по крайней мере устройство работало.

Я попросил менеджера приглушить свет, положил в проектор страницу с заранее заготовленной схемой, и та высветилась на пробковом потолке.

Я пояснил, что все границы можно нарисовать спреем на тротуарах, а демаркационные линии — обозначить комбинацией из зеркал и мощных зеленых лазеров, а если выйдет слишком дорого, я могу просто обойти двадцать километров границы и провести толстую белую черту. Слова про обведение границ и демаркационные линии вылетели из меня сами собой. И я уже знал: даже если я и придумал все это с ходу, все серьезнее, чем я думал. И да:

— Я намерен вернуть Диккенс.

Взрыв смеха. Волны и раскаты глубокого негритянского смеха, того самого, что смягчает добросердечных плантаторов в кино вроде «Унесенных ветром». Ржание, слышное в раздевалках баскетболистов, за кулисами на рэп-концертах или в глубине лаборатории полностью белого факультета исследований проблем чернокожих Йельского университета, после того, как некий кудрявый приглашенный лектор опрометчиво намекнул на связь между Францем Фаноном<sup>[98]</sup>, экзистенциализмом, теорией струн и бибопом.

Когда волна осмеяния наконец утихла, Фой вытер выступившие на глазах слезы веселья, прикончил последнюю вафельную трубочку, обошел меня сзади и повернул портрет моего отца лицом к стене, чтобы тот не сгорал от стыда за сына, посрамившего ум всей семьи.

— Значит, говоришь, вернуть Диккенс? — произнес Фой, оформив в слова повисшее в воздухе недоумение.

— Именно так.

— В таком случае у нас — надеюсь, я выражаю мнение большинства — возникает только один вопрос: зачем?

Поразительно: я-то думал, что эта проблема волнует всех, но оказалось, что нет. Обиженный, я вернулся на место и самоустранился. Вполуха слушая, как они продолжили свои обычные обличительные речи о разводах в черных семьях и о необходимости поддерживать афроамериканский бизнес. Ожидая, когда же Фой произнесет: «Ну, и прочее в этом роде», — что в переводе на обычный язык означало: «Как

слышите? Прием. Конец связи» на языке общения черных интеллектуалов.

— Ну, и прочее в этом роде...

Наконец-то. Заседание подошло к концу, и все стали расходиться. Я полез за последним «Орео», как вдруг чья-то мозолистая черная рука выхватила его и кинула себе в рот.

— Принес на все наше племя, ниггер?

В прозрачной шапочке для душа, надетой поверх красных термобигуди, на которые были намотаны пучки выпрямленных волос, с огромными обручами в ушах, этот похититель печенья скорее смахивал на какую-нибудь Бланш или Мэдж, и уж никак не на жестокого бойца, известного как Король (произносится «Кроль») Каз. Я только тихо-тихо проклинал Каза, наблюдая, как он водит языком по своим железным зубам, слизывая с коронок остатки шоколада.

— Вот и мне учителя говорили, когда я жевал жвачку: «Принес на весь класс?»

— Безбэ, ниггер.

Сколько знаю Каза, с моей стороны разговор сводился только к «Безбэ, ниггер». И не у меня одного, потому что Каз хоть и мальчик средних лет, но больно чувствительный, и если ты скажешь что-нибудь не так, он покажет миру, какой он чувствительный, плача на твоих похоронах. Поэтому никто не вступает с ним в разговор — ни мужчины, ни женщины, ни дети. Нужно просто подпустить в голос басов и ответить: «Безбэ, ниггер».

Король Каз исправно посещал заседания клуба с того момента, как мой отец спас его мать, бросившуюся на рельсы метро. Обмотавшись прыгалками по рукам и ногам, она стояла на рельсах пригородной линии и кричала: «Когда у белой сучки проблемы, так она несчастная дамочка в беде. А как у черной сучки проблемы, так она пособие обманом получила и вообще обуза для общества! А чего это вы черных дамочек не замечаете? Рапунцель, Рапунцель, спусти свои косы!» Она так вопила, что ее суицидальный протест был слышен даже сквозь перезвон опускающихся шлагбаумов и рев поезда, прибывающего по синей ветке. Короля Каза тогда звали Кертис Бакстер; я помню, как ветер от промчавшейся мимо электрички сдувал слезы с его щек, а мой отец стоял рядом, держа на руках его спасенную мать. И я помню те рельсы — ржавые, гудящие, горячие на ощупь.

Так что, принес на все наше племя, ниггер?

Кертис вырос — и стал Королем Казом, гангстером, уважаемым за ум и безрассудную храбрость. Его банда под названием «Четкие баблогонь» первая придумала тренировать своих членов на оказание первой

медицинской помощи. Когда на «терках» случалась перестрелка, сразу же появлялись носилки и пострадавших увозили в полевой госпиталь за линией фронта. Даже не знаешь, печалиться или удивляться. Почти сразу после этого нововведения Каз подал запрос на вступление в НАТО. *Все остальные в НАТО, а «калеки» чем хуже? Мы что, не сможем дать пиздюлей Эстонии?*

*Безбэ, ниггер.*

— Мне нужно потолковать с тобой.

— Безбэ, ниггер.

— Но только не здесь.

Каз схватил меня за рукав и потащил в туман, в ночь собаки Баскервилей. Всегда удивительно, когда день переходит в ночь без тебя, и мы остановились, чтобы дать влажному туману и тишине осесть на наших лицах. Иногда сложно сказать, что более вечно — предрассудки и дискриминация или эти собрания. Каз загнул пальцы, любуясь своими длинными ногтями с маникюром, а потом, вздернув одну тщательно начесанную бровь, улыбнулся.

— Первое — «вернуть назад Диккенс». Хуй с тем, что эти неместные ниггеры говорят, потому что я — за. Нас чутка, но те «дам-дамы», кто из Диккенса, не смеялись. Так что давай, братуха. И вообще, если покумекать, почему бы черным не завести собственные китайские рестораны?

— Безбэ, ниггер.

А потом, неожиданно для себя, я сделал то, что, я думал, никогда не сделаю. Я завел разговор с Королем Казом, потому что мне нужно было знать, даже ценой собственной жизни или, по крайней мере, небольшой репутации «спокойного хуя» на районе.

— Я хотел спросить тебя кое о чем, Король Каз.

— Зови меня просто Каз, братан.

— Ладно, Каз. Почему ты ходишь на эти заседания? Тебе нечего толкать и некого долбать?

— Раньше я приходил послушать твоего отца. Упокой господи его душу, этот ниггер глубоко копал, в натуре. А теперь я просто хожу, вдруг эти дам-дамовские ниггеры решат зайти на район, начать бомбить и все такое. Если я окажусь рядом, успею предупредить пацанов. Как Пол Ревир, помнишь<sup>[99]</sup>? Один фонарь в колокольном окне — если попрут на «лендкрузерах», два — если на «мерсах». «Они уже едут! Едут!»

— Кто едет и куда?

Это был Фой. Он и верниггеры рассаживались по машинам, чтобы тихо свалить. Кертис «Король Каз» Бакстер, даже не удостоив Фоя ответом,

развернулся на пятках своих «конверсов» и усутенерил в ночь. При этом его все время заносило вправо — как пьяного моряка с воспалением среднего уха.

— Так подумай насчет китайских рестораничков! И найди себе бабу, а то больно ты напряженный, — крикнул он мне напоследок.

— Не слушай ты его, бабы не помогут.

Пока я отвязывал лошадь и усаживался в седло, Фой открыл два пузырька и высыпал в руку три белые таблетки.

— Одна тысячная, — произнес он, разложив таблетки на ладони — он хотел, чтобы я прочитал названия. «Золофт» и «Лексапро»<sup>[100]</sup>.

— Это что, дозировка?

— Нет, блядь, мой чертов рейтинг Нильсена<sup>[101]</sup>. Твой отец считал, что у меня биполярное расстройство, но на самом деле я просто одинок. Ты, похоже, тоже.

Он в шутку протянул мне свои таблетки, а потом аккуратно положил их на язык и запил из дорогой серебряной фляги. Когда его мультики перестали показывать по телевизору, Фой переключился на утренние ток-шоу. Каждый последующий провал передвигался на все более раннее время. Так же как банда «кровников» *Bloods*<sup>[102]</sup> не использовала буквы «С», потому что с нее начинается название банды «калек» *Crips* («Каша Капитана Кранча» становилась «Хлопьями Лейтенанта Хруста»), так и Фой, чтобы застолбить свою принадлежность к группировке, заменял в своих программах слово «факт» на слово «черный». С какими только черными он не делал интервью в своих программах «Черный», «Вымысел» и «Чернымысел» — от мировых знаменитостей до умирающих музыкантов. Последним его проектом стал бессмысленный дискуссионный клуб «Только черные, мэм», посвященный местам общественного пользования, который показывали в пять утра в воскресенье. Но в такую рань можно наскрести разве что одного-двух бодрствующих негров. Ими оказывались Фой Чешир и его гример.

Трудно описывать человека, который потратил на костюм, обувь и аксессуары не менее пяти тысяч долларов, как растрепанного, но в свете уличных фонарей Фой выглядел именно растрепанным. Его шикарная накрахмаленная рубашка уже давно измялась. Низ шелковых брюк с остатками стрелок истрепался, ботинки вытерлись, к тому же от Фоя разило мятным ликером. Однажды Майк Тайсон сказал: «Только в Америке такое возможно: ты можешь быть банкротом, а жить в особняке».

Фой завинтил крышку фляги и запихнул ее в карман. Сейчас, когда

вокруг не было никого, я ждал, что вот-вот он превратится полностью в настоящего верниггера. Вот еще вопрос: какая у черных вервольфов шкура — лохматая или нет? По идее должна быть лохматая.

— Я знаю, что ты задумал.

— И чего я задумал?

— Тебе сейчас примерно столько же, сколько было твоему отцу, когда он умер. За десять лет во время собраний ты не сказал ни слова. С чего бы ты вдруг сегодня выдал эту чушь о возвращении Диккенса? Да ты просто хочешь наложить лапы на клуб, забрать то, что начал твой отец.

— Да нет. Организация, которая проводит в пончиковой заседание о борьбе с диабетом, — нет уж, оставьте себе.

Можно было и раньше это предвидеть. У отца имелся перечень симптомов, свидетельствующих о безумии. Он рассказывал, что те или иные признаки психического расстройства люди принимают за особенности личности. Равнодушие, перепады настроения, мания величия. Не беря в расчет Хомини, который, как огромный срез красного дерева, какие выставляют в музеях науки, был открытой книгой, я знаю только, как понять, умирает ли изнутри дерево, но не человек. Дерево словно замыкается в себе. Листья покрываются пятнами, на коре выступают наросты, трещины, изломы. Ветки становятся сухими, как обветренные косточки, или, наоборот, мягкими и пористыми, как губка. Но проще всего судить по корням. Корни держат дерево в земле и на земле, на этом чертовом вращающемся шарике. Если корни растрескались, покрыты спорами бактерий или поражены грибом, тогда... Не случайно я так смотрел на дорогие ботинки Фоя с коричневыми мысками из тисненой кожи. Они были истертыми и грязными. Учитывая банкротство, нулевые рейтинги его программ, да еще жена подала на развод... Я должен был и раньше это предвидеть.

— Я глаз с тебя не спущу, — сообщил Фой, забираясь в машину. — Клуб «Дам-Дам» — это все, что у меня осталось. И хуй я тебе дам мне поднасрать.

Посигналив на прощанье, он поехал вниз по бульвару Эль-Сьело и пронесся мимо Каза, которого легко было узнать по походке даже издалека. Нечасто бывает, чтобы член Клуба интеллектуалов «Дам-Дам» сказал что-то оригинальное — про «черные китайские рестораны» и про «баб».

— Безбэ, ниггер, — сказал я вслух.

И впервые в жизни абсолютно серьезно.

## Глава восьмая

Я остановился на рисованной разметке. Не то чтобы лазеры были так дороги — хотя указатели нужной интенсивности обошлись бы в несколько сотен баксов каждый, зато рисование дорожных полос оказалось медитативным занятием. Мне всегда нравилась монотонная работа. Рассылка писем, распределение их по конвертам — есть в этом что-то жизнеутверждающее. Из меня получился бы хороший фабричный рабочий, кладовщик или голливудский сценарист. Когда в школе нужно было выучить что-нибудь вроде периодической таблицы, отец объяснял, что для выполнения скучного задания нужно думать не о том, что ты делаешь, а спрашивать себя, почему ты это делаешь. Впрочем, когда я спросил, переносилось бы рабство легче, если бы называлось садоводством, отец поколотил меня так, что сам Кунта Кинту<sup>[103]</sup>, наверное, вздрогнул бы.

Я накопил до хера белой краски и разметочную машину, какой рисуют разметку на баскетбольном корте. Ранним утром, пока на дорогах было еще тихо, я приезжал в нужную точку, располагался посреди проезжей части и проводил линию. Не особенно заморачиваясь ее прямизной и собственным нарядом, я двигался вперед, прокладывая границу. Это свидетельствовало о неэффективности деятельности клуба «Дам-дам», находившихся в неведении относительно того, чем я сейчас занимаюсь. Большинство, не знавших меня в лицо, решило, что это перформанс или что я сумасшедший. Это предположение меня устраивало.

Но когда волнистая белая полоса вытянулась на несколько километров, любому жителю Диккенса старше десяти лет все стало ясно. Группы праздных подростков и бездомных вставали на охрану границы, аккуратно вытаскивая из влажной краски мелкие камешки и листья и отгоняя велосипедистов и пешеходов, чтобы те не размазали краску. Иногда я устраивал себе выходной день, а когда на следующее утро возвращался, то обнаруживал, что кто-то продолжил мое дело, протягивая границу дальше по-своему, иногда краской другого цвета, или каплями крови, или, в знак одобрения моего начинания, длинным граффити ЧувакБунакаВестсайдКрейзи63Ст. Гангста. Или, как в случае перекрестка у Кризисного центра ЛГБТДЛ (для чиканос, черных, не геев и вообще всех обиженных, лишенных поддержки и всех используемых разными шоу по кабельному телевидению) — сияющей радугой шириной в метр и длиной метров в сто, закрепленной стопками золотых

презервативов. На полпути к проспекту Виктория, где через речушку переброшен мост Эль-Гарвард, кто-то вписал в границу «100 смутов»<sup>[104]</sup> пурпурными буквами. До сих пор не имею понятия, что это было, но хочу сказать, что с таким количеством помощников мы быстро закончили работу. Полицейские, знавшие меня по работе и по арбузам, частенько ехали следом на патрульных машинах, сверяя точность моей границы со старым дорожным атласом. А против добродушного подтрунивания офицера Мендес я не имел ничего против.

— Чем это ты занимаешься?

— Ищу пропавший город Диккенс.

— Ищешь, рисуя посреди дороги белую полосу, когда здесь и так уже есть две желтые?

— Приблудную паршивую дворнягу любят не меньше, чем щенка, подаренного на день рождения.

— Значит, нужно повесить объявление, — сказала она и, быстренько начеркав какой-то текст на обороте листа «Их разыскивает полиция», протянула его мне.

### ПРОПАЛ РОДНОЙ ГОРОД

Вы его не видели?

Приметы: Окрас — черно-коричневый. Немного самоанский. Дружелюбен. Отзывается на кличку «Диккенс».

Нашедшему гарантирована награда на небесах.

Если у вас есть какая-то информация о нем, прошу позвонить по номеру 1- (800) ДИККЕНС.

Оценив по достоинству помощь Мендес, я жвачкой прилепил объявление к ближайшей телефонной будке. Если кто-то потерялся, вопрос выбора места для объявления становится судьбоносным. Свой призыв я разместил между рекламой концерта «Армии Дядюшки Джема» в Центре военных ветеранов («Служить и веселиться! Лос-Афганистан, Калифорния! Аллах ак-бар, открыто с 21.00!») и интригующим предложением о заработке тысячи долларов в неделю на дому. Надеюсь, тот, кто повесил это объявление, договорился с отделом кадров: по-моему, он и триста долларов в неделю не зарабатывал, и уж точно не дома.

На то, чтобы нарисовать границу и знаки, ушло около полутора месяцев. В результате я и сам не понял, что получилось, но забавно было наблюдать в выходные детишек, совершавших обходы вдоль города: они ступали по линии, как по веревочке, чтобы не пропустить ни единый

сантиметр. Иногда попадались пожилые, у которых не хватало духу переступить через белую черту. На лицах их было написано недоумение: почему по эту сторону, в Диккенсе, все не так, как по другую? Ведь и там, и там валялось неубранное собачье дерьмо, да и скудная трава здесь не была зеленее. И там, и там ниггеры били баклуши, но возникало чувство, будто здесь ты — дома. Интересно, почему? Ведь это всего лишь белая линия.

Честно сказать, я и сам первые несколько дней робел пересекать черту: неровная белая полоса вокруг города напоминала мне меловой контур, нарисованный полицейскими вокруг тела моего отца. И все же мне нравилась получившаяся граница. Она спланивала людей и создавала из них общность. И хотя я не вполне восстановил статус Диккенса, то хотя бы посадил его на карантин. Что ж, сообщество сит лепрозорий — тоже неплохое начало.



**Без сдачи, или дзен и поездки на автобусе  
как искусство восстановления отношений**

## Глава девятая

Иногда просыпаешься прямо среди ночи и чувствуешь, как сильно воняет. В Чикаго есть ветер «Ястреб», а у Диккенса, несмотря на совсем еще свежую границу, есть «Вонь», вызывающая жжение в глазах, — бесцветные миазмы серы и дерьма, порожденные нефтеперерабатывающим заводом в Уилмингтоне и очистными сооружениями в Лонг-Бич. Поскольку нам досталась такая роза ветров, «Вонь» собирает все едкости, когда пары соединяются с вонью пота, текилы и одеколona «Драккар Нуар», исходящей от ходоков, что возвращаются после гулянок из Ньюпорт-Бич. Говорят, из-за Вони преступность снизилась на девяносто процентов, но когда ты просыпаешься от нее в три часа ночи, первое, что хочется сделать, — это пойти и убить парфюмера по имени Ги Ларош.

В ту ночь, через две недели после появления границы, зловоние было просто невыносимым, и я не мог заснуть. Я пошел чистить конюшню, надеясь перебить ненавистный запах, засевший в ноздрах, ароматом свежего навоза. Но и это не помогало, и тогда я приложил к носу кухонное полотенце, смоченное уксусом, чтобы ослабить смрад. И тут в дом вошел Хомини: через одну его руку был перекинут мой гидрокостюм, а в другой он держал курительную трубку. Хомини был одет как английский слуга, во фрак и накидку, — и неуверенно копировал высокий слог «Шедевров от BBC».

— Ты что тут делаешь?

— Увидел свет в ваших окнах и подумал, что, может быть, хозяин желает хэша и немного подышать свежим воздухом.

— Хомини, четыре часа утра. Ты почему не спишь?

— Потому же, что и вы. На улице воняет, как у бродяги из задницы.

— А откуда у тебя смокинг?

— В пятидесятые такой был у каждого черного актера. Придешь на кастинг, чтобы получить роль привратника или официанта, а они такие: «Парень, да ты сэкономишь нам пятьдесят баксов! Берем!»

Пыхнуть, а потом серфануть — неплохая идея. Слишком накурен, чтобы садиться за руль, но есть повод впервые за несколько месяцев повидать свою девушку. Поймать волну и флюиды от моей крошки? Это как словить одной затяжкой двух зайцев, так сказать. Хомини провел меня в гостиную, развернул ко мне папино кресло и хлопнул ладонью по подлокотнику:

— Присядь.

В газовом камине загудело пламя, я зажег щепку, раскурился от нее, сделал долгую затяжку и улетел еще до того, как выдохнул. Наверное, я забыл закрыть заднюю дверь, потому что в гостиную вошел черный, недавно родившийся теленок с блестящей шерсткой. Ему не было еще и недели, он не успел привыкнуть к звукам и запахам Диккенса. Остановившись рядом, он вытаращил на меня большие карие глаза. Я выдохнул на него облачко гашишного дыма, и вместе мы почувствовали, как стресс оставляет наши тела. С громким шипением меланин растворялся в пустоте, как антацид под проточной водой, и с наших шкур сходила чернота.

Говорят, каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на три минуты, но хороший гашиш дает ощущение, что смерть — где-то очень далеко.

По воздуху донеслось отдаленное стаккато выстрелов. Последняя за эту ночь перестрелка продолжилась рокотом полицейского вертолета. Я поделился с теленком пивом, чтобы нам обоим немного сбить кайф. Хомини расположился у двери. По улице промчалась кавалькада «скорых», и он вручил мне доску для серфинга, как дворецкий протягивает английскому джентльмену пальто. Притворяется Хомини или нет, но я завидую его забывчивости, потому что он, в отличие от Америки, перевернул эту страницу. История такая штука, что мы воспринимаем ее как книгу — перелистнул страницу и живи дальше. Но история — не бумага, на которой она напечатана. История — это память, а память — это время, эмоции и песня. История — это то, что навсегда остается с тобой.

— Хозяин, я тут подумал... вам интересно будет узнать, что на следующей неделе у меня день рождения.

Я чуял, что всё не просто так. То-то он такой обходительный. Но что можно подарить рабу, которому даже свобода ни к чему?

— Что ж, отлично. Съездим куда-нибудь. А пока, сделай одолжение, отведи теленка в коровник.

— Я не обслуживаю домашних животных.

Даже когда не воняет, если ты идешь по улицам гетто в гидрокостюме, с доской для серфинга под мышкой, никто до тебя не доебывается. Ну, может быть, какой-нибудь сопливый грабитель окинет тебя взглядом, прикидывая в уме, за сколько можно заложить мой допотопный трехплавниковый серфборд Town & Country. Иногда меня останавливают возле прачечной, с изумлением поглядывая на мои шлепанцы и ощупывая черную полиуретановую кожу гидрокостюма.

— Ты прикинь, а?

— А че это на тебе?

— А куда ж ты ключи кладешь?

Ровно в пять сорок три утра к остановке подъезжает автобус 125, что едет в сторону Эль-Сегундо. Я люблю, когда с громким шипением открываются пневматические двери и водитель радостно меня приветствует:

— Давай скорее, хуйло, а то вонь запустишь.

Водитель автобуса считает, что мы уже не пара, поскольку много лет назад она вышла за теперь уже бывшего гангста-рэпера Панаша (теперь он не слишком известный коп из сериалов и снимается в рекламе пива), родила четверых детей, и у нее есть судебное предписание, запрещающее мне приближаться к ней и ее детям, потому что я таскался за ними до самого дома и орал: «Ваш папочка не отличит ассонанс от элегии! И еще зовет себя поэтом!»

Я сел на свое обычное место возле передней двери, развалился на сиденье, вытянув ноги в проход и закрывшись доской из стекловолокна, словно африканским щитом, способным отразить все ее колкости и оскорбления.

— Да пошел ты.

— Да пошла ты.

Оскорбленный и отвергнутый, я отправился в самый конец салона, положил доску на заднее сиденье и лег на нее, изображая из себя факира с разбитым сердцем, возлежащего на гвоздях, чтобы изгнать душевную боль физической. Автобус неуклюже сползал вниз по Розенкранц-авеню, безответная любовь всей моей жизни Марпесса Делисса Доусон с монотонностью буддистского монаха объявляла остановки, а сидевший за три ряда от меня сумасшедший мужик все повторял и повторял свою утреннюю мантру: «Я уебу этой черной суке. Я уебу этой черной суке. Я уебу этой черной суке. Я уебу этой черной суке».

Машин в округе Лос-Анджелес больше, чем в любом городе мира. Но о чем никто не говорит, так это что половина из них водружена на шлакоблоки в грязных дворах от Ланкастера до Лонг-Бич. Но именно эти не совсем мобильные автомобили (как и надпись «Hollywood», или башни Уоттс<sup>[105]</sup>, или огромное поместье Аарона Спеллинга на 1700 гектарах) позволяют нам сравнивать Лос-Анджелес с древними жемчужинами архитектуры вроде Парфенона, Ангкор-Вата, египетских пирамид или гробниц Тимбукту. Эти двухдверные или четырехдверные древние ржавые произведения искусства стоят непроницаемые ни для ветров, ни для

кислотных дождей времени, и мы не имеем ни малейшего представления, как и о Стоунхендже, об их назначении. Были ли это памятники нестигаемым лихачам на блестящих лоурайдерах, украшавших некогда обложки автожурналов? Может быть, расположение орнаментов на капоте и стабилизаторе соответствует расположению звезд в период зимнего солнцестояния. А может, это мавзолеи, место упокоения влюбленных парочек с задних сидений и водителей. Но ясно одно: каждый подобный металлический скелет означает, что на один автомобиль на дороге стало меньше, а пассажиров позорного автобуса — на один больше. Позорного, потому что Лос-Анджелес — это пространство, где самооценка напрямую связана с тем, как именно ты передвигаешься в этом пространстве. Ходить пешком — все равно что побираться на улице. Такси — только для иностранцев и проституток. Велосипеды, скейтборды, ролики — это для детей, сторонников ЗОЖ и тех, кому некуда идти. Зато любая машина, от класса люкс до подержанного драндулета, придает вам статус. Какой бы драной ни была обшивка, какими бы раздолбанными рессоры и облупленной краска, тачка — любая тачка — лучше, чем ездить на автобусе.

— Аламеда! — прокричала Марпесса. Крепко зажав под мышкой кошелек, в автобус суетливо забирается женщина, обвешанная пластиковыми пакетами. Она проходит по салону, придирчиво выбирая свободное место. Понаехавших в Лос-Анджелесе видно за версту. Они с улыбкой заходят в автобус и со всеми здороваются, пребывая в полной уверенности (хотя все указывает на обратное), что необходимость воспользоваться общественным транспортом — это лишь временная уступка обстоятельствам. Они усаживаются под рекламой безопасного секса, удивленно глядят вокруг, выглядывая из-за романов Брета Истона Эллиса, и не понимают, почему все мудаки вокруг них не такие белые и состоятельные, как мудаки в книжке. Они прыгают как выигравшие в лотерею, радостно обнаружив, что в бургерных «Иннаутах»<sup>[106]</sup> есть не только секретное, но и сверхсекретное меню: «Пирожки с горчицей на гриле? Пшел на хуй отсюда!» Они записываются на «открытый микрофон» на Фабрике смеха<sup>[107]</sup>. Бегают трусцой по тротуарам, пытаясь убедить себя, что снятая ими на прошлой неделе в районе Резеда сцена с двойным проникновением — это всего лишь промежуточная ступень к лучшей и светлой жизни. *La pornographie est la nouvelle nouvelle vague*<sup>[108]</sup>.

Многие родители хвалятся друг перед другом, какие первые в жизни слова сказал их ребенок. Мама. Папа. Я тебя люблю. Все. Хватит. Это

неприлично. С другой стороны, мой отец хвалился, какие первые в жизни слова услышал от него я. Он не сказал мне «Привет», не прочитал молитву. Нет, он поделился со мной мыслью, которую можно обнаружить в первой главе любого издания «Введения в социальную психологию»: «Все мы социологи». Подозреваю, что мое первое полевое исследование было проведено в автобусе.

Когда я был маленьким, наша муниципальная транспортная система называлась РБП, район быстрого перемещения. Ангеленосы из трущоб вроде Уотс, Ла-Пуэнте или Саус-Сентрал, и особенно те, что были слишком юны или бедны, чтобы водить машину, расшифровывали эту аббревиатуру как «раздражающе, бестолково, пипецово». Свою первую статью я написал в семь лет: «Тенденции рассаживания пассажиров по расовому и гендерному принципу. Дополнительные факторы: классовая принадлежность, столпотворение и запах тела». Выводы были совершенно очевидны. Вынужденные садиться с кем-то рядом, люди сначала нарушают личное пространство женщин, а уж черных мужчин — в последнюю очередь. Без крайней необходимости рядом с черным мужчиной не сядет никто, даже такой же черный мужчина. Если рядом со мной с неохотой садится черный, он обязательно задаст три главных вопроса, чтобы оценить степень моей опасности:

1. А ты где живешь?
2. А ты смотрел (далее вставить: название спортивной передачи или фильм на тему черных)?
3. Я не знаю, откуда ты, братан. Видишь, вот мой/моя нож/пушка/заразная сыпь на коже? Так что ты не напрягаешь меня, а я не напрягаю тебя, понял?

Тяжелые пакеты оттягивали пассажирке руки, и она едва их удерживала. Хотя она явно устала и все больше приходила в уныние с каждым скачком автобуса из-за изношенной подвески, женщина не садилась рядом со мной, предпочитая стоять. Все приезжают в ЛА, чтобы стать белыми. Но даже биологически белые не такие уж белые-белые. Вот волейбол на Лагуна-Бич белый. Район Бель Эйр белый. Омакасе понятие белое. Борец Спиколли белый. Бред Истон Эллис белый. Иметь три имени — быть белым. Парковка у отеля белая. Хвастаться своими предками индейцами, выходцами из Аргентины и Португалии — быть белым. Суп фо белый. Папарацци белые. Как-то раз меня уволили из телефонных продавцов: глядите на меня, я знаменитый белый. Белый как тыква-калебаса. Обожаю Лос-Анджелес. Тут можно целый день кататься на

лыжах, тусить на пляже или гулять по пустыне как белый.

Тетке легче было остаться при своем мнении, чем сесть рядом со мной, и я ее понимаю, потому что после остановки «Проспект Фигероа» в автобус набилось определенное количество персонажей, рядом с которыми и я бы не сел. Взять хотя бы того ебанутого, что жмет и жмет на кнопку «Остановка по требованию».

— Останови же, черт возьми! Мне нужно сойти! Куда, блядь, ты едешь?

Даже утром остановиться по требованию так же реально, как попросить экипаж «Аполлона», летящий на Луну, завернуть по дороге в винный магазин.

— Я сказал, останови этот долбаный автобус! Я на работу опаздываю. Тебе что, непонятно, ты, толстая ебучая корова!

У водителей, начальников тюрем и комендантов концлагерей особый стиль управления. Некоторые водители поют, стремясь поднять дух пассажиров такими джазовыми песенками, как «Tea for Two» или «My Funny Valentine». Кто-то предпочитает спрятаться на водительском месте (предоставляя заключенным самим искать убежище или выход) и не пристегиваться на случай бегства. Марпесса не была сторонницей строгой дисциплины, но и тряпкой тоже не была. В ее обычные смены случались драки, кражи сумочек, «зайцы», домогательства, пьяные, подвержение детей опасности, заигрывание; эпизоды с ниггерами, то и дело стоящими на проезжей части во время движения транспорта, и игрой с мячом в салоне, не говоря уже о происходящих время от времени покушениях на убийство. Представитель профсоюза рассказал ей, что водители автобуса в США становятся жертвами преступлений в среднем один раз в три дня, поэтому Марпесса давно решила, кем она точно не будет: цифрой в статистике и чьей-то «жирной коровой». Не знаю, как она решила вопрос на этот раз — ласковым словом или вытащив из-за сиденья металлическую дубинку-«негритизатор», потому что я уснул и проспал до Эль-Сегундо, где по опустевшему салону эхом разнеслось Марпессино: «Конечная».

Знаю: она надеялась, что я выйду через заднюю дверь, но, даже несмотря на дурацкий серый форменный френч и лишние десять килограммов веса, она была по-прежнему необыкновенно хороша. Невозможно не умиляться, когда из окна проезжающей по шоссе машины высовывается собачья морда. Вот и я не мог оторвать от Марпессы глаз.

— Рот закрой, а то муха влетит.

— Скучала по мне?

— По тебе? Да я со смерти Манделы ни по кому не скучаю.

— Мандела умер? Я думал, он собирался жить вечно.

— Слушай, иди уже.

— Смотри-ка, скучаешь.

— Вот по твоим чертовым сливам я точно скучаю. Ей-богу, даже просыпаюсь иногда среди ночи и вспоминаю твои чертовы сливы и сочные гранаты. Я же чуть не осталась с тобой, потому что все думала: где еще найдешь чертовы дыни со вкусом множественного оргазма?

Мы возобновили нашу детскую дружбу в автобусе. Мне тогда было семнадцать: у меня не было ни машины, ни мозгов. Ей — двадцать один, и она была так прекрасна, что даже ужасная темно-коричневая форма РБП сидела на ней как наряд от кутюр. Не считая бейджа. Никто, даже сам Джон Уэйн, не мог снять бейдж. Марпесса тогда работала на 434-м маршруте — через центр до Зума-Бич. После пирса Санта-Моника из автобуса выметались все, кроме отдельных укурков, бомжей и горничных, работающих в особняках в Малибу и на побережье океана. Я в то время серфил в Венис или Санта-Монике, 24-я или 20-я станция, без разницы. Волны никакие. И куча народу. Время от времени мне попадались и цветные серферы. Большинство тусовалось в Хермозе, Редондо и Ньюпорте, поближе к Диккенсу, но там были в основном стрейтэдджеры, повернутые на Христе, которые перед заходом в воду целовали крестики, а потом отдыхали, слушая консервативное радиошоу. Дальше по побережью, если опять же ехать маршрутом Марпессы, все было куда непринужденнее. The Westside. AC/DC, Slayer и KLOS — FM. Утреннее солнце и «The English Beat»<sup>[109]</sup> прочищали организмы худосочных крэканутых и опиуманутых серферов, подсушивали угри на коже, давая короткую передышку. Но где бы ты ни серфил, эти ублюдки засерали весь пляж.

На западе Розенкранц-авеню упирается в песчаный тупик. Это и есть та самая 42-я параллель, разделяющая береговую часть округа Лос-Анджелес на два разных полушария: расслабленное и напряженное. От Манхэттен-Бич до Кабрилло тебя зовут ниггером, полагая, что ты и сам свалишь. От Эль-Порто и, чуть севернее, до Санта-Моники, тебя зовут ниггером, полагая, что сейчас ты полезешь в драку. После Малибу просто вызывают полицию. Я начал заезжать на автобусе все дальше и дальше по побережью, чтобы только иметь больше времени на болтовню с Марпессой. Мы не виделись с тех пор, как она начала встречаться с парнями постарше и забыла нас с Хомини. Два часа проговорив о трущобной жизни Диккенса и о том, как поживает Хомини, я оказывался далеко от дома (Топанга, Лас-Тунас, Амарило, Блокер, Эскондидо и Зума), катался по волнам среди тюленей и дельфинов. Меня выносило на частные



пляжи, где местные миллиардеры, обливаясь потом, в изумлении смотрели на меня, словно я говорящий морж с кудрявой прической афро, — а я пересекал их песчаные задние дворы, стучал в стеклянные раздвижные двери и просил воспользоваться телефоном и туалетом. Непонятно почему, но несерфингующие белые люди доверяли босоному ниггеру с доской под мышкой. Может, они думали: руки у него заняты, вряд ли он схватит телевизор и убежит, да и куда ему бежать?

Всю весну я по уикендам ездил с ней серфить, после чего Марпесса доверяла мне настолько, чтобы пойти со мной на школьный выпускной. Поскольку выпускник был только один, это был очень личный вечер, только я и Марпесса, не считая отца, который присматривал за нами и был нашим личным шофером. Мы поехали танцевать в «Диллонс». «Диллонс» — это двадцатиодноэтажная башня в виде пагоды, где проводят дискотеки, сегрегированные, как и все остальное в ЛА. Первый этаж — для «ню-вэйв», второй — для соула из топ-40. Третий этаж — для упрощенного регги. На четвертом этаже — банда, сальса, маренга и немного бачаты, чтобы переманить посетителей «Florentine Gardens» с Голливудского бульвара. Отец отказался подниматься выше второго этажа. Нам с Марпессой удалось сбежать, поднявшись по вонючей боковой лестнице на третий этаж, где мы зажигали под Джимми Клиффа<sup>[110]</sup>, I-Threes<sup>[111]</sup>, а потом зависали за динамиками, пили коктейль «май-тай», стараясь как можно ближе подобраться к группе Кристи Макникол, так, чтобы до нас не доебывалась охрана, принимая нас за давних черных знакомых и поклонников звезды. Потом мы поехали в клуб «Coconut Teazers», чтобы посмотреть и послушать The Bangles, и Марпесса невнятно прошептала мне, что какой-то Принс спит с их солисткой.

Когда Марпесса поняла, что я ничего не слышал про Его Королевское Могущество, она чуть меня не убила. В результате наш первый поцелуй едва не отодвинулся на неопределенное время, но после раннего завтрака в ресторане «Большой шлем» мы ехали на заднем сиденье нашего пикапа по выделенной полосе 10-го шоссе со скоростью 128 километров в час. Подложив под головы вместо подушек пакеты с перекусом, мы боролись поочередно друг с другом своими языками и большими пальцами. Это была такая игра в больно-нежно. Мы целовались. Потом блевали. Потом снова целовались.

— Только не говори «французский поцелуй», — предупредила меня Марпесса. — Говори «долбиться в десны» или «сосаться». Иначе ты выглядишь неискушенным мальчиком.

Отец же, вместо того чтобы следить за дорогой, все время

оборачивался, подглядывая за нами через маленькое окошко, саркастически закатывая глаза, наблюдая за моей техникой ласкания груди, хмыкал, когда во время поцелуя от тряски дергалась моя голова, и делал общепонятный знак «Выеби ее уже», снимая руки с руля и изображая одной рукой вагину, а указательным пальцем другой тыкал в нее туда-сюда, туда-сюда. Учитывая, что единственным доказательством его сексуальных отношений с кем-то не из его класса был я, папаша, конечно, нес полную фигню.

Автобус, поездки в пикапе, путешествие верхом в Театр Болдуина. Большая часть наших отношений проходила в движении, просто удивительно.

Марпесса закинула ноги на руль и прикрыла лицо потрепанной книжкой «Процесс» Кафки. Точно не знаю, но хотелось бы думать, чтобы спрятать улыбку. У многих влюбленных есть песни, которые становятся своими. А у нас были свои книги, свои любимые писатели, художники, немые фильмы. По выходным мы валялись голые на сеновале: стряхивая со спин друг друга куриные перышки, мы вместе листали «L. A. Weekly». Когда в музее искусств округа Лос-Анджелес проходили выставки Герхарда Рихтера, Дэвида Хаммонса, Элизабет Мюррей или Баския, кто-то из нас тыкал пальцем в рекламу и говорил: «Гляди: будут показывать наше масло на холсте». Мы часами перебирали подержанные видеокассеты в магазине «Амоеба Records» на бульваре Сансет, потом кто-то нарывал «На западном фронте без перемен» и говорил: «Гляди-ка, они оцифровали нашего Ремарка», — а потом предавались петтингу в отделе гонконгского кино. Но Кафка всегда был нашим главным гением. Мы по очереди читали вслух «Америку» и «Притчи», иногда — на непонятном нам немецком, и сопровождали чтение переводом со свободными ассоциациями. Иногда добавляли к текстам музыку и заряжали брейк-данс под «Метаморфозы» или медляк под «Письма к Милене».

— А помнишь, ты сказала, что я похож на Кафку?

— То, что ты сжег свои паршивые стишки, вовсе не означает, что ты хоть чем-то похож на Кафку. Когда он бросал свои работы в огонь, его пытались остановить, а я сама поджигала тебе спички.

Туше́. Двери автобуса открылись, и салон заполнился запахами океана, нефти и птичьего помета. Я подзадержался на нижней ступеньке, притворяясь, словно не мог вытащить доску.

— Как там Хомини?

— Все в порядке. Не так давно пытался покончить с собой.

— Больной на всю голову.

— Да, ничего не поменялось. Знаешь, у него скоро день рождения. У

меня есть идея, но понадобится твоя помощь.

Марпесса откинулась назад, положив книгу на второтриместровый животик.

— Ты что, беременна?

— Бонбон, хватит уже.

Она злилась, а я стоял и улыбался. Не помню, когда в последний раз она называла меня Бонбон. Пусть не самое крутое прозвище, но максимально близко к уличному погонялу. В детстве я прослыл счастливчиком. Я никогда не болел болезнями, типичными для детей гетто. У меня не было синдрома тряски младенца. Меня обошли стороной рахит, стригущий лишай, серповидоклеточная анемия, тризм челюсти, диабет первого типа и «гебадид». Хулиганы могли побить моих друзей, но меня не трогали. Полицейские никогда не заносили мое имя в свои блокноты и не применяли ко мне удушающий захват. Меня не забывали в машине на неделю. Не принимали за пацана, который застрелил или изнасиловал, стучал, обрюхатил, совратил, домогался, не выплатил долг, проявил неуважение, пренебрег или каким-либо другим образом поднасрал людям. Кроличья Лапка, Звездный Мальчик, Четырехлистный Ублюдок — ни одно из этих прозвищ долго не продержалось. Но однажды, когда мне было одиннадцать, отец засунул меня на конкурс по правописанию, организованный ныне почившим изданием «Информационный бюллетень Диккенса», настолько «черным», что он выходил на черной бумаге с белым шрифтом, и тексты выглядели примерно так: «Беложопый Городской Совет Одобрил Увеличение Бюджета»... В финал вышли я и Накешья Реймонд. Ей досталось слово «омфалоскепсис»<sup>[112]</sup>, а мне — «бонбон»<sup>[113]</sup>. С тех пор, до того самого дня смерти отца, я только и слышал: *Бонбон, сделай за меня ставки. Бонбон, подууй на «кости». Бонбон, сдай за меня экзамены. Бонбон, поцелуй ребенка.* Да, а когда отца убили, люди начали меня сторониться.

— Бонбон... — Марпесса сжала руки, чтобы они перестали дрожать. — Прости, что я так с тобой обошлась. Эта блядская работа...

Иногда мне кажется, что интеллект не поддается измерению, а если даже и поддается, то по нему все равно что-то сложно предсказать, особенно для цветных. Возможно, идиотам никогда не выйти в нейрохирурги, но гений с одинаковой вероятностью может стать и кардиологом, и почтовым клерком. Или водителем автобуса. И этот водитель автобуса сделала в жизни неверный выбор. Никогда не переставая читать книги, после нашего короткого романа запала на грубого, тогда еще начинающего гангста-рэпера, который мог рано утром выволочь ее из дома

за еще не до конца уложенные волосы, чуть ли не в пижаме-кигуруми, и протащить ее в ювелирный магазин в Вэлли для осмотра помещения на предмет будущего ограбления. Диву даешься, почему они там не вызвали полицию, увидев, как молодая чернокожая подозреваемая ровно через десять минут после открытия входит в зал и, остановившись ровно посередине, смотрит на охранников, потом в камеры, и начинает вслух отсчитывать шаги между витринами с кольцами с бриллиантами и брошками.

Она прибегала ко мне с синяками под глазами, кралась к моему дому в тени, словно злодейка из фильма нуар, разыскиваемая за то, что переиграла как актриса и недооценила себя как женщина. Колледж был не для нее: она считала, что офис превращает черных женщин в высокооплачиваемых незаменимых работников на третьих или четвертых ролях, а никак не первых или вторых. Иногда ранняя беременность — это хорошо. Побуждает к вниманию и гордо выпрямляет твою спину. Марпесса стояла у задней двери и ела только что сорванный ею с дерева персик. Шедшая из носа и разбитой губы кровь смешивалась с нектаром, стекала по подбородку на блузку и на когда-то безупречно чистые кроссовки. Солнце било ей в спину, поджигая своим светом ломкие кончики её пышных непричёсанных волос. Марпесса отказалась проходить в дом, только сказала:

— У меня воды отошли.

У меня чуть сердце не отошло. Потом я как сумасшедший гнал машину, потом была эпидуральная анестезия, больница имени Мартина Лютера Кинга, заслуженно прозванная в народе «Киллер Кинг». Ребенок со вторым именем Бонбон, жадно сосущий молоко и зверски грызущий сосок, служит стимулом подать на права класса В; заставляет тебя вспомнить, что помимо Кафки, Гвендолин Брукс, Эйнштейна и Толстого ты любишь водить машину — не останавливаться, медленно и аккуратно управлять автобусом и своей жизнью по нужному маршруту, до конечной, когда можно будет и заслуженно отдохнуть.

— Так ты поможешь мне с Хомини?

— Пиздуй отсюда.

Она нажала кнопку зажигания, и автобус проснулся. Марпессе надо было ехать дальше, она закрыла передо мной двери, но медленно.

— Знаешь, а ведь это я нарисовал границу вокруг Диккенса.

— Чет слышала об этом. Зачем?

— Я хочу вернуть город. И тебя тоже.

— Ну, тогда успехов.

Трясаясь в кузове старенького пикапа, что везет тебя по Оушн-авеню в компании с патлатыми светловолосыми белыми парнями, загорелыми, как негры, — кожа на их лицах уже сто раз облезла, как и старые стикеры «Local Motion» на задней двери, — чувствуешь себя еще более крутым серфером даже по сравнению с тем, когда ложишься животом на доску, вглядываясь в горизонт в ожидании новой волны. В качестве ответной любезности за то, что подбросили, предлагаешь им косячок. Затягиваешься сам, стараясь не замять косяк, когда тебя мотает вверх-вниз. «Вау-чувак-чего-это-я-и-где-мои-тормоза?» Машина резко останавливается.

— Угарные бошки, чувак. Где ты это достал?

— Да есть у меня знакомые голландцы, держат кофешоп.

## Глава десятая

После того как зимним днем в сегрегированном штате Алабама Роза Паркс<sup>[114]</sup> отказалась уступать в автобусе место белому мужчине, она стала известна как «Мать современного движения за гражданские права». Несколько десятилетий спустя, в неопределенное время года, в якобы несегрегированном округе Лос-Анджелеса, штат Калифорния, Хомини Дженкинс горел желанием уступить в автобусе место хоть какому-нибудь белому. Этот дедушка пострасистского движения за гражданские права, известный как Смирностоящий, сидел с краю возле дверей, оглядывая каждого вновь входящего пассажира. К несчастью для Хомини, Диккенс был так же черен, как волосы азиата, и так же смугл, как Джеймс Браун<sup>[115]</sup>, и за все сорок пять минут поездки единственным человеком, которого можно было с натяжкой назвать белым, оказалась женщина с дредами, вошедшая на Пойнсеттия-авеню, державшая под мышкой скрученный коврик для йоги.

— С днем рождения, Хомини, — радостно сказала она, остановившись возле Смирностоящего и орошая его рубашку потом бикрам-йоги.

— А откуда все знают, что у меня день рождения?

— Спереди на автобусе светится «Маршрут 125. С днем рождения, Хомини! Типа йоуза, придурок!»

— Надо же.

— И что тебе подарили на день рождения?

Хомини указал на небольшие сине-белые наклейки под окнами в передней части автобуса.

УСТУПАЙТЕ МЕСТА ПОЖИЛЫМ, ИНВАЛИДАМ И  
БЕЛЫМ

Personas Mayores, Incapacitadas y Güeros Tienen  
Prioridad de Asiento

— Вот мой подарок.

Когда-то день рождения Хомини праздновали в Диккенсе коллективно. Конечно, не проводили парады и не вручали почетные ключи от города. Народ собирался возле его дома, скандируя «Йоуза», вооружившись сырыми яйцами, духовыми ружьями и пирожными безе. Все по очереди звонили ему в дверь и, когда Хомини открывал, кричали «С днем рождения,

Хомини!» и кидали в его блестящее черное лицо выпечку и яйца. Он восторженно утирался и шел умыться, переодеться и приготовиться к встрече новой порции поздравителей. Однако с исчезновением города прервалась и эта традиция. Один я стучал в его дверь и спрашивал, что он хочет на день рождения в этом году. И он всегда отвечал одинаково: «Ну, не знаю. Подари мне немножко расизма, и я буду в порядке». При этом заглядывал мне за спину, надеясь, что я прячу там гнилой помидор или мешок с мукой. *Приходит пацанва и кидает те в лицо помидоры?* Обычно я дарил ему какую-нибудь афроамериканскую цацку. Два фарфоровых негритенка, играющих на банджо под глицинией, сделанный из носка Обама или очки, которые неизменно сползают с афроамериканских и азиатских носов.

Но когда я узнал, что Хомини и Родни Глен Кинг<sup>[116]</sup> оба родились 2 апреля, мне стало ясно, что если такие города, как Сидона, штат Аризона, — это места энергетических вихрей, мистические святые земли, где путешественники духовно пробуждаются и омолаживаются, то Лос-Анджелес — пучина расизма. Люди, приезжающие сюда, становятся меланхоличными и испытывают глубокое чувство этнической никчемности. Такова и обочина шоссе Футхилл, где начала нисходящее движение по спирали жизнь Родни Кинга, и, в каком-то смысле, жизнь самой Америки с ее хваленой «справедливостью». Или расовая воронка на перекрестке Флоренс и Норманди, где несчастный дальнбойщик Реджинальд Донни словил в лицо шлакоблочный кирпич, стеклянную бутылку из-под пива и до фига столетий разочарований. Это квартал Чавес Рейвин, где мексиканцы жили поколениями: его полностью снесли, людей принудительно выселили, избили и оставили безо всякой компенсации, чтобы построить на этом месте бейсбольный стадион с огромной парковкой и «доджер-догами». 7-я стрит — это воронка 1942 года, там ждала длинная вереница автобусов, когда японо-американцы стали первым шагом к массовому заточению в тюрьмы. Да где еще Хомини и быть счастливым, как не в автобусе 125-го маршрута, который проезжал через Диккенс, жерло расовой воронки? Его место в третьем ряду от двери с правой стороны — вращающийся центр расизма.

Новые надписи были настолько похожи на привычные «Уступайте места пожилым пассажирам и инвалидам», что большинство пассажиров, даже «вчитавшись», не заметили разницы. Но тетка-йог с дредами возроптала, и Марпессе пришлось с ней разбираться — с первой, но не единственной. Как только черного кота выпустили из мешка, все переменилось: пассажиры судорожно вздохнули и застонали. Они тыкали

пальцами в наклейки и качали головами — не столько от неверия, что у городских властей хватило наглости вернуть сегрегацию в общественных местах, сколько оттого, почему власти так долго с этим тянули. Их гнев поутих, лишь когда всем раздали по куску торта *Oreo* от «Баскин Роббинс» и одноразовые стаканчики с J&B, а Марпесса философски заметила: «Это ж Лос-Анджелес, самый расистский город в мире, хуй что тут сделаешь».

— Хер знает что! — воскликнул один из пассажиров, не преминув попросить еще одну порцию торта и бренди. — Честно говоря, я *оскорблен*.

— А что это вообще такое — быть оскорбленным? — спросил я свою безответную любовь, разговаривая с ней через панорамное зеркало заднего вида.

Уговорить Марпессу превратить автобус номер 125 в место праздника не составило труда, ведь она, как и я, любила Хомини. Не помешало также обещанное ей первое издание «Комнаты Джованни» Болдуина.

— Это даже не эмоция. Как описать чувство оскорбленности? Ни один великий театральный режиссер не обращался к актеру со словами: «О'кей, в этой сцене нужны подлинные эмоции. Покажи мне, как ты оскорблен!»

Рукой в обрезанной перчатке Марпесса так двинула рычаг переключения скоростей, что меня вдавило на сиденье.

— Слова неоперившегося юнца-деревенщины, который ни разу не чувствовал себя оскорбленным, потому что витает в облаках.

— Да нет, просто если меня оскорбят, я не знаю, что делать. Когда мне грустно, я плачу, когда я счастлив, я смеюсь. А если я оскорблен, я что, должен тихо-спокойно заявить, что оскорблен, а потом уйти и настрочить письмо мэру?

— Ты ебанутый на всю голову, твои ебанутые надписи отбросили чернокожих на пятьсот лет назад.

— Ладно, тогда почему никто и никогда не говорит: «Ух ты, ты отбросил нас на пятьсот лет вперед»? Почему никто так не говорит?

— Знаешь кто ты? Ебанный расовый извращенец. Рыщешь по задним дворам и нюхаешь чужое грязное белье и дрочишь, долбанный белый трансвестит. Блин, сейчас двадцать первый век, люди умирали, чтобы такие, как я, могли получить эту работу. А я еще позволила этого психа ненормального уговорить себя вести автобус, где царит сегрегация.

— Минуточку. Сейчас двадцать шестой век, потому что сегодня я отправил людей на пятьсот лет вперед, туда, где еще никто не был. К тому же посмотри, как счастлив Хомини.

Марпесса скосилась в зеркало на именинника.

— Он не кажется счастливым. По-моему, он в ступоре.



Она была права. Хомини казался не то чтобы счастливым, но и лихачи мотоциклисты, готовые съехать с рампы высотой в пятнадцать метров, уже разогнавшие двигатель, вглядываясь в раскинувшуюся внизу пустыню, за которой — обрыв, бездна, известная как Каньон Ги́ла-Монстра, счастливыми не кажутся. Тем не менее Хомини стоял возле своего места, вцепившись в спинку переднего сиденья, и высматривал белого человека, нервно оглядываясь, как газель-самоубийца озирает Серенгети в ожидании дикой кошки, которой она готова принести себя в жертву. Нужно понимать, что такой смертоносный подвиг уже сам по себе награда. И, конечно, когда на бульваре Авалон в автобус вошла белая львица редкой породы и, аккуратно отсчитав, бросила монетки в турникет, Хомини, эта пугливая ниггер-газель, смотрел совершенно в другую сторону и не замечал знаков, подаваемых остальным стадом, что хищник прибыл. Повисла тишина. Пассажиры шевелили бровями, морщили носы. Когда наконец Хомини ее учуял, было почти поздно. Женщина нависла над дичью, преследуя ее из-за спины пассажира слоновьих размеров, с ног до головы упакованного в баскетбольную одежду и читающего спортивный журнал. В конце концов древняя система раннего оповещения в голове Хомини сработала, радостно заверещала: «Берегись! Белая стерва!» — и тот сразу же вытянулся по стойке смирно «Да, мэм». Его никто ни о чем не просил и ничего не приказывал — Хомини просто уступил ей место с таким негритянским раболепием, что это выглядело не просто актом учтивости, а полным отказом от своих прав. Потому что это жесткое пластиковое сиденье темно-оранжевого цвета принадлежало ей по праву рождения, а его поступок был данью, долгожданным подношением богам белого превосходства. Если бы он сообразил преклонить колени, он бы так и сделал.

Если улыбка — это перевернутая гримаса неудовольствия, то ликование, с которым Хомини отправился в конец салона, представляло собой надутый вид наизнанку. Думаю, отчасти потому, что никто не выразил протеста против его действий. Мы узнали это выражение лица, маску, которую сами имели в своем наборе. Эту маску счастья мы всегда храним в заднем кармане, и, словно грабители банков, выхватываем ее, когда нам нужно украсть для себя немного покоя или эмоционально отстраниться. Но потребовалось все мое самообладание, чтобы не упрашивать эту женщину оказать мне честь и занять мое место. Порой мне кажется, что эта безучастная деревянная улыбка индейцев в их сигарных лавках — результат естественного отбора. Что это «выживание неразумных», а мы — черные мотыльки на классическом фото эволюции, цепляемся за темное, покрытое сажей дерево, невидимое для наших

врагов-хищников и все же в какой-то степени уязвимое. Дело черного мотылька — занимать белого мотылька, удерживая его на дереве посредственной поэзией, джазом и банальными шутками о разнице между белыми и черными мотыльками. «Почему белые мотыльки всегда летят на свет, бьются крыльями об оконные стекла и все такое? Черные мотыльки никогда так не поступают. Глупые порхающие ублюдки». Что угодно, чтобы белые бабочки держались рядом с нами и уменьшили наши шансы оказаться в клюве хищной птицы, в армии наемников или в «Cirque du Soleil». Меня всегда занимало, что на подобных картинках белые бабочки оказываются выше на стволе дерева. Что учебники под этим подразумевают? Что, будучи более уязвимыми, белые мотыльки находятся выше черных на эволюционной и социальной лестнице? Мне кажется, у черного мотылька точно такое же выражение лица, как сейчас у Хомини: подобострастие заложено и в черных чешуекрылых, и в черных людях. Этот рефлекс срабатывает сам по себе, когда в магазине кто-то подходит к тебе с вопросом: «Вы тут работаете?» Мы сохраняем такое выражение лица каждую минуту, пока находимся на работе и нам не надо отлучиться в туалет, мы сияем от удовольствия, если мимо пройдет белый и похлопает тебя по плечу: «Отличная работа, продолжай в том же духе». Лицо, с которым притворяешься, что получивший похвалу действительно лучше тебя, хотя в глубине души вы оба знаете, что это ты лучше него, а лучше всех — женщина со второго этажа.

Поэтому, когда Хомини, представлявший собой воплощение подобострастия, сгорбившись, поднялся и сделал такое лицо, все в автобусе почувствовали, как будто и рядом с ними стоит белый, который сейчас закатит рукав, чтобы сравнить свой загар, полученный в отпуске на Карибах, с твоим. Почувствовали то же самое, когда у азиата спрашивают: «И все-таки, откуда вы приехали?», когда у латиноамериканцев требуют подтверждения их гражданства или когда у пышногрудой женщины интересуются: «Неужели настоящие?»

Марпесса заподозрила неладное, когда белая незнакомка уже три часа каталась по кругу от Эль-Сегундо плаза до Норуок, но когда до нее дошло окончательно, было уже поздно. Автобус почти опустел, смена заканчивалась.

— Так ты ее знаешь?

— Нет.

— Я тебе не верю. — Марпесса надула пузырь из жвачки, пока он не лопнул, взяла микрофон и насмешливо сказала: — Мисс? То есть девушка с пшеничными волосами, которой непонятно почему было хорошо в

автобусе, набитом ниггерами и мексиканцами (говоря «мексиканцы», я имею в виду выходцев из Центральной, Южной, Восточной, какой угодно Америки, хоть из самой Мексики), пройдите, пожалуйста, в переднюю часть салона. Спасибо.

Над гаванью Эль Порто садилось солнце, белая женщина шла по проходу, окутанная оранжевыми и пурпурными бликами, лившимися в автобус через ветровое стекло: это было похоже на финал конкурса красоты, когда прожектора высвечивают победительницу. Я и не замечал, что она такая привлекательная. Даже слишком. Нетрудно догадаться, что Хомини уступил ей место не как белой, а просто потому, что она чертовски хороша. Это соображение чуть не привело меня к переоценке истории движения за гражданские права. Может, дело вовсе не в расовой принадлежности и Роза Паркс отказалась уступить место белому мужчине просто потому, что он был бесцеремонный болтун или доставал ее расспросами, что за книжку она читает, чтобы потом рассказать, что читает он сам, что хотел бы прочитать, что прочитал зря и про какую книгу он врет людям, будто он ее прочитал. И подобно тому, как белая старшеклассница, которую после уроков трахнул в мастерской brutalный черный красавец, потом из страха перед отцом врет, что ее изнасиловали, может, и Роза Паркс после своего ареста, после всех этих религиозных собраний и шумихи в прессе заголосила о расизме. Что, сказала бы: «Я не уступила мужчине место, потому что он спросил, что за книгу я читаю?» Да негры ее бы линчевали.

Марпесса посмотрела на меня, потом на одинокую белую пассажирку, потом снова на меня, а потом остановила автобус посреди оживленного перекрестка и открыла двери со всей любезностью муниципального служащего, которую могла из себя выжать:

— Все, кого я лично не знаю, съеблись отсюда.

«Всеми» оказались ленивый скейтбордист и пара детишек: весь последний час они обжимались в конце салона, словно две скрученные резинки для бумаг. В мгновение ока все трое оказались посреди Розенкранц-авеню с трепыхавшимися на ветру бесполезными бесплатными билетами на пересадку. Мисс Всадница Свободы собралась было присоединиться к ним, но Марпесса остановила ее, прямо как губернатор Уоллес, пытавшийся в 1963 году заблокировать проход в университет Алабама чернокожим студентам:

*От имени величайшего народа, когда-либо населявшего эту землю, я провожу линию на песке, бросаю перчатку к ногам тирании и говорю: сегрегация сегодня, сегрегация завтра, сегрегация вовеки!..*

— Как тебя зовут? — спросила Марпесса, выруливая автобус на север, в сторону Лас-Месас.

— Лора Джейн.

— Что ж, Лора Джейн, мне неизвестно, откуда ты знаешь этого пропахшего удобрениями дурня, но по крайней мере надеюсь, что тебе понравилась наша вечеринка.

В отличие от дорогих и размеренных однодневных экскурсий на остров Каталина, наш импровизированный праздничный круиз по Тихоокеанскому шоссе на четырех колесах ничего не стоил — правда, нас нехило болтало. На нашем скоростном-почти-океанском имелись все развлечения: бар, метание алюминиевой банки, шафлборд вениками, казино с мелкими ставками, домино, игра с монеткой «Делай как я», дискотека. Капитан Марпесса стояла за штурвалом, выпивала вместе с нами и ругалась как злобный пират. Я заменял собой помощника капитана, стюарда, юнгу, бармена и диджея. Возле забегаловки «Чертик в табакерке» напротив причала Малибу, откуда раздавалась «Fine Minutes of Funk» Вудини<sup>[117]</sup>, мы прихватили еще нескольких пассажиров, а когда мы заказали пятьдесят лепешек-так и море соуса, вся ночная смена «Чертика» побросала работу и прямо в фартуках, бумажных шапочках и всем таком поднялась на борт. Если бы у меня были ручка и бумага, а в автобусе был туалет, я бы повесил там еще один знак: «Перед тем как вернуться к обычной жизни, все сотрудники обязаны вымыть руки и души».

Если после заката солнца ехать мимо Университета Пеппердайна, там, где шоссе на холме сужается до двухполосного трамплина для скейта, мало что видно. Только случайные лучи от фар встречных машин да, если повезет, одинокий костер где-нибудь на берегу. В пелене лунного света Тихий океан блестит как обсидиановый. Именно на этом участке петляющей дороги я впервые чмокнул Марпессу в щеку. Она не отстранилась, и это стало для меня хорошим знаком.

Несмотря на всю круизную движуху, Хомини почти все время стоял посреди танцпола и упорно держался за верхний поручень, как олицетворение истории американской дискриминации. Но когда мы проезжали Пуэрко-Бич, Лоре Джейн удалось отвлечь Хомини от таких старомодных заморочек: она ритмично терлась бедром о его задницу и теребила его уши (что называется, «возбуждала»). Она выделялась перед Хомини, вскинув руки вверх, в ритм музыке. Когда песня закончилась, она пробралась вперед, и я видел, что пушок над ее верхней губой покрылся потом. В этот миг она была чертовски хороша.

— Адская вечеринка.

Ожила рация, диспетчер озабоченно сказал «местонахождение». Марпесса сделала музыку тише, ответила что-то, а потом, послав микрофону воздушный поцелуй, отключилась. Если Нью-Йорк — это город, который не спит, то Лос-Анджелес — город, вечно вырубающийся на диване. Сразу после парка Лео Каррильо полотно Тихоокеанского шоссе разглаживается, и когда луна заходит за горы Санта-Моники, окрашивая небо в иссиня-черный, если прислушаться, можно уловить один за другим два приглушенных щелчка. Первый — в четырех миллионах гостиных в унисон выключают телевизоры, второй — когда телевизоры включают в спальнях. Киношники и фотографы часто говорят об уникальном лос-анджелесском солнце, о том, как по небу разливается свет — медово-золотой, как у Вермеера или Моне. Но лунный свет в Лос-Анджелесе или его отсутствие — тоже нечто особенное. Когда наступает ночь, я имею в виду настоящую ночь, температура падает на двадцать градусов, и полная амниотическая темнота одеялом окутывает тебя и утешает, словно любовник, который стелит постель, в которой ты уже лежишь. И в это короткое мгновение между первым и вторым щелчками наступает полное затишье, перед тем как откроются ночные стриптиз-клубы в Инглвуде, зазвучит какофония новогодней стрельбы и Санта-Моника, Голливудский бульвар, бульвары Уиттиер и Креншо постепенно начнут возвращаться к жизни, и это единственное мгновение, когда у ангеленос есть немного времени, чтобы остановиться и подумать. Поблагодарить ночные забегайки в Кореятауне, на Марьячи-плаза. Бургеры с чили и сэндвичи с па́страми. Поблагодарить Марпессу, которая, вглядываясь через лобовое стекло, щурится на звезды и ведет машину по навигации вместо того, чтобы придерживаться дороги. По асфальту шуршали шины, автобус несся сквозь стратосферу, и когда Марпесса услышала второй щелчок, она врубила музыку — и вскоре Хомини и кордебалет из остатков «чертиков из табакерки» вновь выделявали в проходе пируэты, громко подпевая Тому Петти<sup>[118]</sup>.

— Где он тебя откопал? — спросила Марпесса Лору Джейн, не отрывая взгляда от Млечного Пути.

— Он меня нанял.

— Ты проститутка?

— Почти, блин. Я актриса. Берусь за многое, чтобы заработать.

— Такой фигней, как сегодня, много не наработаешь. — Марпесса покосилась на Лору Джейн, прикусив нижнюю губу, и снова воззрилась в ночное небо. — Я тебя видела в каком-нибудь фильме?

— В основном я снимаюсь в телерекламе, но это жесть. Каждый раз, когда я прихожу на пробы, продюсеры смотрят на меня... ну, как ты сейчас... и говорят: «Не вполне пригородная», что у них значит «слишком еврейка».

Почувствовав, что за время лос-анджелесской тишины Марпесса не вполне очистила чакры, Лора Джейн прижала, щека к щеке, свое хорошенькое личико к ее ревнивой морде, и обе стали изучать свое отражение в зеркале заднего вида. Они напоминали не похожих друг на друга сиамских близнецов, соединенных головами. Одна средних лет, чернокожая, вторая молодая и белая — с одним на двоих мозгом, но разными процессами мышления.

— Я хотела бы родиться черной, — сказала белая, с улыбкой погладив пылающие щеки своей смуглой сестры. — Черным достается вся работа.

Наверное, Марпесса поставила автобус на автопилот, потому что она убрала руки с руля и переместила их на шею Лоры Джейн. Нет, не чтобы придушить, — она просто поправила девушке воротник на платье, давая понять, что готова наброситься на своего злобного близнеца, как только мозг выдаст такую команду.

— Послушай, я очень сомневаюсь, что «вся работа достается черным». Но если и так, то на Мэдисон-авеню отлично известно: из каждого заработанного доллара ниггеры тратят доллар двадцать на шлак, который рекламируют по телику. Возьмем стандартную рекламу машины класса люкс...

Лора Джейн кивнула, как будто и вправду слушала, и, обняв Марпессу, ловко схватилась за руль. На секунду мы съехали на двойную желтую, но она проворно его выровняла и вернула на полосу движения.

— Так говоришь, машины класса люкс?

— Да. Скрытый посыл такой рекламы такой: «Мы, „Мерседес Бенц“, „BMW“, „Лексус“, „Кадиллак“ или что там еще — прагматики равных возможностей. Взгляните на этого красивого афроамериканского манекенщика за рулем. Мы очень хотим, о наш любезный чрезвычайно желанный белый потребитель от тридцати до сорока лет, развалившийся в кресле, чтобы ты потратил свои денежки и влился в наш счастливый и беззаботный мир, свободный от предрассудков. Мир, где черные гордо сидят за рулем, а не вжаты в сиденье так глубоко, что наружу торчат только их блестящие круглые головы».

— И что тут не так?

— А то, что подсознательный месседж тут такой: «Смотри, ты, ленивый жирный потребитель рекламы, ты не белый, а одно название. Тебя

побаловали полуминутной фантазией о ниггер-денди, выезжающем из своего замка в стиле Тюдоров на аэродинамически спроектированном шедевре немецкой инженерной мысли. Так чтобы ты, братишка, подсобрался, чтобы эти обезьяны, которые покупают машины с речным управлением и с панорамной крышей по предлагаемой цене производителя, не унизили тебя и не украли кусок твоей американской мечты!»

При упоминании американской мечты Лора Джейн напряглась и вернулась к Марпессе.

— Я оскорблена, — заявила она.

— Потому что я сказала «ниггер»?

— Нет, потому что ты красивая женщина, просто черная, и ты слишком умная и должна понимать, что проблема не в расе, а в классе.

Смачно поцеловав Марпессу в лоб, Лора развернулась на своих лабутенах и вернулась к работе. Я перехватил руку своей возлюбленной на полпути и таким образом спас Лору Джейн от невиданного подзатыльника.

— Знаешь, почему все белые не бывают просто белыми? Потому что считают себя богоизбранными, вот почему!

Я стер пальцем с разгневанного чела Марпессы отпечаток помады.

— Пусть расскажет всю эту муру про угнетение сраным индейцам или птицам-додо. Она еще говорит, что я «должна понимать». Она еврейка — она и должна понимать.

— Она не говорила, что она еврейка. Она говорила, что другие думают, что она еврейка.

— Слушай, ты, ебучая продажная тварь! Теперь я понимаю, почему я тебя бросила. Ты никогда не заступаешься за себя. Наверное, ты вообще на ее стороне.

Годар подходил к созданию фильмов как к критике, Марпесса так же подходила к вождению автобуса; в этом случае, подумал я, слова Лоры Джейн имели смысл. Какой бы внешностью ни обладали евреи, начиная от Барбры Стрейзанд и заканчивая номинальной еврейкой Вупи Голдберг, вы не увидите в рекламе людей, похожих на евреев, как не увидите черных, выглядящих как «городские» и, следовательно, «страшные», или красивых азиатских мужчин, или смуглокожих латиноамериканцев. Уверен, что эти группы тратят несоразмерную долю своих доходов на херову тучу не нужных им вещей. Да, конечно, в идиллическом мире телерекламы гомосексуалы — это мифические существа, но роликов с единорогами и лепреконами больше, чем роликов с геями — мужчинами и женщинами. И, возможно, на телевидении слишком широко представлена реклама с безобидными афроамериканскими актерами. Их магистерские дипломы

Йельской школы драмы и шекспировские тренинги пропали втуне; они стоят вокруг гриля для барбекю и декламируют строки вроде: «Так внемли ж сим словам, братуха, не можешь ты не знать, ей-ей: „Бадвайзер“ — это пиво королей! Блажен всяк смертный, пиво пьющий! Да осенит „Бадвайзер“ сон грядущий!» Но если вы и вправду задумаетесь над этим, то обнаружите, что единственное, чего вы никогда не увидите в рекламе, — это не евреи, не гомосексуалы и не городские негры, а пробки на дорогах.

Автобус замедлил ход, и Марпесса свернула налево, вырвав с шоссе на какую-то извилистую подъездную дорогу. Мы миновали обнажившийся пласт известняка, несколько деревянных лестниц, ведущих на берег, и заброшенную автостоянку. Там Марпесса переключила скорость, убрала ногу с педали сцепления, покатила прямо по песку и запарковалась параллельно горизонту. Поскольку наступил прилив, мы оказались сантиметров на тридцать в морской воде.

— Не волнуйтесь, эти штуки вроде вездеходов и вообще почти амфибии. Автобус должен преодолевать и сошедшие сели и дерьмовую систему канализации Лос-Анджелеса. Если бы высадка в Нормандии велась с наших городских автобусов, Вторая мировая война закончилась бы на два года раньше.

С шипением открылись обе двери, и по нижним ступенькам любовно заплескал Тихий океан, превратив автобус в домик на сваях с острова Бора-Бора, в пятидесяти метрах от берега. Я уже почти представил себе аквабайк «Чертика из табакерки» со свежей партией полотенец, ароматных бургеров и ванильных коктейлей.

Эл Грин пел о любви и счастье. Лора Джейн разделась догола. Под тусклым светом потолочных лампочек ее тонкая бледная гладкая кожа мерцала, словно жемчужная раковина. Она величественно проплыла мимо нас.

— Однажды играла русалку в рекламе тунца. Должна признаться, на съемках не было ни одного черного дарования. Интересно, почему нет афроамериканских русалок?

— Черные женщины не любят мочить прическу.

— А-а.

С этими словами она грациозно, словно стриптизерша, крутанувшись вокруг металлического поручня в дверях, прыгнула в воду. За ней последовали «черти из табакерки», тоже голые, но по-прежнему в бумажных колпаках.

Хомини робко прошел вперед и уставился на воду долгим взглядом.

— Хозяин, мы все еще в Диккенсе?



— Нет, Хомини.

— А где же тогда Диккенс? Там, где кончается вода?

— Диккенс существует только в нашей голове. У настоящих городов есть границы, указатели и города-побратимы.

— И у нас так скоро будет?

— Надеюсь.

— Масса, а когда мы заберем мои фильмы у Фоя Чешира?

— Сразу же, как вернем Диккенс. Узнаю, у него ли они. Обещаю.

Хомини, полностью одетый, замер на ступеньках и потрогал воду мыском башмака.

— Ты плавать-то умеешь?

— Ага. Ты что, забыл про эпизод «Подводная рыбалка»?

Я и забыл об этой жуткой серии «Пострелят». Ребята сбегают с уроков и оказываются на рыболовецком судне, посланном для отлова акулы, которая терроризирует отдыхающих. Щенок Пит сожрал всю приманку, и тогда маленького Хомини обмазали рыбьим жиром, прокололи палец и подвесили к удочке за пряжку ремня. А потом опустили в воду. Под водой, чтобы не задохнуться, Хомини высасывает воздух из раздутых, как шарики, иглобрюхов. Два раза его жалит в пах электрический угорь. Фильм заканчивается тем, что приплывает огромный осьминог и в знак признательности «пострелятам», спасшим море от опасности, выпускает на всех фонтан чернил (да, еще выясняется, что резкий голос поющего Альфальфы обладает акулоотталкивающим свойством). Когда разноцветная ватага возвращается к встревоженным родителям, мать Хомини и Гречихи, растрепанная, в тюрбане, восклицает: «Гречиха, я ж говорила вашему папаше, что не буду заниматься его нагулянными детьми!»

Марпесса задремала у меня на коленях, а я уставился на океан, прислушиваясь к шуму прибоя и смеху. Впрочем, в основном меня заворожила нагая Лора Джейн, мерцавшая в океане, словно розовый коралл. Соски Лоры Джейн указывали на звезды, а лобковые волосы волновались в прозрачной воде, словно рыжий клубок шелковистых водорослей. Резкий разворот, манящее мгновение — и вот она уже под водой.

Тут Марпесса что есть силы вдарила мне локтем под ребра. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы, в попытке облегчить боль, не уестествовать ее прямо на месте.

— Посмотри на себя, ты ничем не отличаешься от остальных ниггеров-ангеленосов, что любят поглазеть на белых сучек.

— Белые девушки меня не интересуют, и тебе это известно.

— Вот пиздеж, да меня разбудил твой стояк.

— Аверсивная терапия.

— Это что такое?

Я не стал рассказывать ей, как отец фиксировал мою голову в тахитоскопе и три часа подряд передо мной мелькали запретные плоды его юности: пинапы, вклады из «Плейбоя», Бетти Пейдж, Бетти Грейбл, Барбра Стрейзанд, Твигги, Джейн Мэнсфилд, Мэрилин Монро, Софи Лорен... После этого он вливал мне в глотку смузи из ипекакуаны и гибискуса. Пока меня выворачивало, он врубал на стерео Сент-Мари Баффи и Линду Ронстадт. Визуальный стимул срабатывал, но слуховой стимул его отвергал. И по сей день, впадая в грусть и тревогу, я включаю Рики Ли Джонс, Джони Митчелл и Кэрол Кинг: их слушали по всей Калифорнии еще до появления Бигги, Тупака и всяких кубиков<sup>[119]</sup>. Но если внимательно всмотреться под правильным углом, то видно, что в моих зрачках, словно на уцененной плазменной панели, впечатано остаточное изображение Барби Бентон.

— Да так. Просто белые девушки меня не интересуют вообще.

Марпесса села и положила голову мне на грудь.

— Бонбон? — Она пахла собой: детской присыпкой и дорогим шампунем, больше ей ничего не надо. — А когда ты в меня влюбился?

— «Цвет подгоревшего тоста»<sup>[120]</sup>, — сказал я, вспоминая мемуары парня из Детройта, ставшие бестселлером.

Там шла речь о «полоумной» матери-одиночке, которая не хотела травмировать своих «двурасовых» детей словом «черный», растила их как «коричневых», называла «бежелоидами», отмечала «месяц коричневой истории», и герой до десяти лет верил, что так смугл оттого, что его отсутствующий отец — обожженное ударом молнии дерево магнолии у них во дворе.

— Отец тогда смог тебя уговорить, и ты стала членом клуба «Дам-дам». Эта книга, «Цвет подгоревшего тоста», всем понравилась, но во время обсуждения ты напала на чувака. «Меня достало, что авторы описывают черных женщин по оттенку кожи! То она у них медовая, то шоколадная! Моя бабушка по отцу — цвета кофе мокко, кофе с молоком или цвета сраного крекера! Почему они не описывают оттенки кожи белых персонажей с помощью пищевых продуктов и горячих напитков? Цвета йогурта, яичной скорлупы, цвета сыра-косички, обезжиренного молока. В этих расистских книгах нет ни одного такого героя! Вот почему черная литература — отстой!»

— Я что, правда сказала «Черная литература — отстой»?

— Ага. Я просто обалдел от тебя.

— Да, но у белых тоже есть оттенки кожи.

Вдруг набежала сильная волна, автобус закачался. В свете включенных фар можно было увидеть, как далеко слева формируется еще один высокий гребень. Я стащил с ног кроссовки, носки, быстро скинул рубашку и поплыл навстречу волне. Марпесса стояла в проходе в прибывающей воде. Она сложила ладони домиком, стараясь перекрыть взволнованное море и усиливающийся ветер:

— А ты не хочешь знать, когда я тебя полюбила?

Как будто она когда-то меня любила.

— Я влюблялась в тебя все сильнее с каждым разом, когда ты водил меня поесть! Я еще тогда подумала: «Ну слава богу, я встретила черного парня, который не настаивает на том, чтобы сесть лицом к двери. Наконец-то, первый ниггер, который не строит из себя крутого: крутому надо быть всегда начеку, чтобы на него не напали сзади, потому что он такой охуенно крутой! Ну как можно было в тебя не влюбиться?»

Главное в бодисерфинге — это правильно рассчитать момент. Почувствовать, когда прилив качнет тебя вниз так, что перехватит дыхание. Потом двумя рывками проплыть вперед перед гребнем волны, поднять голову над водой как можно выше, одну руку вытянуть вдоль тела, а вторую — вперед, чуть согнув в локте, ладонью вниз. И волна сама потянет тебя к берегу.

## Огни большого города: интерлюдия

Никогда не понимал концепции породненных городов, но было в этом нечто забавное. То, как города-побратимы, как их иногда называют, выбирают, а затем привлекают друг друга, выглядит скорее кровосмешением, чем породнением. Некоторые союзы, такие как Тель-Авив и Берлин, Париж и Алжир, Гонолулу и Хиросима, заключаются в знак прекращения войны и начала эпохи мира и процветания. Одни браки бывают по расчету, когда города со временем научаются любить друг друга. Другие — браки поневоле, потому что один город (например, Атланта) пару веков назад насильно на первом свидании обрюхатил другой (например, Лагос). Иные города вступают в брак ради престижа и денег, а есть еще такие, что просто хотят позлить родные страны: «Догадайся, кто придет сегодня на ужин? Кабул!» Время от времени города встречаются из взаимоуважения и любви к походам, грозам или классическому рок-н-роллу. Представьте себе Амстердам и Стамбул, Буэнос-Айрес и Сеул. Но в наши дни средние города слишком заняты попытками сбалансировать бюджет и не допустить разрушения инфраструктуры: у них обычно нет времени найти родственную душу, и они обращаются в «Систер Сити Глобал», международное агентство знакомств, которое находит романтических партнеров для одиноких муниципалитетов.

После дня рождения Хомини прошло два дня. Я, как и весь Диккенс, еще мучился похмельем, но очень обрадовался, когда по поводу моей заявки позвонила мисс Сьюзан Сильвермен, консультант по подбору городов.

— Добрый день. Мы рассмотрели ваше заявление на вступление в Международное общество городов-побратимов, только не можем найти ваш Диккенс на карте. Это где-то возле Лос-Анджелеса, да?

— Раньше у нас был официальный статус, а теперь мы что-то вроде оккупированной территории — как Гуам, Американское Самоа или Море Спокойствия на Луне.

— Вы где-то возле океана?

— Да, океана скорби.

— В конце концов это неважно, «Систер Сити Глобал» работает и с непризнанными городами. Например, Гарлем породнился с Флоренцией, потому что и там, и там был ренессанс<sup>[121]</sup>. Как у Диккенса с ренессансом?

— У нас не было ни единого дня просвещения.

— Это очень плохо, но тут важно, что вы — прибрежное поселение. Я прогнала ваши демографические данные через «Урбану», нашу компьютерную программу по подбору городских пар, она выдала трех возможных претендентов.

Я схватил атлас, пытаюсь отгадать, кто же эти счастливики. На Рим, Найроби, Каир или Киото я, конечно, не рассчитывал. Но города второго порядка вроде Неаполя, Лейпцига или Канберры вполне могли ими оказаться.

— Итак, вот ваши города-побратимы в порядке совместимости... Хуарес, Чернобыль и Киншаса.

Я правда не понял, как в этот список попал Чернобыль, особенно потому, что это уже не город, но Хуарес и Киншаса — по крайней мере крупные города мирового уровня, хоть и с подмоченной репутацией. Но выбирать не приходится.

— Согласны на всех трех кандидатов! — прокричал я в трубку.

— Прекрасно, прекрасно, но увы, что все они отвергли Диккенс.

— Почему? На каком основании?

— Хуарес (*или Город, в Котором Вечно Льется Кровь*) считает, что в Диккенсе слишком много агрессии. Чернобыль склонялся к породнению, но в конце концов счел препятствием близость Диккенса к реке Лос-Анджелес и очистным сооружениям. Кроме того, выразил недоумение, почему граждане смотрят сквозь пальцы на такое вопиющее загрязнение окружающей среды. Что касается Киншасы из Демократической Республики Конго...

— Только не говорите мне, что Киншаса, самый нищий город в самой нищей стране со среднедушевым доходом в один колокольчик для козла, две пиратские кассеты с песнями Майкла Джексона и три глотка питьевой воды в год, считает, что мы для них слишком бедные.

— Нет, они считают, что вы для них слишком черные. Они сказали: «Эти отсталые американские ниггеры до нас еще не доросли».

Мне не хватило духу признаться Хомини, что попытка найти для Диккенса город-побратим провалилась, поэтому я стал морочить ему голову.

— Некоторый интерес проявляет Гданьск. Кроме того, к нам присматриваются Минск, Киркук, Ньюарк и Найак.

Потом у меня кончились города, заканчивающиеся на «к» и все остальные буквы. В знак разочарования Хомини взял пластиковый ящик для молочных бутылок, поставил на подъездную дорожку и выставил сам себя на аукцион. Он снял рубаху, обнажив дряблый торс, и молча встал

возле вбитой в землю таблички: «ПРОДАЕТСЯ Б/У НЕГР, КОТОРОГО ИЗБИВАЮТ ТОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ ПО ЧЕТВЕРГАМ. ХОРОШИЙ СОБЕСЕДНИК».

Он стоял так целую неделю. Можно было сигналить сколько угодно — он отказывался покидать свой пост, и когда мне нужно было куда-нибудь ехать, я кричал: «Берегись, квакеры!» или «Спасайся, кто может! Фредерик Дуглас со своими дружками-аболиционистами!», и тогда Хомини убегал и прятался в кукурузном поле. Но в тот день, когда у меня была назначена встреча с продавцами яблоневых саженцев, он проявил просто ослиное упрямство.

— Хомини, ты уберешься с дороги или нет?

— Я отказываюсь быть рабом *массы*, который даже не может сделать такое простое дело, как найти для нас город-побратим. Поэтому этот ниггер, вкалывающий на плантации, даже с места не сдвинется.

— Это ты вкалываешь на плантации? Я тебя, конечно, не заставляю, но ты же ни черта не делаешь! Ты целыми днями валяешься в джакузи! Тоже мне ниггер с плантации! А ну пошел, чертов раб горячей ванны, сауны и банановых дайкири!

В результате я нашел три города-побратима, которые, как и Диккенс, реально существовали, но исчезли с карт при подозрительных обстоятельствах. Во-первых, Фивы. Не древнеегипетский город, а из немого фильма Сесила Б. Демилля «Десять заповедей»<sup>[122]</sup>. Огромные декорации, выполненные в реальном масштабе, с 1923 года оказались погребены в песках дюн Нипомо на пляжах Гваделупе, штат Калифорния — и массивные деревянные ворота, и храмы с колоннадами, и сфинксы из папье-маше, в которых прятался Рамсес с фалангами центурионов и статистов-легионеров. Может, когда-нибудь буря, налетевшая со стороны моря, откроет его и сдует с лица земли, и тогда Моисей поведет израильтян обратно в Египет, а Диккенс — в будущее.

Кроме этого, процветающий Диккенс-невидимка мог образовать союз с австрийским Дёллерсхаймом и Затерянным Городом Белой Мужской Привилегии. Дёллерсхайм, давно заброшенная деревня в Нижней Австрии, расположенная на расстоянии пушечного выстрела от чешской границы, была родиной деда Гитлера по линии матери. Легенды гласят, будто фюрер, желая скрыть свою историю болезни (одно яичко, пластика на носу, диагностированный сифилис, страшные детские фото), свою настоящую фамилию (Шикльгрубер-Буш) и свое еврейское происхождение, повел ударные войска на Дёллерсхай, и они отбомбили город до состояния аншлюса в Первый рейх. Такую тактику вымарывания фактов из истории

вполне можно назвать эффективной, ибо и поныне про Гитлера никто не знает ничего конкретного, кроме того, что он был квинтэссенцией мудака, лишённого чувства юмора, к тому же неудавшимся художником, хотя то же самое можно сказать и почти о каждом.

Итак, между многими городами-призраками началась подковерная борьба за право стать городом-побратимом Диккенса. Заманчивое предложение поступило от процветающего, а ныне заброшенного квартала Вароша<sup>[123]</sup> в городе Фамагуста на Кипре, из которого все греки были эвакуированы турками и с тех пор там никто не жил и ничего не было построено. Мы также получили потрясающую заявку от Бокор Хилл Стейшн<sup>[124]</sup>, необитаемого французского курорта: руины его колониальных зданий в стиле рококо так и гниют в камбоджийских джунглях. После впечатляющей «презентации» в лидеры выбился Кракатау на востоке Явы. На общество городов-побратимов давили такие разрушенные во время войны и эвакуированные города, как Орадур-сюр-Вайрес<sup>[125]</sup> во Франции и Пауа<sup>[126]</sup> и Гороумо<sup>[127]</sup> в Центральноафриканской Республике. Но в итоге мы не смогли не внять страстным призывам Затерянного Города Белой Мужской Привилегии, чье существование многими отвергается (в основном — самими белыми доминантными самцами). Некоторые категорически заявляют, что местная специфика была разрушена хип-хопом и прозой Роберто Боланьо<sup>[128]</sup>. Что популярность роллов с тунцом и президент-афроамериканец стали для белого доминантного самца тем же, чем зараженные оспой одеяла для существования американских индейцев. Поборники свободной воли и свободного рынка уверяют, что город сам виноват в своей гибели: поток противоречивых религиозных и светских посылов из верхних слоев общества окончательно сбил с толку впечатлительного белого мужчину и довел его до такой тяжелой социальной и психической тревожности, что тот перестал трахаться. Перестал голосовать. Перестал читать. И, что самое главное, перестал считать себя венцом всего и концом всего или, по крайней мере, узнал достаточно, чтобы не высказывать это публично. Во всяком случае, стало невозможно ходить по улицам Затерянного города и тешить эго мифологическими трюизмами вроде «Мы построили эту страну!», при том что смуглые люди вокруг постоянно стучали молотками, что-то строили, готовили первоклассные французские блюда и чинили твои машины. Не покричишь «Люби Америку или уматывай!», когда в глубине души хочешь жить в Торонто. В городе, который, как ты объяснял другим, «по-настоящему космополитический», имея в виду, что он не очень-то и

космополитический. Ты уже не мог называть кого-то ниггером, вслух или про себя, если твои собственные дети с бело-лилейной кожей обозвали тебя ниггером за то, что ты не дал им ключи от машины. Когда окружающие «ниггеры» стали делать то, чего не бывало прежде, вроде участия в соревнованиях по плаванию на Олимпиаде или ландшафтного дизайна. Мда, если дело пойдет так дальше, в один прекрасный день ниггер, не дай бог, снимет хорошее кино. Но не волнуйся, о Затерянный Город Белой Мужской Привилегии, настоящий или выдуманный: мы с Хомини были за тебя, готовые породнить тебя с Диккенсом, последним Оплотом Черных.



## **Сплошные мексиканцы**

## Глава одиннадцатая

«Кругом сплошные мексиканцы», — тихонько пробормотала Карисма Молина, прикрыв рот ладошкой с идеальным французским маникюром. Я уже не первый раз слышал на публике такие расистские высказывания. С тех пор как по Камино Реал<sup>[129]</sup> начали блуждать коренные американцы в мокалинах (в поисках источника этого чертова колокольного звона по воскресным утркам, распугивая толсторогих баранов и мешая мескалиновым путешествиям духа), калифорнийцы ругали мексиканцев. Индейцы же искали мира и покоя и в итоге пришли к Иисусу, подневольному труду, кнуту и календарному методу. Работая в пшеничных полях и сидя на дальних церковных скамьях, они тихонько шептали друг другу, когда никто их не видел: «Сплошные мексиканцы».

У белых, которым прежде нечего было сказать черным, кроме как «У нас нет вакансий», «Ты кое-что упустил» или «Подбери мяч», наконец-то появилась тема для разговора. Жаркими летними днями в долине Сан-Фернандо, когда мы тащим к их машинам пакеты с продуктами или забиваем счетами их почтовые ящики, они оборачиваются к нам и говорят: «Кругом сплошные мексиканцы». Молчаливый консенсус между раздраженными незнакомцами: виноваты не жара или влажность, вина лежит на наших смуглых младших братьях, проживающих южнее нас или севернее, под боком, а также в Гроуве, и во всей остальной Калифорнии.

Для черных, исторически самых легальных рабочих в истории, формулировка «кругом сплошные мексиканцы» служит оправданием для участия в расистских митингах против рабочих-нелегалов, которые пытаются добиться улучшения условий жизни. «Сплошные мексиканцы» — это устное оправдание косности, в которой мы погрязли. Мы же любим мечтать о переезде за чаем и листать каталоги недвижимости, подумывая об улучшении жилищных условий.

— Как тебе Глендейл, бэби?

— Сплошные мексиканцы.

— Может, тогда Дауни?

— Сплошные мексиканцы.

— Ну а Беллфлауэр?

— Сплошные мексиканцы.

Кругом сплошные мексиканцы. Это трюизм для каждого подрядчика без лицензии, уставшего от недоплаты, безработицы, кумовства и

паршивых чужих резюме, наводнивших интернет. Но во всем виноваты мексиканцы. Если в Калифорнии кто-то чихнет, никто ему не скажет Gesundheit<sup>[130]</sup>, а сразу — «кругом сплошные мексиканцы». На ипподроме Санта-Анита лошадь, на которую ты поставил, потянула спину и пришла пятой? *Кругом сплошные мексиканцы*. Дурак в *Commerce Casino* открывает карты, и у него три «дамы»? *Кругом сплошные мексиканцы*. В Калифорнии это давно присказка, но когда ее произносит завуч средней школы Чафф<sup>[131]</sup> Карисма Молина, по совместительству лучшая подруга Марпессы (то есть моей девушки, что бы там она ни пиздела)... Я первый раз слышал такое от мексикано-американки, и, хотя до меня не сразу дошло, Карисма первая сказала это не в переносном смысле. Буквально.

В отличие от «пострелят», когда я прогуливал занятия, я шел не на рыбалку, я шел в школу. Если отец засыпал во время урока по негрологии, я ускользал из дома и бежал в сторону школы Чафф, чтобы посмотреть через сетчатый забор, как ребята играют в гандбол и кикбол. Если мне везло, я видел среди зрителей Марпессу с Карисмой и других их подружек. Они болели за своих бойко и слаженно, крутили бедрами и распевали: «Унгава, Унгава, за черными слава! Эй, сделай так, как я хочу, — ударь сильнее по мячу!»

Ежегодно, за две недели до начала летних каникул, в Чаффе проводили День карьеры. Этого времени детям хватало, чтобы они (по крайней мере, большинство из них) запланировали карьерное самоубийство через прохождение теста на профпригодность или написание резюме. На школьный двор приходили шахтеры, собиратели мячей для гольфа, корзинщики, землекопы, переплетчики, покалеченные пожарные и последний в мире астронавт. Все они представляли собой жалкое зрелище. Каждый год повторялось одно и то же. Мы распинались о важности нашей работы, но никогда не отвечали на вопросы с последнего ряда. Если вы такие охуенно незаменимы и мир не может без вас обойтись, то почему тут тоскливо до зевоты? Почему у вас такой несчастный вид? И почему нет женщин-пожарных? Почему медсестры такие заторможенные? Единственное, чем дети остались довольны, — это ответом последнего астронавта на земле, старого чернокожего джентльмена, настолько немощного, что казалось, он движется, словно и на Земле чувствует невесомость. А как астронавты ходят в туалет? Ну, не знаю как сейчас, а тогда к жопе прикрепляли целлофановый пакет. Никто не хочет быть фермером. Но примерно через месяц после дня рождения Хомини Карисма завела со мной разговор о другом. Мы сидели на моем парадном крыльце и

пыхали. Карисма ныла, как ей надоели ее соседи Лопесы (она еще называла их «мексикашками в ковбойских шляпах»), как ее год за годом достают их лошади в блестящих вакерских седлах и пополах, их яркие наряды из парчи и мягого бархата, их выступления с веревкой.

— Слушай, детей не интересует разница между навозом и удобрениями или какими болезнями страдают мускатные тыквы. Они не могут долго удерживать внимание, поэтому надо брать быка за рога. В прошлом году ты выступил хуже некуда, было так пиздец скучно, что дети закидали тебя твоими же органическими помидорами.

— Поэтому я не приду больше. Зачем мне оскорбления?

— Докурила.

— Хочешь еще?

Карисма молча кивнула.

— Ага. И мне интересно, что это, блядь, за сорт. И почему после нее биржевые сводки и вся херня, которую я читаю к семинарам по английской литературе в старших классах, обретают для меня смысл.

— Я назвал ее «Глубокомыслие».

— Хороша, зараза, теперь я знаю, что такое глубокомыслие, слово, которое я никогда не слышала.

Залаяла собака. Прокукарекал петух. Промычала корова. Затренькал поезд на станции Harbor Freeway — «Ой-йо-йо». Карисма откинула со лба свои длинные черные волосы и затынулась так, что ей открылись все тайны интернета, «Улисса», «Тростника» Жана Тоомера и американского увлечения кулинарными шоу. К тому же она теперь знала, как уговорить меня участвовать в Дне карьеры.

— Придет Марпесса.

Я и без травы знал, что никогда не перестану любить эту женщину.

С запада на берег надвигались облака, обещая дождь. Но ничто не могло остановить Карисму, которая желала рассказать ученикам о десятках возможностей для карьерного роста, доступных малообеспеченной молодежи из числа представителей расовых меньшинств в современной Америке. После выступлений мусорщиков, инспекторов по УДО, диджеев и бэк-МС настало время действия. Марпесса, представлявшая транспортную индустрию и за все время ни разу на меня не взглянувшая, продемонстрировала трюки, которые могли бы стать гордостью фильмов «Форсаж». Она виртуозно провела свой тринадцатитонный автобус змейкой, не задев ни единого конуса, выпуская на каждом развороте клубы дыма, а потом, слегка задев импровизированный пандус из столов и

скамеек, проехала по кругу на двух колесах. Закончив фигурное катание, Марпесса пригласила детей на экскурсию. Громко галдя, радостные школьники загрузились в автобус. Минут через десять они, притихшие, осторожно спустились по ступенькам, перед выходом угрюмо поблагодарив Марпессу за интересный рассказ. Один молодой преподаватель, единственный белый учитель в школе, рыдал, спрятав лицо в ладонях. Бросив скорбный взгляд на автобус, он отошел в сторонку и уселся на ящик, пытаясь прийти в себя. Никогда бы не подумал, что лекция о транспортной системе и повышении цен за проезд может довести человека до такого отчаяния. Заморосил дождик.

Карисма объявила начало второй, более сельской, части программы. Настала очередь Нестора Лопеса. Лопесы, выходцы из Халиско, жившие затем в Лас-Крусес, были первой мексиканской семьей, интегрировавшейся на наших фермах. Когда они переехали, мне было семь. Отец вечно брюзжал из-за их музыки и петушиных боев. Единственный домашний урок мексикано-американской истории, который я получил от отца, гласил: «Никогда не дерись с мексиканцем. Потому что, если до этого дойдет, ты должен его убить». Но Нестор, хоть и был на четыре года старше — предположительно я должен был убить его из-за отнятой у меня игрушечной машинки или чего-то в этом роде, — оказался отличным парнем. По воскресеньям, когда он возвращался домой из церкви после катехизиса, я приходил к нему в гости, и мы смотрели кино про ковбоев и дергающиеся любительские видеозаписи с провинциальных родео. Пили горячий «пунш» с корицей, приготовленный мамой Нестора, и остаток дня дрожали от страха, смотря «300 porrazos sangrientos»<sup>[132]</sup>, «101 muertes del jaripeo»<sup>[133]</sup>, «1,000 litros de sangre»<sup>[134]</sup> или «Si chingas al toro, te llevas los cuernos»<sup>[135]</sup>. И хотя я в основном смотрел сквозь пальцы, закрыв лицо ладонями, мне никогда не забыть этих ковбоев-неудачников, прыгающих верхом на быках без рук, без клоунов<sup>[136]</sup>, без медиков, без страха перед *toros destructores*, готовыми превратить противника в тряпичную куклу. Мы вопили от страха, когда быки разрывали их покрытые стразами рубашки и аорты. «Давали пять», если быки втапывали в кровавую грязь челюсть или голову упавшего всадника. С годами, как это бывает у черных и латиноамериканских мальчиков, наши пути разошлись. Социализированные жертвы бандитских тюремных эдиктов, которые не имели к нам никакого отношения, но предусматривали разделение ниггеров и испашек. Теперь мы случайно пересекаемся на соседских вечеринках либо на Дне карьеры, как сегодня. Под увертюру из оперы «Вильгельм

Телль» Нестор выскочил в центр площадки из-за развалин механической мастерской и начал выделять фортеля, изображая из себя ковбоя, объезжающего дикую лошадь.

Я так и не понял, какую профессию демонстрировал Нестор, думаю — «позерство». В конце своего родео-шоу он бросил в сторону ликующей толпы свое сомбреро, обвешанное кисточками и помпончиками, и, окинув меня взглядом «побьешь меня?», сделал в седле стойку на голове. Когда, наконец, Карисма представила публике меня, по трибунам прокатился такой мощный зевок, что, наверное, его услышал весь Диккенс.

— Что это был за звук? Самолет взлетел?

— Да нет, это ниггерский фермер. Видать, в школе опять День карьеры.

Я вывел своего дрожащего кареглазого теленка на базу бейсбольного поля, огороженного забором из рабицы. Дети, кто посмелее, несмотря на урчащие животы и авитаминоз, нарушили строй и подошли поближе. Они осторожно гладили малыша, боясь от него чем-нибудь заразиться или полюбить его, и речь их была речью проклятых.

— Мягкая кожа.

— А глаза прям как ириски. Сожрать бы их.

— Глянь, как этот коровий ниггер облизывает губешки, мыкает и слюнявится. Прямо как твоя тормознутая мамаша.

— Иди на хуй! Сам ты тормознутый.

— Оба вы тормоза. Не знаете, что коровы тоже люди?

Несмотря на «тормознутого», я наконец-то завоевал успех среди детей. Или мой теленок. Карисма свернула язык трубочкой и резко свистнула, как футбольный тренер. Когда-то это был условный сигнал нам с Марпессой, что по дорожке идет отец. Двести детей мгновенно успокоились и обратили свое дефицитное внимание на меня.

— Всем привет, — сказал я, сплюнув на землю, чтобы поддержать свой имидж фермера. — Я, как и вы, из Диккенса.

— Откуда-откуда? — завозмущались некоторые.

С таким же успехом я мог сказать, что я из Атлантиды. Эти ребята были не из «Диккенса». Они повставали со своих мест, махали руками, демонстрировали жесты своих банд и рассказывали, откуда они. «Калеки» из Южного Джослин-парка, Баррио триста пять, «кровники» с Бедрок-Стоунер-авеню.

В ответ я выбрал наиболее близкое к гангстерам из всего, что есть в мире сельского хозяйства, провел ребром ладони по горлу — универсальный знак «глуши мотор» — и объявил:

— Так вот, я живу на Фермах, а они, если кто не знает, находятся в Диккенсе. И ваш завуч Молина попросила рассказать вам, как проходит обычный день фермера. Поскольку сегодня у теленка день рождения — ему исполнилось два месяца, — я решил поговорить с вами о кастрации. Существует три способа кастрации...

— Маэстро, а что такое кастрация?

— Это средство для того, чтобы животные-самцы не плодили детей.

— А чего, не бывает коровьих гондонов?

— Неплохая мысль, но у коров нет ни рук, ни, так же, как и у Республиканской партии, никакого уважения к репродуктивным правам женщин, поэтому используется такой способ контроля численности популяции. Кроме того, кастрация делает животных более покорными. Кто-нибудь знает, что такое «покорный»?

Тощая девочка цвета мела вытерла сопливый нос и подняла вверх руку такого отвратительно пепельного цвета, с такой белой и сухой кожей, какие бывают только у черных.

— «Покорный» означает «сучистый», — сказала девочка.

Она вызвалась помочь мне, подошла к теленку и поводила пальцем по его мягким ушам.

— Что ж, можно сказать и так.

То ли от упоминания слова «сука», то ли из-за ошибочного представления, будто сейчас будут рассказывать о сексе, дети собрались в кружок. Те, кто не попал в первые ряды, крутился как мог, чтобы занять место получше. Несколько ребят забрались на штанги бейсбольных ворот и смотрели на процедуру сверху, как студенты-медики в операционном театре. Я завалил теленка набок, удерживая коленями его шею и грудную клетку, и немойтой ковбойской рукой выпрямил ему задние ноги, выставив напоказ маленькие, как у щенка, гениталии. Я понял, что привлек внимание публики. Краем глаза я видел, как Карисма отошла проводить своего все еще всхлипывавшего коллегу, а потом, на цыпочках, вернулась в автобус Марпессы.

— Как я уже говорил, существует три вида кастрации. Хирургическая, эластическая и бескровная. Эластическая кастрация — это когда мы перевязываем резинкой под яичками вот здесь, блокируя приток крови. В итоге яички иссыхают и отваливаются. — Я схватил теленка за мошонку и так сильно сжал, что тот аж подпрыгнул, а вместе с ним и дети.

— Бескровная кастрация — когда мы перерезаем семенные канатики вот тут и тут. — Я крепко ущипнул теленка за его *vas deferens glans*<sup>[137]</sup>, и тот задержался от боли, а дети — от садистского хохота.

Я вытащил складной нож, раскрыл его и ловко покрутил его в поднятой руке, чтобы все увидели, как в лезвии отражается солнце, но было слишком пасмурно.

— При хирургической кастрации...

— А можно я? — спросила та маленькая черная девочка. Преисполненная исследовательского интереса, она не могла оторвать карих глаз от мошонки юбиляра.

— Нужна записка от родителей.

— Какие родители? Я живу в Эль-Нидо, — сказала девочка, имея в виду, конечно, детский дом в Уилмингтоне. В нашем районе это значило то же, что Синг-Синг в фильме с Джеймсом Кэгни<sup>[138]</sup>.

— Как тебя зовут?

— Шейла. Шейла Кларк.

Мы с Шейлой ползком поменялись местами, при этом я продолжал крепко держать теленка. Я отдал девочке нож и эмаскулятор, очень похожий на садовые ножницы, но предназначенный именно для того, о чем говорило его название. На асфальт пролились две пинты крови: ловкий боковой разрез мошонки, извлечение семенников, перерезанные с хрустом семенные канатики, полный двор кричащих детей и учителей, — не отходя от сексуально фрустрированного (впоследствии) теленка, я продолжил лекцию специально для Шейлы Кларк и еще троих учеников, настолько заинтригованных действием, что они не побоялись зайти в лужу крови, чтобы поближе рассмотреть раны, пока я с трудом удерживал корчащегося на земле несчастного.

— Положение, когда теленок не может сопротивляться, мы, животноводы, называем «завалом». Конечно, сейчас не самый плохой момент для обезроживания, вакцинации, клеймования и маркировки ушей...

Дождь пошел с пущей силой. Крупные теплые капли застучали по еще сухому асфальту, поднимая мелкие облачка пыли. Уборщики прикатили на школьный двор мусорный бак и спешно начали выгружать оттуда и складывать в огромную кучу сломанные парты, треснутые классные доски, обломки изъеденной термитом стенки для гандбола, засовывая в пустые места газеты. День карьеры должен заканчиваться гигантским костром для маршмеллоу. Небо потемнело еще сильнее. У меня возникло ощущение, что дети расстроятся. Учителя и другие участники празднества, не считая Мистера Плаксы, который замер, трагически уставившись на сдутый баскетбольный мяч, будто наступил конец света, пытались организовать детей, стаскивая их с шатких качелей, ржавых турников и лазалок. Нестор



скакал вокруг испуганного стада, оттесняя детей подальше от ворот. Марпесса завела мотор, Карисма вышла из автобуса, а теленок постепенно начал отходить от шока. Я оглянулся в поисках своей маленькой ассистентки Шейлы Кларк, но та была очень занята: играла со связкой окровавленных яичек, мотая ими так, чтобы они стукались друг о друга, как шарики-трещотки на веревочке, которые продают в автомате за четвертак.

Я перекатился на спину, взял голову животного в захват и уперся ботинками ему в пах, чтобы он не попал мне копытами по лицу. Марпесса развернула автобус и выехала через боковые ворота на Шенандоа Стрит, даже не помажав на прощанье. Ну и хуй с ней. Надо мной с сочувственной улыбкой нависла Карисма, читавшая обиду в моих глазах.

— Вы были просто созданы друг для друга.

— Сделай одолжение? Там у меня в рюкзаке лежит антисептик и банка с мазью, на крышке которой написано «Fliegenschutz».

И завуч Молина сделала то, что умела, еще когда была маленькой девочкой: измазав руки, опрыскала дрыгающегося теленка антисептиком и замазала открытую рану в том месте, где раньше были яички, липкой мазью.

Когда дело было сделано, белый учитель с лицом, залитым слезами, подошел к ней, тронул за плечо, словно полицейский из сериала, сдающий оружие и нагрудный знак, торжественно отвинтил от своей жилетки блестящий новенький значок *Учить ради Америки*, вложил его в руку Карисмы и ушел в бурю.

— Что это было?

— Когда мы зашли с детьми в автобус, твоя тощая подручная Шейла встала, показала на наклейку «Уступайте места белым» и сказала мистеру Эдмундсу, что он может садиться. Он сел как идиот, а потом до него дошло, и с ним случилась истерика.

— Так что, наклейки до сих пор висят?

— А ты не в курсе?

— В курсе чего?

— Ты так много болтаешь про город, а сам не знаешь, что тут происходит? После того как ты прилепил эти наклейки, автобус Марпессы стал самым безопасным местом в Диккенсе. Она про них тоже не вспоминала, пока начальник смены не сказал, что после дня рождения Хомини в ее автобусе не произошло ни одного случая нарушения общественного порядка. И тут она призадумалась. Люди стали относиться друг к другу уважительно, здороваются, когда заходят, и благодарят, когда

выходят. Ни одной банды. «Калеки», «кровники» и «чоло» аккуратно один раз нажимают на кнопку «Остановки по требованию», а не долбят по ней. Знаешь, куда дети приходят делать уроки? Не домой, не в библиотеку, в автобус Марпессы. Вот как там безопасно.

— Преступления обычно носят циклический характер.

— Нет, это из-за наклеек. Сначала люди ворчали, но расизм берет свое. Они становятся скромнее. Они вдруг начинают понимать, какой был пройден путь и, что особенно важно, сколько еще предстоит пройти. Призрак сегрегации бродит по автобусу и сплачивает жителей Диккенса.

— А что этот учитель-плакса?

— Мистер Эдмундс очень неплохо преподавал математику, но он не может научить детей тому, что они все равно про себя знают. Так что в пизду его.

Теленок немного оклемался и встал на ноги. Шейла, его юный эмаскулятор, подошла к животному и, приставив к ушам «сережки» из его же яичек, принялась перед ним кривляться. Сказав последнее «прощай» своей мужественности, теленок поплелся за сочувствием к согнутым столбикам для тетербола с оборванными мячами, которые бессмысленно стояли рядом с кафетерием. Карисма устало потерла глаза.

— И если мне удастся добиться от этих маленьких выроdkов такого же поведения в школе, как в автобусе, это уже будет кое-что.

Ведомые скачущим Нестором Лопесом, который лидировал на десять корпусов (спешил за гонораром), одноклассники Шейлы тащились по бетонной равнине. Дети шли сквозь дождь мимо ряда бунгало с рубероидными крышами и окнами, затянутыми газетами и строительным картоном. Эти домики находились в такой негодности, что по сравнению с ними маленькие африканские школы, на которые собирают деньги на ночных телешоу, казались колледжами. Дети шли современной дорогой слез. Потом их распределили вокруг горы деревянного мусора. Дождь колотил по пухлым пакетам с маршмеллоу: и дерево, и засунутые в щели газеты для розжига уже потемнели и пропитались водой, но восторг детей оставался неизменным. За их спинами стояло старое школьное здание, крыша которого была разрушена во время Нортриджского землетрясения 1994 года, но ее так никто и не починил. Карисма провела рукой по колокольчикам, которыми было увешано седло лошади Нестора по имени Парад Роз. От мелодичного звона дети заулыбались, но тут к Карисме подбежала Шейла Кларк.

— Мисс Молина, а вон тот белый отнял у меня одно яйцо! — плаксиво воскликнула она, потирая ушибленное плечо и указывая на круглолицего

мальчика-латиноса, который на самом деле был на несколько оттенков смуглее ее.

Мальчик пытался играть яйцом в футбол, гоняя его по мокрому асфальту. Карисма по-матерински поправила Шейле афрокосички. Для меня это было что-то новенькое. Черный ребенок называет латиноамериканского белым. В их возрасте мы играли в «Чур не я!» — тогда еще не появились такие игры, как Kick the Can<sup>[139]</sup> или «Красный — Зеленый»<sup>[140]</sup>, насилие, нищета и преступность еще не привели к ущемлению права на землю по факту рождения и к разделению на городских и деревенщину, любой житель, независимо от расы, был черным, и степень его черноты определялась не цветом кожи или текстурой волос, а тем, говорил он: «Для всех намерений и целей» или «Для всех, наверное, и целей». Марпесса рассказывала, что хотя у Карисмы — копна прямых волос ниже пояса, а молочно-белая кожа — цвета напитка орчата, ей и в голову не приходило, что она не черная, пока однажды в школу за Карисмой не пришла ее мать. Она говорила и двигалась совсем не так, как ее дочь. Пораженная открытием, Марпесса повернулась к подруге и спросила: «Ты что, мексиканка?» Подумав, что подруга заговаривается, Карисма, побледнев, собралась воскликнуть «Никакая я не мексиканка!», а потом вдруг словно впервые увидела свою мать в окружении черных лиц и ритмов и подумала про себя: «Вот черт, я и вправду мексиканка!! *Hijo de puta!*» Да, давно это было.

Перед тем как зажечь костер, завуч Молина обратилась к своей армии. Ее серьезный вид и голос свидетельствовали, что она — генерал, зашедший в тупик. Смирившийся с тем, что ее черные и коричневые войска, которые она отправляла в большой мир, не имели особенных шансов.

— *Cada día de carreras profesionales yo pienso la misma cosa. De estos doscientos cincuenta niños, ¿cuántos terminarán la escuela secundaria? ¿Cuarenta pinche por ciento? Órale, y de esos cien con suerte, ¿cuántos irán a la universidad?* На заочное обучение по интернету? Что-нибудь второстепенное. Клоунский колледж, *o loque sea?* Человек пять, *más o menos. ¿Y cuántos graduarán?* Ну, может, только двое. *Que lástima. Estamos chingados*<sup>[141]</sup>.

Хотя, как большинство черных, выросших в Лос-Анджелесе, словарного запаса на прочих языках мне хватало лишь для флирта с девушками другой этнической принадлежности, я понял, о чем говорит Карисма. Этим детям ни хера не светило.

Я удивился, что у многих детей оказались при себе зажигалки, но как

они ни старались разжечь костер, мокрое дерево отказывалось гореть. Тогда Карисма отправила нескольких учеников в сарай. Дети вернулись с тяжелыми картонными коробками, вытряхнули содержимое на землю и сложили из книг (оказалось, это книги) пирамиду примерно в метр высотой.

— Ну, и хули вы ждете?

Ей не пришлось просить дважды. Книги вспыхнули как хворост, языки отличного пламени рванули в небо, и дети принялись поджаривать свои маршмеллоу, нанизанные на карандаши номер два.

Я отвел Карисму в сторону. Как смеет она жечь книги?

— У вас и без того бедная библиотека.

— Эти книги — не литература. Их прислал Фой Чешир. И продавал в школьном совете обучающий проект «Зажги классику!». Это обновленная классика: «Квартира Дядюшка Тома», «Дозор над пропастью во ржи» и так далее. Слушай, мы уже все перепробовали: занятия малыми группами, сдвоенные уроки, одноязычное, двуязычное, подъязычное образование. Фонетику, негритянский жаргон, гипнопедию, цветовые схемы для создания оптимальной образовательной среды. Но можно сколько угодно перекрашивать стены, от теплых до холодных тонов, белые учителя работают по белой методике и пьют белое вино, а амбициозный белый администратор угрожает передать нас под внешнее управление, потому что он знает Фоя Чешира. Ничего не выходит. Но я скорее сдохну, чем позволю нашим детям читать его «Человека-дозу».

Я выкинул из костра полусгоревшую книгу. На обложке еще читалось название «Великий Блэксби». На первой странице было написано:

Серьезный базар. Когда я был легковверен, молод и полон спермы, мой вездесущий папа, который, будучи нетипичным афроамериканцем, любил и уважал мою мать, киданул мне совет, надолго заехавший в мою память.

Щелкнув зажигалкой, я довершил сожжение книги и поджарил над пылающими страницами маршмеллоу, наколотую на указку, которую любезно одолжила мне Шейла. Она соорудила из прыгалок поводок для теленка и гладила по голове своего любимца. В это время мальчик-латино попытался вернуть яички на место при помощи клея и скрепок, пока к нему не подошла Карисма и, взяв за шиворот, не оттащила.

— Ну что, дети, вам понравился сегодняшний праздник?

— А я хочу стать ветеринаром, — сказала Шейла.

— Это по-гейски, — парировал ее латиноамериканский соперник,

пытаюсь одной рукой жонглировать яичками.

— Жонглировать — это по-гейски!

— Да, это по-гейски — обзывать человека геем потому, что он назвал тебя геем.

— Так, хватит, — укоризненно оборвала детей Карисма. — Да есть вообще на свете кто-то, кто не гей?

Толстый мальчик на минуту призадумался:

— Знаете, что не по-гейски? Быть геем!

Хохоча до слез, Карисма рухнула на бежевую пластиковую скамейку, и тут же прозвенел школьный звонок. Пятнадцать ноль-ноль, длинный был день. Я уселся рядом. Небеса наконец обрушились, и начался настоящий ливень. Все, и школьники, и учителя, побежали кто к своим машинам, кто к автобусной остановке или в распростертые объятия родителей, а мы, как истинные южные калифорнийцы, сидели под дождем, без зонтиков, словно под душем, и слушали, как капли шипят в медленно гаснущем костре.

— Карисма, я тут подумал, как наладить в школе дисциплину, чтобы дети уважали друг друга, как в автобусе Марпессы.

— Ну и?

— Нужно ввести сегрегацию.

Сказав это, я вдруг понял, что сегрегация — это и ключ к возвращению Диккенса. Перенести атмосферу единения из автобуса на школу, а потом уже на весь город. Апартеид сплотил Южную Африку, так почему это невозможно в Диккенсе?

— Расовую? Ты хочешь разделить школьников по цвету кожи?

Карисма посмотрела на меня так, будто я был одним из ее учеников, не очень глупым, но запутавшимся. На самом-то деле школа Чафф уже сто раз была пересегрегирована и высегрегирована — конечно, не по цвету кожи, а по уровню навыков чтения или по поведению. Те, у кого английский был неродным, занимались по одной программе, а англо-если-они-соизволят-говорящие — по другой. Во время «месяца черной истории» мой отец вечерами смотрел по телевизору кадры с горящими «автобусами Свободы» и лающими и рвущимися с поводков собаками, повторяя: «Нельзя навязать интеграцию, сынок. Если народ хочет интегрироваться, он будет интегрироваться». Никогда не задумывался, насколько согласен с этим, если вообще согласен, но эти слова врезались мне в память. Пока, наконец, не пришло осознание, что для многих интеграцией все и ограничивается. У нас в Америке «интеграция» — часто прикрытие. «Я не расист. Моя пара на выпускном, моя троюродная сестра, мой президент и далее по списку — черные». Однако мы не знаем, является ли интеграция естественным или

противоестественным процессом. Приводит ли интеграция, насильственная или нет, к энтропии в обществе или к общественному порядку? Никто прежде не задавался этим вопросом. Дожаривая последнюю маршмеллоу, Карисма обдумывала мои слова. Я знал, о чем она думала. Она думала о том, что сегодня в ее альма-матер семьдесят пять процентов латиноамериканцев, а в свое время в школе было восемьдесят процентов черных. Она вспоминала рассказы своей матери Салли Молины, выросшей в маленьком городке штата Аризона, о росте сегрегации в сороковые-пятидесятые годы. И во время церковной службы она сидела в самом душном месте, дальше всех от Иисуса и аварийного выхода. Она ходила в мексиканскую школу, а ее родители и ее младший брат были похоронены на мексиканском кладбище за чертой города, возле трассы номер 60. А когда в 1954 году семья переехала в Лос-Анджелес, расовая дискриминация была достаточно однородной, разве что, в отличие от черных горожан, мексиканцам уже было позволено появляться на общественных пляжах.

— Ты хочешь сегрегировать школу по расовому признаку?

— Да.

— Ну, если ты сможешь это сделать, то давай. Я ж говорю: кругом сплошные мексиканцы.

Не скажу за детей, но когда я возвращался домой с Дня карьеры, посадив кастрированного теленка рядом с собой на переднее сиденье, а он высунул голову из окошка и ловил языком капли дождя, то был, как никогда, вдохновлен новой целью. Как там сказала Карисма? «Призрак сегрегации бродит по автобусу и сплачивает горожан». Я дал себе полгода на то, чтобы испытать себя в роли Уполномоченного по вопросам внедрения сегрегации в городе Диккенсе. А если ничего не получится, то что с черного возьмешь?

## Глава двенадцатая

В то лето, после Дня карьеры, дождь не прекращался ни на день. Белые парни на побережье прозвали сезон «лето без атлета». Сводки погоды были как под копирку: дождь и сплошная облачность. Каждое утро, в полдесятого, над побережьем зависал фронт пониженного атмосферного давления и начинался дождь, который прекращался только к вечеру. Многие не занимаются серфингом под дождем, еще меньше желающих лезть в волны после дождя со штормом и подхватить гепатит из-за сточных вод, стекающих во взбаламученный океан. Лично я люблю ловить волну под дождем — вокруг меньше придурков и виндсерферов. От Малибу до Ринкона нужно держаться подальше от пересохших русел рек, которые в такие дни заполняются всякой гадостью, и все будет в порядке. В то лето меня мало беспокоили фекальные массы и инфекции. Я по уши погрузился в проблему сегрегации и мандаринов сацума. Как вырастить чувствительное к поливу цитрусовое дерево в сезон дождей? И как сегрегировать уже сегрегированную школу?

Хомини, расовый реакционер, был мне не помощник. Ему нравилась идея отдельного обучения. Он считал, что сегрегация вновь привлечет белых в Диккенс, и тот превратится в процветающий пригород его детства. Вернутся машины со стабилизаторами, соломенные шляпы и танцплощадки, англиканская церковь и посиделки с мороженым. По его словам, это станет противоположностью отступления белых. «Ку-клукс-клан-ураган», — говорил Хомини. Когда же я спрашивал, каким образом все произойдет, Хомини пожимал плечами и, словно безмозглый сенатор от консерваторов, морочил мне голову рассказами про старые добрые времена, не имеющими отношения к делу. «В одной нашей серии, называется „Папа Квислинг“, Стайми не подготовился к контрольной по истории и нарочно поджег свою парту. Ну и, конечно, в результате сгорела вся школа, и контрольную мы писали на крыше пожарной машины, потому что с мисс Крэбтри такие шуточки не пройдут». Вместе с сегрегационизмом приходит чувство вины. Ночами я пытался убедить своего медвежонка, чья шерсть с годами свалилась и выцвела, и он уже был не рыжий, а коричневый, в правильности возвращения сегрегации. Париж славен Эйфелевой башней, Сент-Луис — Вратами на Запад<sup>[142]</sup>, Нью-Йорк — огромным разрывом между богатыми и бедными, а Диккенс пусть будет славен сегрегированными школами. По крайней мере, появится

завлекательный буклет Торговой палаты: *Добро пожаловать в славный город Диккенс, урбанистический рай на берегу реки Лос-Анджелес, дом для бродячих молодежных группировок, старой кинозвезды и сегрегированных школ!* Многие утверждают, что самые лучшие идеи рождаются в воде. В душе. Или в плавательном бассейне. Там накрывает волна прозрения. Что-то про отрицательные ионы, белый шум и одиночество. Но если вы думаете, что серфинг под дождем — мозговой шторм одиночки, то я так не думаю. Лучшие идеи меня осепают не во время серфинга, а по дороге домой. Я сидел в пробке после удачной июльской тренировки, насквозь провонявший сточными водами и водорослями, и наблюдал, как на улицу высыпали детки богатых родителей, ученики самой престижной «кузницы кадров» на побережье — летней школы при академии *Intersection*. Подростки переходили улицу, где возле тротуара их ждали лимузины и прочие шикарные тачки. Завидев меня, ребята махали мне, дескать, расслабься, и показывали бандитские жесты, сували лохматые головы в окно моей машины и говорили: «Братан, травка есть? Лови волну, афроамериканский серфер!»

Они остаются сухими даже в самый сильный ливень: прислуга бегаёт за своими неугомонными подопечными, держа над их головами зонтики, да и многие слишком белые, чтобы промокнуть. Представьте себе вымокших до нитки Уинстона Черчилля, Колина Пауэлла, Кондолизу Райс или Одинокого рейнджера, и поймете, о чем я.

В бесконечно тянувшиеся летние дни, когда мне было восемь, отец придумал занять мой ленивый ум изощренной подготовкой к мажорной школе. Пока я сидел на корточках в воде и высаживал рис, отец нависал надо мной и бубнил, что приходится выбирать между евреями в Санта-Монике и язычниками в Холмби-Хиллз. Потом стал цитировать выдержки из исследования о том, что черные дети, которые учатся вместе с белыми детьми любой религиозной принадлежности, «достигают большего», а потом перескочил на сомнительное исследование, что черным было «лучше» во времена сегрегации. Я так и не понял его определения «лучше» и почему он не отправил меня учиться ни в Интерчендж, ни в Хаверфорд-Медоубрук. Наверное, для отца был слишком дорог проездной на электричку.

Я смотрел на этих ребят, сыновей и дочерей музыкальных и киномагнатов, выходивших из современного школьного знания, и вдруг понял, что, будучи единственным учеником папиной домашней школы полного цикла, я получил самое что ни на есть сегрегированное образование, свободное от необходимости посещать общественный



бассейн, есть домашнее фуагра и лицезреть американский балет. И хотя я пока не приблизился к ответу на вопрос, как спасти урожай мандаринов сацума, уже примерно представлял себе, как сегрегировать школу, которая, несмотря на все намерения и цели латиносов, оставалась негритянской во всех смыслах. Я ехал домой, а в голове все время всплывал отцовский голос.

Когда я вернулся домой, Хомини стоял во дворе под большим бело-зеленым зонтиком, впечатав босые ступни в мокрую траву. С тех пор как я согласился сегрегировать школу, он стал более старательным работником. До Джона Генри<sup>[143]</sup> ему, конечно, было охрененно далеко, но если что-то на ферме вызывало его интерес, он даже мог проявить инициативу. В последнее время он оберегал мое мандариновое дерево. Мог часами стоять возле него, отгоняя птиц и жуков. Сацума навевала ему воспоминания о дружной жизни на киностудии. Как он боролся с Уизером на пальцах. Как треснул по башке Толстяка Арбакла<sup>[144]</sup>. Как они играли в «Правду или действие» — проигравший должен был пробежать через съемочную площадку Лорела и Харди<sup>[145]</sup>. Мандарины сацума Хомини открыл для себя во время перерыва на съемках эпизода «Вот Париж, а там аббат»<sup>[146]</sup>. Почти вся группа сидела на съемочной площадке за столом для закусок, поедая кексы и запивая их крем-содой. Но в тот день на съемки пришли владельцы южного кинотеатра, и студийное руководство, которое желало подлизаться к кастовой системе, запрещающей прокат фильмов с одновременным участием цветных и белых детей, попросило Гречиху и Хомини поесть в компании статистов-японцев, которых после облав на иммигрантов тридцать шестого года начали звать на роли мексиканских бандитов. Статисты угостили детей совсем не американской лапшой соба и мандаринами сацума из Страны восходящего солнца. В отличие от арбузов, горьковато-сладкие мандарины хорошо перебивали во рту у мальчишек трагикомическое арбузное послевкусие от съемок. В конце концов, и Гречиха, и Хомини включили в свой контракт: на съемочной площадке — только сацума. Никаких клементинов, танжерининов или танжело. Потому что после многочасового кривляния ничто так не восстанавливает чувство собственного достоинства, как сочный сацума.

Хомини до сих пор думает, будто я ращу это дерево ради него. Он не знает, что я посадил его в тот день, когда мы с Марпессой официально расстались. Помню, я сдал сессию на первом курсе и ехал домой, летел по трассе СА-91, рассчитывая на хороший трах в виде поздравления, но уж никак не на записку, приколотую к свиному уху: «Не-а, ниггер».

Хомини нетерпеливо потянул меня за рукав плаща.

— *Масса*, ты просил сообщить, когда мандарины станут размером с мячики для пинг-понга.

Словно прислужник гольфиста, который не отрекается от своего работодателя даже при поражении, Хомини услужливо раскрыл надо мной зонт, вручил рефрактометр и потащил меня в сад. Ступая по грязи, мы обогнули дом и подошли к набухшему от воды дереву.

— *Масса*, прошу, поторопитесь, я боюсь, они не выживут.

Большинство цитрусовых деревьев нуждаются в регулярном поливе, но для сацумы верно обратное. Вода накапливается в них как моча, и сколько бы я ни подрезал ветки, они все были усыпаны тяжелыми плодами и гнулись к земле. Если я срочно не придумаю, как уменьшить потребление воды, к чертям пойдет весь урожай этого года плюс десять лет упорного труда и двадцать пять килограммов купленных в Японии удобрений. Я сорвал с ближайшей ветки мандарин, проткнул большим пальцем пупырчатую кожицу и выдавил несколько капель на рефрактометр — компактная и очень дорогая японская штучка для замера процента сахарозы в соке.

— Ну, что там? — нетерпеливо поинтересовался Хомини.

— Две целых, три десятых.

— И что это значит в смысле по шкале сладости?

— Что-то среднее между Евой Браун и соляной шахтой в Южной Африке.

Прежде я никогда не шептал заклинаний растениям. Не верю я, что они живые. Но когда Хомини пошел домой, я битый час общался с сацума. Читал им стихи и распевал блюзы.

## Глава тринадцатая

Я подвергался прямой расовой дискриминации единственный раз в жизни. Однажды я ляпнул отцу, что в Америке нет никакого расизма. Есть равные возможности, которые черные отвергают, поскольку не желают брать ответственность за собственную жизнь. Поздним вечером того же дня отец согнал меня пинками с кровати, чтобы совершить со мной незапланированное путешествие по пересеченной местности вглубь белой Америки. После трехдневной безостановочной езды мы очутились в безымянном городке штата Миссисипи, на пыльном перекрестке, где царили жгучая жара, вороны, хлопковые поля и, судя по воодушевлению на отцовском лице, — расизм в самом незамутненном виде.

— Ну вот, — произнес отец, указывая на захудалый магазинчик с допотопным пинбольным автоматом на входе, принимавшим только мелочь и выдававшим рекордный феерический результат 5,637.

Я огляделся в поисках расизма. У входа на деревянных ящиках из-под кока-колы сидели три дюжих, пропеченных солнцем белых мужика неопределенного возраста из-за морщин вокруг глаз. Они громко обсуждали предстоящие гонки на серийных автомобилях. Мы подъехали к бензоколонке на противоположной стороне улицы. Звякнул колокольчик, отчего вздрогнул и я, и работник, с неохотой оторвавшийся от телеприставки, на которой они с другом играли в шахматы.

— Полный бак, пожалуйста.

— Будет сделано. Масло проверяем?

Отец кивнул, не отрывая взгляда от магазина напротив.

Клайд, если имя на синем комбинезоне красным курсивом на белой нашивке действительно принадлежало этому человеку, принялся за работу. Проверил масло, давление в шинах, потер промасленной тряпкой по ветровому и заднему стеклам. Я никогда прежде не видел улыбчивого сервиса. Не знаю, чем он там пшикал, но таких чистых стекол у нас никогда не было.

Когда бак заполнился, отец спросил Клайда:

— Мы тут посидим чуток?

— Конечно.

«Чуток»? Я в замешательстве покачал головой. Терпеть не могу, когда черные переходят на просторечия, желая подчеркнуть свое превосходство. Что там дальше? «Ща сделаем»? «Верняк»? Припев из «Кто выпустил

собак»?

— Пап, что мы тут делаем? — спросил я с набитым ртом. Я еще с Мемфиса жевал соленые крекеры, чтобы как-то отвлечься от жары, бесконечных хлопковых полей и от мыслей, до чего же может довести людей рабство, если Канада казалась им не такой уж далекой. Отец никогда не рассказывал, но и он, так же как некогда его предки, бежал в Канаду, чтобы его не замели на Вьетнамскую войну. Если черные доведут дело до репараций за рабство — я знаю многих придурков, которые должны Канаде за аренду жилья и неуплату налогов.

— Пап, что мы тут делаем?

— Сидим и нагло пьемся.

С этими словами он открыл странный футляр из кожзаменителя, вытащил полевой бинокль «а-ля генерал Паттон» с пятисоткратным увеличением, поднес этого динозавра к глазам и повернулся в мою сторону. Сквозь толстые линзы на меня смотрели зрачки размером с бильярдный шар.

— Да, именно что нагло.

Благодаря постоянным отцовским опросам на тему народного языка и книге поэта Ишмаэла Рида (она многие годы лежала у нас в туалете на бачке) мне было известно, что «нагло пьются» — это значит, что черный мужчина поедает глазами белую женщину с юга. Отец направил бинокль на магазин, находившийся от нас метрах в ста: солнце Миссисипи отражалось от массивных линз, как два галогеновых фонаря. На крыльцо вышла молодая женщина с веником в руках: поверх ее полосатого платья был повязан фартук. Прикрыв ладонью глаза от света, она стала подметать крыльцо. Белые мужики, сидевшие, расставив ноги, разинули рты от такой ниггерской наглости.

— Вот это сиськи! — воскликнул отец так громко, что его, наверное, услышала вся белая округа. Вообще-то грудь у нее была не очень, но если смотреть через этот переносной аналог космического телескопа «Хаббл», второй размер вполне мог превратиться в дирижабль «Гинденбург» или аэростат «С Новым годом».

— Давай, парень!

— Что?

— Иди и свисти белой женщине.

И отец вытолкнул меня из машины. Поднимая слепящие клубы красной пыли, я перешел двухполосное шоссе, покрытое такой толстой и твердой, как камень, глиняной коркой, что было непонятно, заасфальтировано ли оно. Я покорно встал перед белой леди и засвистел. Вернее, попытался.

Мой отец не знал, что я не умею свистеть. Свист — одна из немногих наук, которым учат в государственной школе. Но я учился на дому, и все перемены проходили на крошечной хлопковой плантации на заднем дворе, где я должен был пересказывать по памяти всех конгрессменов времен Реконструкции: Бланше Брюс, Хирам Родс, Джон Рой Линч, Иосия Ти Уоллс... Казалось бы, это так просто, но я не знал, как складывать губы и выдыхать. Если на то пошло, я не умел показывать вулканский салют<sup>[147]</sup>, прорыгивать алфавит или показывать средний палец, не складывая пальцы другой руки в неоскорбительные жесты. Свисту также мало способствовал и тот факт, что мой рот был набит этими чертовыми крекерами: в результате я неритмично оплевывал полупережеванными крошками ее прелестный розовый фартук.

— Что творит этот полоумный придурок? — спросила друг друга белая троица, вытаращив на меня глаза, не забывая при этом отхаркивать курево.

Самый молчаливый из них наконец встал на ноги, поправил футболку с надписью «Долой ниггеров с гонок NASCAR»<sup>[148]</sup>, вытащил изо рта зубочистку и сказал:

— Так это ж «Болеро»! Негритенок насвистывает «Болеро».

Я возбужденно подпрыгнул и пожал ему руку. Конечно же, он был прав, я пытался воспроизвести шедевр Равеля. Может, я и не умел свистеть, но я всегда мог передать мелодию.

— «Болеро»? Ах ты паскудыш!

Это уже был папаша. Он выскочил из машины и направился в мою сторону с такой скоростью, что облако пыли вокруг него подняло собственное облако пыли. Он был зол: я не только не знал, как свистеть, но и не знал, что свистеть.

— Нужно свистеть как бабник. Вот так...

Продолжая нагло пялиться на девушку, отец издал такой оглушительно призывный свист, такой развратный, что у девушки завернулась красная ленточка в светлых волосах и поджались пальцы на ногах с аккуратным красным педикюром. Следующее слово было за ней. Отец стоял возле нее, весь такой черный и похотливый, а она не только нагло пялилась на него, но еще и нахально хватала его член через штаны и массировала ему промежность, словно изо всех сил месила тесто для пиццы.

Папа что-то быстро шепнул ей на ухо, сунул мне пять долларов, пообещав скоро вернуться, и они вдвоем сели в машину и рванули прочь по проселочной дороге. Бросив меня на суд Линча за свои преступления.

— Остался ли хоть один черный кобель, отсюда и до Натчеца, с кем бы не трахнулась Ребекка?

— По крайней мере она знает, чего хочет. Твоя тупая белая задница до сих пор не поймет, нравятся ей мужики или нет.

— Я бисексуал. Мне все нравятся.

— Щасс. Так не бывает. Или так, или эдак. Мужик запал на Дейла Эрнхардта, ну-ну<sup>[149]</sup>.

Пока старые товарищи обсуждали всевозможные проявления сексуальности, я, спасибо, что живой, зашел в магазин купить газировки. Но там предлагали только один бренд и один размер: кока-колу в маленьких бутылках. Я отвинтил крышку и стал наблюдать, как танцуют и переливаются на солнце образовавшиеся шипящие струи углекислоты. Я не смогу описать вкус кока-колы, зато когда этот эликсир с пузырьками полился в мою гортань, мне вдруг стало спокойно на душе и я понял старую присказку, смысл которой прежде не понимал.

Сидят на автобусной остановке реднек Бубба, ниггер и мексиканец. И вдруг — БАМ! — из облака дыма возникает джинн. Поправил он свой тюрбан на голове и рубиновые перстни на пальцах и говорит: «У каждого из вас есть одно желание. Загадывайте». Ну, ниггер говорит: «Хочу, чтобы все мои черные братья и сестры оказались в Африке и чтобы земля питала нас и все африканцы смогли процветать». Джинн взмахнул руками и — БАМ! — все негры исчезли из Америки и оказались в Африке. Тогда мексиканец говорит: «Ого, здорово! Хочу, чтобы все мексиканцы отправились в Мексику и чтобы мы жили хорошо, у нас было много работы и текила текла рекой». БАМ — и все мексиканцы исчезли из Америки. Тут джинн поворачивается к реднеку Буббе и спрашивает: «А ты чего желаешь, белый господин? Твое слово для меня закон». Бубба смотрит на джинна и спрашивает: «Так говоришь, теперь все мексиканцы в Мексике, а ниггеры в Африке?» — «Да, господин». — «Ну, что-то сегодня жарко. Я, пожалуй, хочу колы».

Вот какая вкусная была кола.

— С тебя семь центов. Оставь деньги на прилавке, мальчик. Твоя новая мамочка скоро вернется.

Десять бутылок и семьдесят центов спустя не появились ни моя новая мамочка, ни мой старый папочка, а мне ужасно захотелось ссать. Парни на заправке продолжали играть в шахматы: курсор того, что нас обслуживал, нерешительно колебался в углу доски, словно от следующего хода зависела

судьба всего мира. Потом он пошел конем.

— Не пройдет у тебя фокус с сицилийским гамбитом, диагонали на фиг открыты.

Мочевой пузырь был готов разорваться, и я спросил у черного Каспарова, где туалет.

— Только для клиентов.

— Но мой папа только что у вас заправлялся.

— Вот твой папа может хоть обоссаться. А ты пьешь колу у белых, как будто у них лед холоднее.

Я кивнул на кулер, уставленный точно такими же бутылочками:

— И почему?

— Один доллар пятьдесят центов.

— А через дорогу по семь центов.

— Покупай у черных или хоть обоссись. В буквальном смысле.

Выиграв по очкам, черный Бобби Фишер сжалился надо мной и указал на автостанцию вдалеке:

— Вон, видишь остановку? А туалет рядом в хлопкохранилище.

И я дунул по дороге. Хотя в хранилище уже никто давно не работал, в воздухе, словно колючие снежинки, кружили ошметки хлопка. Я пошел в конец здания, мимо хлопкоочистительной машины, пустых поддонов, ржавого вильчатого погрузчика и призрака Эли Уитни<sup>[150]</sup>. В сортире на одно очко кишели мухи. Сиденье и пол были липкими, доведенными до состояния матовой желтой глазури четырьмя поколениями работяг с бездонными мочевыми пузырями, вылившими на них бесчисленные галлоны чистой мочи. Этот запах несмытого расизма и дерьма заставил меня скривиться, и кожа на моих руках покрылась мурашками. Я медленно выбрался оттуда. На закопченной грязной двери, под надписью «Только для белых» я написал пальцем «Слава богу», а потом вышел на улицу и помочился на муравейник. Потому что остальная часть планеты, видимо, была «Только для цветных».

## Глава четырнадцатая

На первый взгляд Доны, холмистый район Лос-Анджелеса в шестнадцати километрах севернее Диккенса (туда, выйдя замуж за МС Панаша, переехала Марпесса) кажется зажиточным афроамериканским анклавом. Извилистые улочки, усаженные деревьями. Перед домами разбиты аккуратные японские садики. Колокольчики на дверях под порывами ветра вызывают песни Стиви Уандера. Перед домами гордо развеваются американские флаги и красуется предвыборная символика нечистых на руку политиков. Когда мы с Марпессой встречались, то иногда катались ночами на отцовском пикапе по здешним улицам со всякими испанскими названиями: Дон Луго, Дон Марино, Дон Фелипе... Мы смотрели на современные компактные домики с бассейнами, зеркальными окнами, отделанными камнем фасадами и застекленными балкончиками с видом на центр Лос-Анджелеса как на дома «семейки Брэди»<sup>[151]</sup>. Типа «В дверь стучатся чертовы Уилкоксы»<sup>[152]</sup>, чувак. Так ниггеры выпихнут их из „дома семейки Брэди“ на улице Дон Кихот». Мы с Марпессой мечтали когда-нибудь поселиться в таком домике и завести кучу детей. И самой большой неприятностью станет старший сын, которого мы напрасно заподозрим в курении, или наша дочь, которой расквасят нос футбольным мячом, или наша похотливая служанка, которая начнет вешаться на шею почтальону. А потом мы умрем и попадем в небесный синдикат, как все добропорядочные американские семьи.

Все эти десять лет, с тех пор как мы расстались, я регулярно парковался рядом с ее домом, и ждал, когда погаснет свет. И, приложив к глазам бинокль, я смотрел в него через приоткрытые занавески на жизнь, которую должен бы проживать с Марпессой я, — жизнь, где есть и суши, и скрэбл, и дети, рисующие за столом в гостиной или играющие с собакой. А когда они ложились спать, мы с Марпессой смотрели «Носферату» и «Метрополис», и я плакал как ребенок, когда в «Новых временах» Полетт Годар и Чарли Чаплин кружили вокруг друг друга, как собаки в течке, и это напоминало бы о нас. Иногда я пробирался на крыльцо и засовывал в решетчатую дверь фотографию подростка сацумы, а на обратной стороне подписывал: *Наш сын Кацуо передает тебе привет.*

В каникулы мало что можно сделать с сегрегацией школы, и тем летом, несмотря на судебное предписание, я проводил возле дома Марпессы времени больше, чем я бы признал на следствии. Пока одной



теплой августовской ночью она не припарковала свой двенадцатиметровый автобус возле собственного дома, вынудив меня прервать свой ритуал преследователя. Если «белые воротнички» берут работу на дом, когда не успевают, то чем чернокожие «синие воротнички» вроде Марпессы хуже? Сколько бы ты ни зарабатывал, по-прежнему верна пословица, что ты должен вкалывать в два раза больше белого, в половину больше китайца и в четыре раза больше последнего негра, нанятого управляющим до тебя. И все же я сильно удивился, увидев тут автобус сто двадцать пятого маршрута, задом перегородивший подъездную дорожку, а правыми передними колесами пропахавший край идеально ровной лужайки.

Стиснув в руке фото дерева, я еле протиснулся между кустами гардении и табличкой охранной фирмы Westec, встал на цыпочки и, сложив руки домиком, прильнул к боковому окну автобуса. Даже в прохладном полуночном воздухе корпус все еще оставался теплым и сильно пах бензином и потом рабочего класса. После дня рождения Хомини прошло уже четыре месяца, а наклейки «Места для пожилых, детей и белых» так и не убрали. Я вслух изумился, как это сошло Марпессе с рук.

— Она говорит, это художественный проект, ниггер.

Короткий ствол тридцать восьмого калибра, приставленный к моей щеке, был холоден и беспристрастен, но голос того, кто держал оружие, был, совсем наоборот, дружелюбный и не злой. Знакомый голос.

— Чувак, если б не запах коровьего навоза от твоих штанов, ты был бы мертв как хорошая черная музыка.

Стиви Доусон, младший брат Марпессы, развернул меня за плечо и заключил в свои медвежьи объятия. За ним стоял Каз с покрасневшими глазами, на его физиономии играла счастливая пьяная улыбка. Еще бы, кореш Стиви вышел из тюрьмы! Я тоже был рад Стиви, лет десять как не виделись. Слава о нем ходила еще покруче, чем про Каза. Стиви не примыкал ни к какой банде: он был слишком безбашенным для «калек» или слишком наглым для «кровников». Стиви терпеть не может погонял, потому что настоящему крутому перцу погоняло ни к чему. Некоторые бандюки откликаются на свои имена, но когда ниггеры говорят «Стиви» — это все равно что китайский омофон. Местные все знают. В Калифорнии может быть только две тюремные ходки, а в третий раз, даже за незначительное правонарушение, светит пожизненное. Но какой-то арбитр отменил один фол, и Стиви вернулся в игру.

— Как ты оказался на свободе?

— Его Панаш вытащил, — ответил за друга Каз, дав мне отхлебнуть «Танкеря» с почти таким же противным вкусом, как диетическая

грейпфрутовая газировка.

— Он что, выступал у вас со своим говенным концертом и вынес тебя в колонке?

— Нет, это все сила печатного слова. Между полицейскими комедиями и рекламой пива Панаш познакомился с несколькими важными белыми шишками. Пара писем — и вот он я. Условно-досрочно освобожденный мерзавец.

— На каких условиях?

— Что больше не попадусь, на каких еще.

В доме залаяла собака, на кухне раздвинули занавески, и на дорожку хлынул свет. Я дернулся, хотя нас было не видно.

— Да ты не бойся. Панаша нет дома.

— Я в курсе. Его никогда нет дома.

— Откуда знаешь? Что, опять преследуешь мою сестру?

— Кто там? — Это была Марпесса, спасла меня от неловкой ситуации. Я беззвучно сказал Стиви, что меня нет.

— Да это мы тут с Казом.

— Быстро оба домой, пока ничего не натворили.

— Сейчас, секундочку.

В первый раз я увидел Стиви, когда они еще жили в Диккенсе. Перед их домом стоял лимузин. В гетто нечасто такое увидишь, если только это не школьный выпускной. Черный длинный «кадиллак» от мини-бара до заднего стекла был битком набит хулиганами — друзьями Стиви: светло- и темнокожими, высокими и коренастыми, смышленными и не очень. Потом, на протяжении нескольких лет, они пропадали — по одному, по двое, в самые кровавые дни — по трое. Ограбления банков, продуктовых фур. Убийства. У Стиви остались только Панаш и Король Каз. Они действительно дружили, но дружба имела обоюдovýгодный характер. Панаш и так не был петушилой, но Стиви создал ему уличную репутацию как рэпера. Успех Панаша напоминал Стиви, что все возможно — главное, привлечь на свою сторону нужных белых людей. В то время Панаш воображал себя сутенером. Конечно, он заставлял девушек делать для него всякие дела, но какой ниггер так не делал? Помню, как в гостиную, поедая Марпессу взглядом, он читал рэп, который потом стал его первой золотой записью. А Стиви тогда для него диджеил.

Три часа ночи мормоны завалились ко мне на хату  
В тряпичных кроссовках и чувствуют себя хреновато.  
Обещают спасение ниггеру! мне!

Что там курил Бригам Янг<sup>[153]</sup> на своей луне?

Будь у Стиви девиз на латыни, он бы звучал так: *Cogito, ergo Boogieum*<sup>[154]</sup>. Я мыслю, следовательно, я джеймую.

— Какого тут стоит Марпессин автобус? — спросил я у Стиви.

— Ниггер, какого ты тут делаешь? — рывкнул он в ответ.

— Вот, я хотел оставить это для твоей сестры.

Я показал фото дерева сацума, которое Стиви вырвал из моих рук. Мне хотелось спросить, доходили до него или нет мои фрукты, которые я посылал ему все эти годы: папайю, киви, яблоки и голубику. Судя по его упругой коже, белизне глазных яблок, блеску волос, стянутых в «конский хвост», и вальяжности, с которой он оперся о мое плечо, — доходили.

— А она мне рассказывала про эти картинки.

— Она с ума сошла?

Стиви пожал плечами, уставясь на полароидный снимок.

— Автобус тут стоит, потому что они потеряли автобус Розы Паркс.

— Кто потерял автобус Розы Паркс?

— Белые, кто ж, блядь, еще? Я так понимаю, каждый февраль школьников таскают на экскурсии в музей Розы Паркс, а этот чертов автобус, где, как рассказывают детям, зародилось движение за гражданские права, на самом деле липовый, они типа притащили с какой-то бирмингемской свалки старый городской автобус. По крайней мере, так утверждает моя сестра.

— Я даже не знаю.

Каз сделал два глотка джина и заметил:

— Что значит «не знаешь»? Неужели ты думаешь, что после того, как Роза Паркс так вдарила по белой Америке, несколько белых реднеков будут лезть из кожи вон, чтобы сохранить оригинальный автобус? Это все равно как если бы «Селтикс»<sup>[155]</sup> повесили майку Мэджика Джонсона<sup>[156]</sup> на стропилах Бостон-гарден<sup>[157]</sup>? Короче, Марпесса считает, что идея со стикерами в автобусе — отличная. Заставляет ниггеров думать. Можно сказать, что она тобой гордится.

— Правда?

Я посмотрел на автобус. Попытался увидеть его в другом свете. Как нечто большее, чем сороконожку, спаянную из листового металла, из которой на подъездную дорожку капает трансмиссионная жидкость. Нет, я

представил, как эта иконографическая инсталляция элементарных прав свисает с потолка Смитсоновского института, а экскурсовод показывает на нее и говорит: «Перед вами тот самый автобус, в котором Хомини Дженкинс, последний из „пострелят“, провозгласил, что права афроамериканцев — не от Бога и не от Конституции, но духовные».

Стиви поднес фото к носу, вздохнул и поинтересовался:

— И когда созреют твои апельсины?

Мне так хотелось рассказать ему про зелено-оранжевые шарики и похвалиться собственной сообразительностью: ведь если закрыть землю возле каждого дерева белой водонепроницаемой пленкой, то они не будут перенасыщаться влагой, белая пленка отразит солнечный свет обратно на дерево, и это улучшит цвет плодов. Но я просто ответил:

— Скоро. Уже совсем скоро.

Стиви еще раз понюхал фотографию и сунул ее под широкий нос Каза:

— Прикинь, как пахнет, ниггер! Это и есть запах свободы!

А потом приобнял меня за плечи и сказал:

— Так что там у нас насчет черных китайских ресторанов?

## Глава пятнадцатая

Они шли на запах. В шесть утра я обнаружил свернувшегося калачиком на земле мальчишку: тяжело дыша, он пытался просунуть нос под мою калитку, словно похотливый пес. Он, казалось, радовался. Мальчик мне не мешал, так что я пошел доить коров. В Лос-Анджелесе почему-то вообще много аутичных детей — я решил, что это один из таких страдальцев. Но днем мальчик вернулся уже с целой компанией, а к полудню ко мне во двор набились все дети нашего квартала. Шел последний день лета: они сидели на траве и играли в «Уно»<sup>[158]</sup> — кто тише всех отобьется. Они пообдирали иголки с кактусов и утыкали ими друг другу зады. Они оборвали все розы и кусками каменной соли нацарапали свои имена на подъездной дорожке. Прибежали даже дети Лопесов, хотя у них был собственный нетронутый задний двор в два акра и приличных размеров бассейн. Лори, Дори, Джерри и Чарли окружили своего младшего брата Билли и ухохатывались над ним, когда он сел на сэндвич с арахисовым маслом. Потом какая-то маленькая девочка, не знаю чья, подошла, шатаясь, к вязу, и ее вырвало прямо на муравейник.

— Так, что за хуйня?

— Вонь пришла, — ответил Билли, дожевывая сэндвич с арахисовым маслом и, если судить по нитевидным лапкам на его губах, с мухами.

Я ничего не чувствовал. Билли потащил меня на улицу, и там я сразу понял, отчего девочке стало плохо. Вонь стояла просто сокрушительная: она в одночасье накрыла округу, словно метеоризм отца небесного. Боже. Да, но почему я раньше ничего не почувствовал? Я стоял посреди Бернар-авеню, а дети отчаянно манили меня обратно во двор, как солдаты Первой мировой призывали раненого товарища, подвергнувшегося атаке горчичного газа, срочно вернуться в относительно безопасные окопы. Я дошел до тротуара, и на меня повеяло бьющим в нос живительным цитрусом. Теперь ясно, почему дети не хотели покидать мою собственность: сацума ароматизировала пространство как трехметровый освежитель воздуха.

Билли дернул меня за штанину:

— А когда созреют ваши апельсины?

Я было хотел сказать, что завтра, но не успел, потому что зажал рот рукой и оттолкнул девочку от вяза, чтобы проблеяться, — не из-за вони: между зубов Билли застряли два красных мушиных глазка.

На следующее утро, в первый день учебного года, все соседские дети и их родители собрались у моей калитки. Молодежь, отмытая и одетая в новенькую школьную форму, обхватывала ладонями доски забора, пытаясь разглядеть через щели моих домашних животных. Взрослые (многие еще в пижамах) зевали, поглядывали на часы, перевязывали потуже пояса халатов и ссыпали в ладошки отпрысков деньги на непастеризованное молоко, по двадцать пять центов за банку. Я сочувствовал родителям: я тоже устал, потому что всю ночь, несмотря на Вонь, возводил воображаемую школу только для белых.

Определить зрелость сацумы не так-то просто. Ни цвет, ни текстура не показатель. Запах — получше, но лучше всего просто пробовать. Однако рефрактометру я все равно доверяю больше, чем собственным рецепторам.

— Ну, сколько там, *масса*?

— Шестнадцать и восемь.

— Это хорошо?

Я кинул ему один апельсин. Когда сацума готова, кожура такая мягкая, что буквально отходит сама. Хомини засунул его в разинутый рот, — и, дурачась, упал как бы замертво в траву. Да так ловко, что даже петух перестал грести землю, испугавшись, что старик и впрямь помер.

— Ой.

Дети подумали, что ему больно, и я тоже, пока он не растянул губы в широкой и ласковой, как восходящее солнце, улыбке («Да, сэр начальник, вкуснотища!»). В несколько приемов он поднялся на ноги, потом прошелся чечеткой, потом колесом и остановился у забора, показав всем, что есть в нем еще и ловкость, и водевильный задор.

— Я вижу белых!!! — воскликнул он, закатив глаза в притворном испуге.

— Впусти их, Хомини.

Он приоткрыл калитку, словно занавес в негритянском театре сети Читлин<sup>[159]</sup>:

— Один маленький черный мальчик сидит на кухне с мамой и смотрит, как она жарит курицу. Видит миску с мукой и посыпает ею лицо. «Мама, посмотри, я белый!» «Что ты говоришь?» — переспрашивает мама, и мальчик повторяет: «Мама, гляди, я белый!» И тут — БАМС! — он получает затрещину! «Никогда так больше не говори!» — говорит она и отправляет сына к отцу. Рыдая как Ниагарский водопад, мальчик идет к папе. «Что случилось, сынок?» — «Мама дала мне затрещину». — «Да, и за что же?» — спрашивает отец. «П-потому что я с-сказал, что я б-белый». — «Что?!» И тут отец — БАМС! — лепит ему затрещину, да еще звонче

предыдущей. «Иди к бабушке и расскажи, что ты натворил! Пусть она тебя поучит уму-разуму!» Ну, мальчик плачет, дрожит, весь в расстройстве. Приходит он к бабушке. «Что такое, мой хороший, почему плачешь?» — спрашивает бабушка. «Папа с мамой вlepили мне по затрещине». — «Как? За что?» И мальчик рассказывает с самого начала, а когда он замолчал — БАБАХ! — бабушка как вдарит ему, чуть с ног не сбила. «Никогда так больше не говори, — возмущается бабушка. — А теперь отвечай, что ты понял». Мальчик потирает кулаком лоб и отвечает: «Я понял, что всего десять минут побыл белым, и уже страсть как вас, ниггеров, ненавижу!»

Дети не могли понять, он шутит или просто пустословит, но все равно смеялись. В его словах, интонациях, в когнитивном диссонансе от слова «ниггер» из уст человека, старого, как само это оскорбление, каждый видел что-то смешное. Большинство детей никогда не видели его фильмов. Они просто знали, что он звезда. Преимущество искусства менестрелей — в безвременности. В убаюкивающей вечности, его вялом потрясывании конечностей в ритме боджангл, в ритме джуба, в величественной глубине его джайва, когда он загонял детей на ферму, рассказывая эту шутку на испанском невнимательной толпе, бегущей мимо него, с кружками и термосами в руках, и распугивающей кур.

*Un negrito está en la cocina mirando a su mamá freir un poco de pollo...  
¡Aprendí que he sido blanco por solo diez minutos y ya los odio a ustedes  
mayates!*

Говорят, завтрак считается важнее обеда и ужина, к тому же многие из этих детей едят один раз в день. Поэтому кроме молока я предложил ребятам и взрослым по сочному мандарину. Раньше в первый день учебного года я дарил леденцы и давал детям покататься на лошади: сажал их по трое в седло и вез до школы. Теперь нет. Хватило случая, когда два года назад шестиклассник Киприано Мартинес с Прескотт-Плейс, полусальвадорец-получерный, решил скорчить из себя Одинокого рейнджера и — вперед, Сильвер! — смотался куда подальше от жестоких родичей. Мне пришлось топать аж до Панорама-Сити, ориентируясь на теплые кучи конского навоза, пока я не отловил парня и лошадь и не вернул их обратно.

Я подхватил под локти двух мальчишек, подобранных к конюшне, и поднял их в воздух.

— К лошадям — не подходить.

— Мистер, а можно к апельсиновому дереву?

Не в силах противостоять манящему аромату сацумы и дожидаться обеденного перерыва или «мыльной оперы, чтобы перекусить» мои покупатели столпились под мандариновым деревом, виновато опустив глаза. Их губы блестели от еще не высохшей фруктозы, а земля была усыпана кожурой.

— Ешьте сколько хотите, — сказал я.

Мой отец говаривал: «Дай ниггеру палец, по локоть откусит». Никогда не понимал, как это «по локоть», но в данном случае это означало, что они ободрали все драгоценное дерево сацума. Хомини, поддерживая обеими руками свой раздувшийся, как на пятом месяце, живот, беременный как минимум двадцатью цитрусовыми детками, медленно подошел ко мне.

— Эти ненасытные ниггеры сожрут все ваши апельсины, *масса*.

— Ничего страшного, мне их нужно всего-то парочка.

И в доказательство моей правоты от ветки, словно пытаюсь избежать участи быть съеденным, оторвался толстый, отборный мандарин и подкатился прямо к моим ногам.

Неугомонный Хомини с сияющей, как солнце, улыбкой, безостановочно треща сладким от сацумы языком, выманивал детей прочь со двора навстречу злой судьбе. Вслед за ними шли их довольные гиперопекающие родители. Процессию замыкал я. Ко мне подошла Кристина Дэвис и крепко схватила за руку. Своей долговязостью и крепкими зубами она была обязана мне, многие годы поившему ее парным молоком.

— А где твоя мама? — поинтересовался я.

Кристина тихо приложила палец к губам и вздохнула.

Еще до того, как беспокойные родители с помощью микронаушников начали контролировать каждый шаг своих чад, в местах вроде Диккенса, по дороге от дома до школы и обратно можно было узнать гораздо больше, чем на уроках. Мой отец это прекрасно понимал и в продолжение внешкольного обучения часто высаживал меня в незнакомом районе, чтобы я сам добрался до места учебы. Такие уроки социального ориентирования, с той лишь разницей, что у меня не было ни карты, ни компаса, ни сухого пайка, ни словаря-разговорника с одного сленга на другой. К счастью, в округе Лос-Анджелес определить уровень опасности того или иного района можно по цвету уличных табличек. В самом Лос-Анджелесе это темно-синий металл с выбитой надписью. Если на знаке птичье гнездо из сосновых иголок — значит, поблизости вечнозеленые деревья или поле для гольфа. В таких местах в основном встречаются белые дети из



государственных школ, чьи родители не по средствам живут в районах для «верхнего среднего класса» — в Чевииот-Хилз, Силвер-Лейк и Пэлисейдс. Дырки от пуль или угнанная и намотанная на столб машина означали детей примерно с такими, как у меня, волосами, уровнем доходов и стилем одежды — Уоттс, Бойл-Хайтс и Хайленд-Парк. Небесно-голубые таблички означали крутые спальные районы — Санта-Монику, Ранчо Палос-Вердес и Манхэттен-Бич. Тут живут неприветливые пижоны, добирающиеся до школы всеми возможными способами — хоть на скейтборде, хоть на дельтаплане: на их щеках отпечатаны поцелуи их матерей, удачно вышедших замуж за папиков. Районы Карсон, Хоторн, Калвер-Сити, Саут-Гейт и Торранс маркированы табличками пролетарского цвета «зеленый кактус», тамошние обитатели независимы, хорошо понятны и многоязычны: свободно ориентируются в испанских, негритянских и самоанских бандитских знаках. В Эрмоса-Бич, Ла-Мирада и Дуарти таблички имеют оттенок дешевого купажного виски. По утрам сонные дети уныло плетутся в школу вдоль череды двухэтажных домов типовой застройки. Сверкающие белые таблички — это, конечно, Беверли-Хиллз. Широкие улицы, идущие то под уклон, то вниз, и кругом — дети богатых. Их не волнует мой внешний вид. Раз я здесь, значит, я свой. Они расспрашивают про натяжение моих теннисных ракеток и обучают меня истории блюза, хип-хопа, растафарианства, Коптской церкви и джаза, учат Евангелию и тысяче способов приготовления сладкого картофеля.

Мне хотелось отпустить Кристину на волю. Чтобы она отправилась в школу самым окружным путем. Чтобы пробежала одна по улицам Диккенса с черными табличками и с отличием прошла курс шатания по городу. Прослушала курс лекций по уговариванию друга войти в закусочную Bob's Big Boy, чтобы он украл с прилавка утренние чаевые. Чтобы написала собственное исследование поэзии, рождающейся из радуги от брызгов воды дождевальная машины, из призывного щебета проститутки-«жаворонка» в сиреновом топе с блестками, с бульвара Лонг-Бич... Я хотел бы отпустить Кристину, но мы уже дошли до школы, и прозвенел звонок.

— Беги, ты опаздываешь.

— Да все уже опоздали, — сказала она и побежала к подружкам.

Опоздали все. Школьники, учителя, технические работники, родители, опекуны — все столпились возле школы Чафф, не обращая внимания на звонок, и разглядывали свежееиспеченных конкурентов, возникших через дорогу.

Публичная школа Академии Уитон с изучением естественных, гуманитарных и общественных наук, бизнеса, моды и всего остального представляла собой современное здание из панелей зеркального стекла, похожее скорее на «Звезду смерти», чем на учебное заведение. Учебный корпус был белым и нереально огромным. Конечно, самого здания в реальности не было, поскольку Академия Уитона являла собой фальшивую стройплощадку. Пустой участок земли огородили синим фанерным забором с небольшими квадратными окошками, чтобы прохожие могли наблюдать за ходом строительства здания, которому не суждено было появиться на свет. Школа была всего лишь отличной репродукцией акварели, изображающей Центр морских исследований в Университете Восточного Мэна. Я скачал файл, увеличил, распечатал, заламинировал и прикрепил к воротам, запертым на велосипедный замок. Учащихся изображали будущие танцовщики, дайверы, скрипачи, фехтовальщики, волейболисты и гончары, чьи черно-белые фото я позаимствовал на сайтах Intersection Academy и Хаверфордского колледжа в Медоубрук, увеличил их, распечатал и расклеил на заборе. Особо пытливые умы могли догадаться, что размер участка, выделенного под стройку, в действительности был раз в десять меньше, чем нужно для здания. Но если верить красным буквам под картинкой, то все свидетельствовало о том, что «Уже скоро!» тут появится настоящая Академия Уитона.

Но точно не в Диккенсе, хотя местные родители, при всей их мнительности, так мечтали увидеть своих чад рядом с англосаксонскими детьми в брекетах, таких же ослепительных, как и их будущее. Одна мамочка так испереживалась, что, ткнув пальцем в фото прилежного ученика и внимательного учителя, склонившихся над результатами спектрографа, направленного прямо на звезды, задала Карисме вопрос, который вертелся в голове у каждого:

— Мисс Молина, а как попасть в эту школу? Нужно пройти тест или как?

— Что-то вроде этого.

— В каком смысле?

— Что объединяет детей на этих фотографиях?

— Они белые.

— Вот вы сами и ответили. Если ваш ребенок пройдет этот тест, его примут. Но я вам этого не говорила. Так, заканчиваем балаган: кто собирается учиться — заходите в школу, потому что сейчас я запру двери. *Vátonos*, народ.

Когда ровно в 9:49 к Розенцранц подкатил автобус, выпустив клубы

ядовитого дыма, толпа давно рассосалась. Мы с Хомини сидели на остановке, курили косяк, а я бережно держал два последних мандарина сацумы. Марпесса открыла дверь автобуса с перекошенной злобной физиономией, на которой читалась смесь презрения и отвращения, словно у хэллоуиновской маски злой африканки. Так она могла напугать коллег или ниггеров на перекрестке, но не меня. Я кинул ей два мандарина, и она уехала, даже не сказав спасибо.

Метров через сто пятьдесят автобус 125, тормоза которого были изношены, как башмаки бродяги, с душераздирающим визгом остановился, подал назад и резко повернул вправо. Мы с Марпессой всерьез ругались по одному-единственному поводу: считать ли тройной поворот направо поворотом влево. Марпесса настаивала, что да. Я же считал, что можно, конечно, три раза бессмысленно повернуть направо вместо того, чтобы просто свернуть налево, но тогда ты окажешься за квартал от точки старта. Когда автобус вернулся обратно к остановке, таким образом доказав, что пара неразрешенных разворотов возвращает тебя в исходную точку, 9:49 уже превратились в 9:57.

Открылись двери, Марпесса по-прежнему сидела за рулем. Но на этот раз она была перемазана соком сацумы и не могла сдержать улыбки. Этот освободительный щелчок и жужжание уезжающего в никуда ремня безопасности не перестают меня радовать. Марпесса смахнула с колен кожуру и вышла из автобуса.

— Ладно, Бонбон, твоя взяла, — сказала она, вытащила у меня изо рта джойнт и, покачивая своей идеальной пухлой задницей, вернулась в автобус.

Извинившись перед пассажирами за небольшую заминку, и никак не за запах, она пристегнулась и влилась в поток транспорта. Марпесса выпускала дым в приоткрытое водительское окно и пальцем с розовым ногтем дерзко стряхивала пепел прямо на улицу. Она не знала, что курила Афазию. Так что проехали. Или, как говорят у нас в Диккенсе, *Is exsisto amo ut interdum*. Всякое бывает.

## Глава шестнадцатая

Позднее тем же днем я, как любой порядочный социальный пироманьяк, стоящий своего катализатора, вернулся к месту преступления. Единственным дознавателем, которого я там обнаружил, оказался Фой Чешир. Впервые за двадцать с лишним лет он рискнул покинуть пределы «Пончиков Дам-Дам», ступил на грешную землю современного Диккенса. Заехав своим «мерседесом» на тротуар, Рой стоял у синего забора вокруг будущей Академии Уитон и щелкал дорогим фотоаппаратом. Из седла (я остановил лошадь через дорогу, у школы Чафф) мне было видно, как он сделал снимок, а потом что-то записал в блокнот. Надо мной, на втором этаже, приоткрылось окно: школьница, оторвавшись от микроскопа, который даже Левенгук назвал бы допотопным, высунула голову на улицу и посмотрела на фотографию вундеркинда из Академии Уитон размером с Годзиллу, уставившегося в электронный микроскоп, которому обзавидовались бы даже в Калифорнийском технологическом институте.

Тут на другой стороне улицы меня заметил Фой. Сложив ладони рупором, он стал громко звать меня; по Розенкранц туда-сюда с ревом мелькали машины, и я то видел и слышал его, то нет, как в игре «ку-ку».

— Эй, Продажная тварь, ты видал? Чьих это рук дело? Знаешь?

— Знаю!

— Ну-ну, знаешь ты. Только силы зла могли воткнуть школу для белых посреди гетто.

— Ну и кто, например? Северные корейцы, что ли?

— Какое дело северным корейцам до Фоя Чешира! Нет, это заговор ЦРУ, а может, бери выше, НВО тайно снимает про меня документальный фильм! В общем, какая-то подлянка. Которую, если бы ты последние два месяца ходил на заседания... Кстати, ты знаешь, что какой-то подонок-расист расклеил в автобусе наклейки про сегрегацию?..

Бывало, перестрелку на дороге удавалось предугадать, если вдруг машина, едущая навстречу, возле тебя без причины замедляет ход. Горловой рев шестицилиндрового двигателя, внезапно сбавившего обороты до первой скорости, — это городской эквивалент щелчка, с которым охотник взводит курок и затем поражает дичь. Только новые гибридные энергосберегающие машины ни фига не слышно. К тому моменту, когда до тебя дойдет, зад твоего серебристо-белого «мерса» уже прошьет пуля, и противники, проорав: «Ты, черная задница, вали в свою белую Америку,

ниггер», — спокойно уезжают на тачке с расходом топлива в четыре литра на восемьдесят восемь километров. Кажется, я узнал этот смех и эту тонкую черную руку, сжимающую знакомый револьвер — точь-в-точь как тот, что пару недель тому назад приставил мне к виску брат Марпессы Стиви. Стрелять из электромобиля — это, по всем признакам, боевая тактика Каза. Я стал переходить дорогу, чтобы узнать, все ли в порядке, и явственно ощутил запах апельсина, который один из бандитов бросил Фою в голову, — это была моя сацума.

— Фой, ты как?

— Не прикасайся ко мне! Это война, и я знаю, на чьей ты стороне!

Я посторонился. Фой, продолжая бормотать что-то про заговоры и преследования, отряхнулся, а потом решительно направился к машине, словно покидая осажденные Филиппины. Дверь «крыло чайки» его классического спорткара открылась. Перед тем как сесть за руль, Фой замешкался, надевая очки-«пилоты», и по-генеральски произнес:

— Я еще вернусь, ублюдок! Клянусь!

Девочка на втором этаже надо мной закрыла окно и вернулась к микроскопу: мелко моргая, она навела фокус на стеклышко, покрутила его, а потом записала выводы в тетрадь. В отличие от нас с Фоем она воспринимала жизнь как есть, зная, что в Диккенсе бывает всякое, даже то, чего не бывает.

## **Яблоки и апельсины**

## Глава семнадцатая

Я фригиден. Не в том смысле, что не испытываю сексуального влечения, а в том отвратительном понимании, когда мужчины в знаменитые «свободной любовью» семидесятые проецировали собственные сексуальные проблемы на женщин, обзывая их фригидными или «снулыми рыбами». Я самая снулая рыба, какая бывает. Я трахаюсь как гуппи, всплывшая на поверхность кверху брюхом. В тарелке со вчерашним сашими и то больше жизни, чем во мне. Так что в тот день стрельбы и апельсиновых покушений я лежал на кровати без движения, а Марпесса терлась о мой лобок своей *pudenda*<sup>[160]</sup>, засунув мне в рот язык, подозрительно отдававший терпкостью сацумы. Я пристыженно закрыл лицо руками, потому что трахнуть меня — все равно что возбудить мумию Тутанхамона. Когда я так себя вел, Марпесса никогда не притворялась: она дергала меня за уши, мяла меня, колотила по мне, как по выброшенной на берег китовой туше, вымещая свою злость, и мне хотелось, чтобы этот матч-реванш никогда не кончался.

— Ты хочешь сказать, что мы снова вместе?

— Я подумаю над этим.

— Ты не могла бы думать чуть побыстрее и немного правее, пожалуйста. Да, вот так.

Марпесса единственный человек, который сумел поставить мне диагноз. Даже отец не раскусил. Если я путал Мэри Маклауд Бетьюн<sup>[161]</sup> с Гвендолин Брукс<sup>[162]</sup>, отец восклицал: «Ниггер, я, блин, вообще не понимаю, что с тобой за хуйня!» — и в мое лицо летел 943-страничный том «БДСМ IV (Болезни диссоциативно-сексуальной мнительности у черных, четвертое издание)».

А Марпесса разобралась. Мне было тогда восемнадцать. Двумя неделями раньше я сдал экзамены за первый семестр. Мы с Марпессой сидели в гостинице. Она листала БДСМ IV в старых пятнах моей крови, я лежал в своей обычной посткоитальной позе, свернувшись калачиком, как испуганный броненосец, и проливал слезы неизвестно почему.

— Вот, я нашла, что с тобой, — сказала она и прилегла рядом. — У тебя нарушение привязанности.

И почему людям надо стучать по книге, когда они правы? Вполне достаточно чтения вслух. Совершенно необязательно самодовольно тыкать пальцем.

— Нарушение привязанности. Неадекватное социальное поведение, сопровождающееся состоянием тревоги и связанное с проблемами личностного роста. Первые признаки наблюдаются примерно в возрасте пяти лет. Как следует из пунктов 1 и/или 2 ниже, НП может тянуться годами, продолжаясь и в зрелом возрасте.

1. *Хроническая неспособность сформировать адекватный возрасту эмоциональный отклик или инициировать привязанность в моменты социализации (например, когда реакция ребенка или взрослого на родителей, воспитателей или чернокожих возлюбленных представляет собой смесь притяжения, отторжения и избегания утешения. Может проявлять сдержанную подозрительность).*

В популярном пересказе: ниггер морщится и шарахается от малейшего прикосновения. Обливается то холодным, то горячим потом. У него практически нет друзей. Он или смотрит на вас так, словно вы спустились с небес, или плачет как баба.

2. *Размывание привязанности. Выражается в неразборчивой социализации при одновременной неспособности к избирательности и тесным отношениям с чернокожими и др. (например, чрезмерная фамильярность с малознакомыми людьми и неизбирательность в выборе объекта привязанности).*

В популярном пересказе: это когда ниггер трахается с белыми шлюшками из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Удивительно еще, что мы так долго с ней протянули.

Я смотрел на ее размытый силуэт в ванной, а потом она выглянула из-за клетчатой, как шахматная доска, занавески. Я и забыл, что у нее тело — цвета темного шоколада. И как она прекрасна со своими мокрыми кудряшками, налипшими на щеки. Иногда поцелуй самый сладкий — когда он короткий. Ну а ее выбритый лобок можно обсудить и в другой раз.

— Бонбон, сколько у нас времени?

— У нас с тобой — с этой секунды и до бесконечности. Если же ты про сегрегацию, то хочу успеть до Дня гетто. На это у меня в запасе полгода.

Марпесса затащила меня в ванную и вручила тубик с абрикосовым скрабом, который так и лежал у меня с тех пор, как мы расстались. Я втирал гранулы эксфолианта ей в спину мягкими полукруглыми движениями, словно писал ей послания. Она всегда умела их читать.



— Потому что что этот ниггер Фой, что остальной мир — рано или поздно они до тебя дотянутся. Плюнь ты на эту сегрегацию. Ты же знаешь, что они не очень-то обожали Диккенс, еще когда он существовал.

— Так это ты сидела в той машине сегодня?

— Да, блин. Каз с братом забрали меня после работы, и мы поехали в Диккенс, а потом пересекли эту белую черту, которую ты нарисовал. Знаешь, как будто ты попал на отвязную вечеринку, и гремит музло, и в груди долбит бит, и ты думаешь: умри я прямо сейчас — и мне было бы до пизды. Что-то вроде этого. Пересечь черту.

— И ты кинула в него этот сраный апельсин. Я так и знал.

— Да, и попала в его мерзкую харю.

Она прижалась ложбиной своей пышной попы к моему паху. Ей надо было возвращаться к детям, и времени у нас было в обрез, но она меня знала и знала, что нам долгих часов не нужно.

Марпесса хоть и заводилась как будто ей семнадцать, все равно считала, что обороты нужно набирать постепенно. Она работала по выходным, да еще сверхурочные, поэтому мы встречались по понедельникам и вторникам. Ходили по вечерним магазинам, в поэтические кофейни и, что было для меня труднее всего, в Комеди-клуб «Лихва». Марпесса отрицательно отнеслась к моей шутке с Академией Уитон и считала, что мне нужно развивать чувство юмора и научиться рассказывать шутки. Когда я заартачился, она сказала:

— Слушай, ты не единственный черный, который не может трахаться, но я отказываюсь встречаться с единственным человеком на земле, лишенным чувства юмора.

О том, что Лос-Анджелес — чудовищно расово сегрегированный город, говорит все — от музыкальных клубов и тюрем до того факта, что корейские фургончики с тако встречаются только в белых кварталах. Но стендап-клубы — это настоящие центры социального апартеида. Диккенс тоже внес свою скромную лепту в старую традицию черных шутников, организовав вечера «открытого микрофона» под эгидой дам-дамовцев. Каждый второй вторник заведение превращалось в клуб на двенадцать столиков под названием «Комедийный процесс и форум за свободу афроамериканских шуток и острот, где с лихвой афроамериканских юмористов, которые...» — мне никогда не хватало терпения дочитать до конца транспарант, который начинался над вывеской пончиковой и заканчивался в дальней точке парковки. Я просто называю это «Лихва» — поскольку, несмотря на заявления Марпессы, что у меня нет чувства юмора, в нашей стране — с лихвой унылых черных парней, которые, как

любой черный спортивный комментатор, стремящийся выдать себя за умного, злоупотребляет словом «лихва».

Например:

Вопрос: Сколько нужно белых, чтобы вкрутить лампочку?

Ответ: С лихвой! Потому что они украли ее у черного! У Льюиса Латимера<sup>[163]</sup>, который изобрел и лампочку, и с лихвой всякой другой фигни.

Уверяю, шутка с лихвой сорвала бы аплодисменты. Любой чернокожий, независимо от его политических взглядов, в глубине души считает себя круче всех в мире в трех вещах: в баскетболе, рэпе и умении шутить.

Это я несмешной? Слышала бы Марпесса моего папочку! Когда черные стендап-клубы переживали свой рассвет, он таскал меня на вторичные «открытые микрофоны». История афроамериканского движения знает только двух человек, начисто лишенных способности шутить: это Мартин Лютер Кинг-младший и мой папочка. Ведь даже в нашей «Лихве» местные «комедианты» иногда могут непреднамеренно сказать что-нибудь смешное. «Я прослушиваюсь у Тома Круза на роль в его новом фильме. Том Круз играет умственно-отсталого судью...» Проблема «открытых микрофонов» в Диккенсе состояла в отсутствии ограничений по времени, потому что «время» — концепция белых, и это сочеталось с тем, что у моего отца не было и чувства времени. По крайней мере доктору Кингу хватало ума не шутить. Отец же шутил так же, как заказывал пиццу, сочинял стихи или писал докторскую — в формате АПА, Американской психологической ассоциации. Выйдя на сцену, он представлялся, потом объявлял название шутки. Да-да, название шутки. «Это шутка называется „Расовые и религиозные отличия среди пьющей клиентуры“». Потом излагал резюме шутки. То есть вместо того, чтобы просто сказать: «Приходят в бар раввин, падре и негр», отец вещал: «Субъектами данной шутки являются трое мужчин: двое из них — лица духовного звания, первый представляет иудаизм, второй — католицизм. Вероисповедание афроамериканского респондента и уровень его образования не указаны. Действие разворачивается в лицензированном питейном заведении. Нет, погодите, в самолете. Ой, простите, ошибся. Они собираются прыгать с парашютом». Наконец, откашлявшись, он придвигал к себе микрофон и приступал, как он говорил, к «основному содержанию» шутки. В комедии всё как на войне. Если шутки удались, то они убивают. Если не удались,

считай себя убитым. Но отец на сцене не убивался. Он мучился за безымянного несмешного чернокожего, который, как и инопланетная жизнь, все-таки где-то есть. Я видел примеры самопожертвования, но даже они были смешнее моего отца. В клубе не было ни предупреждающих гонгов, ни длинных тростей, с помощью которых можно было бы стащить отца со сцены. Под общее улюлюканье он рассказывал свою шутку от названия до «Выводов». Выводами из шутки были многозначительный кашель, зевота или гул неодобрения. Под конец еще он цитировал список источников:

Эл Джолсон<sup>[164]</sup> (1918) «Самбо и Мэмми готовятся ко взлету с пятой полосы», «Ревю Зигфельда»<sup>[165]</sup>;

Берт Уильямс<sup>[166]</sup> (1917) «Если б ниггеры умели летать», «Черные клубы и площадки Читлин»;

Неизвестный менестрель (circa 1899). «Водевиль про то, как чертовы белые пиздят мои вещички», Дворец полумасонов, Кливленд, Огайо.

— Да, и не забудьте про чаевые официантке.

Уставшая за день от перевозки народных масс, Марпесса все равно настояла, чтобы мы пришли заранее, и мое имя оказалось первым в списке выступающих. Передать не могу, до чего я боялся, как ведущий объявит: «А теперь поприветствуем Бонбона!»

Я стоял на сцене и, казалось, смотрел на происходящее со стороны. Таращился в зрительный зал и видел в первом ряду самого себя, с тухлыми помидорами, яйцами и гнилым салатом наготове, чтобы закидать ими этого полудурка, пересказывающего запыхавшиеся, антикварные шутки Ричарда Прайора<sup>[167]</sup>, которые он только мог вспомнить с пластинок своего отца. Но каждый вечер вторника Марпесса все равно вытаскивала меня на сцену, упорно повторяя, что никакого секса не будет, пока я ее не рассмешу. Обычно после моего так называемого номера я возвращался за столик, а Марпесса крепко спала — не знаю, то ли от усталости после работы, то ли от скуки. Но однажды я все-таки рассказал собственную шутку. В знак уважения к отцу у нее было название, правда довольно длинное: «Почему водевильная кутерьма Эбботта и Костелло<sup>[168]</sup> не смешит черных».

Кто на первой базе?

Не знаю. Твоя мама.

Тут Марпесса чуть не обоссалась от смеха и сползла со стула. И я понял, что сегодня ночью сексуальная засуха закончится.

Считается, что над собственными шутками не смеются, но все лучшие комики делают именно так. Как только «открытый микрофон» закончился,

я пулей вылетел из клуба и прыгнул в припаркованный рядом автобус номер 125: Марпесса, опасаясь, что у нее отберут этот музей на колесах, пользовалась им как собственной машиной. Она даже не успела снять автобус с ручника, как я уже лежал раздетый на заднем сиденье, готовый к быстрому перепиху. Марпесса вытащила из-под водительского сиденья большую картонную коробку, проволокла ее по полу через салон и вывалила на меня все ее содержимое, похоронив мою томительную эрекцию под слоем компьютерных распечаток, табелей успеваемости и отчетов о проделанной работе.

— Что это за хуйня? — спросил я, скидывая с себя всю эту бюрократию, потому что моему члену требовался простор.

— Выступаю как лучшая подруга Карисмы. Рано говорить, прошло всего полтора месяца, но план сегрегации уже дает свои результаты. Успеваемость повышается, число нарушений дисциплины идет на спад. Но Карисма хочет, чтобы ты обосновал полученные результаты статистическим анализом.

— Черт побери, Марпесса! На то, чтобы засунуть все это обратно в коробку, уйдет столько же времени, сколько на сами вычисления.

Марпесса схватила мой член за основание и сжала.

— Бонбон, ты стыдишься, что я работаю водителем?

— Что? С чего ты это взяла?

— Ни с чего.

Никакие ласки и поцелуи в уши моей возлюбленной не убрали с ее лица задумчивость, а ее соски не твердели. Заскучав от моих дурацких прелюдий, она засунула краешек ведомости с оценками мне в уретру и нагнула мой член так, чтобы я мог читать ведомость как обеденное меню. Какой-то шестиклассник Майкл Гальегос записался на какие-то там дополнительные предметы и получает по ним оценки, которые я не мог разобрать. Но, если верить комментариям учителя, у него наблюдается прогресс в арифметическом мышлении.

— «Пиар», что это за оценка такая?

— Профессиональные результаты.

Карисма интуитивно ухватила самую психологическую суть моего плана, еще когда я только начал ее осознавать. Она поняла, что черные желают доминирующего белого присутствия рядом с собой, символом которого стала Академия Уитон. Потому что знала: если и сегодня, во времена расового равенства, рядом появляются те, кто блее, богаче, чернее или китаистее нас, у нас тотчас же возникает потребность произвести впечатление, вести себя подобающе, заправлять рубашку в штаны,

исправно делать домашнее задание, не опаздывать, делать удачные штрафные броски, поучать и всячески доказывать свою состоятельность в надежде, что нас не уволят, не арестуют, не увезут в неизвестном направлении и не пристрелят. В сущности Академия Уитон хочет донести до своих студентов те же слова, которые произнес Букер Ти Вашингтон, великий просветитель и основатель Университета Таскиги, обращаясь к своим необразованным братьям: «Набирай полное ведро, пока есть вода». И хотя мне всегда было непонятно, почему именно ведра, почему недалёковидный Букер Ти Вашингтон не мог рекомендовать книги, логарифмические линейки или ноутбуки, мне всегда импонировала тяга его и Карисмы иметь под рукой белый паноптикум. Поверьте, то, что Иисус, главы НБА, НФЛ и голоса наших GPS-устройств (даже если они произведены в Японии) белые — это неспроста.

Нет сильнее афродизиака, чем расизм и табель в уретре: поэтому когда полуобнаженная Марпесса взгромодилась на меня, ее голова и головка моего члена сонно замерли у меня на пупке. Все еще сжимая мой фаллос, Марпесса улетела в снах туда, куда мечтают попасть все водители автобусов. Возможно, это была летная школа, потому что у Марпессы во сне автобусы умеют летать. Они прибывают точно по расписанию и никогда не ломаются. Они ездят по радуге как по мосту, и облака для них — это автобусные парки, а рядом, как истребители, парят инвалиды-колясочники, словно осуществляя сопровождение бомбардировщика. Выйдя на крейсерскую высоту полета, Марпесса разгоняет стаи чаек и перелетных ниггеров, отправляющихся на юг на всю оставшуюся жизнь, гудком, который не библикает, а играет песни Roxu Music, Bon Iver, Санни Ливайна<sup>[169]</sup> и песню Нико «В эти дни». И все пассажиры зарабатывают достаточно для жизни. И Букер Ти Вашингтон, частый пассажир ее автобуса, говорит: «Как увидишь космическую продажную тварь Бонбона, любовь всей твоей жизни, спускай свои трусики немедленно...»

## Глава восемнадцатая

Наступил ноябрь, с дня стрельбы прошло примерно полтора месяца, и я достиг больших успехов в отношениях с Марпессой и куда меньших в деле сегрегации Диккенса и повышения урожайности картофеля в Южной Калифорнии: меня отвлекал более-менее регулярный секс. Почему не растет картофель, я знал — из-за слишком жаркого климата. Что же до разделения людей по расовому признаку, тут на меня нашло затмение — а День гетто все приближался. Возможно, я ничем не отличался от других современных художников и был способен всего на одну книгу, один альбом, одно отвратительное деяние, полное огромной ненависти к себе. Мы с Хомини отправились на грядки, отведенные под картофель. Я, стоя на четвереньках, проверял состояние компоста, плотность грунта и втыкал в землю красно-коричневые семенные клубни, а Хомини генерировал идеями решения проблемы сегрегации, забив при этом хуй на свою основную обязанность — уложить шланг с проколотыми мной отверстиями дырочками в верх.

— *Масса*, а что, если все, кто нам не нравится, будут носить специальные значки, а мы отправим их в лагеря?

— Было уже.

— Ладно, а вот так: рассортировать людей на три группы: черные, цветные и богоподобные. Ввести комендантский час и пропускную систему...

— Устарело, дорогой черный невольник.

— Но в Диккенсе получится, потому что мексиканцы, самоанцы и черные разных оттенков коричневого. — Тут он бросил шланг мимо борозды и полез за чем-то в карман. — На дне у нас будут свои неприкасаемые. Совершенно бесполезные люди. Фанаты «Клипперз»<sup>[170]</sup>, регулировщики дорожного движения и те, кто выполняет грязную работу, связанную с человеческими и животными отходами, — как ты, например.

— Если я неприкасаемый, а ты мой раб, то тебя куда определим?

— Я — талантливый драматический актер, значит, буду брахманом и после смерти достигну нирваны. А ты попадешь туда, где ты, собственно, и есть: будешь валяться в коровьем дерьме.

Я был признателен за такую дружескую поддержку, и пока Хомини продолжал болтать о варнах и индийской кастовой системе применительно к Диккенсу, до меня дошло, откуда у меня появился ментальный блок. Я

просто испытывал чувство вины. Я был как *Arschloch* на Ванзейской конференции<sup>[171]</sup>, или парламентарий-бур в Йоханнесбурге 1948 года<sup>[172]</sup>, или как бы хипстер в жюри «Грэмми», в попытке сделать премию всеохватной, предлагающий добавить такие бессмысленные категории, как «Лучшее R&B-исполнение, сольное, дуэтное/групповое или совместное — вокальное или инструментальное», «Лучшее инструментальное рок-произведение, написанное солистом, умеющим программировать, но не владеющим игрой на музыкальных инструментах». Я был идиотом, когда сидел на всех этих заседаниях, посвященных распределению железнодорожных вагонов, или освободительной борьбе банту в Африке, или альтернативной музыке, и у меня не хватило духу подняться и сказать: «Вам, блин, не кажется, что сегодня это дико?»

Картофель был посажен и присыпан компостом, а шланг уложен в канавку. Теперь нужно было проверить, как работает моя самодельная оросительная система. Я повернул вентиль и стал наблюдать, как тридцатиметровый зеленый шланг раздулся, зашевелился как змея и пополз по проложенному маршруту: мимо зарослей стручковой фасоли, испанского лука и огибая грядки с капустой. Тут из дырочек брызнули шесть фонтанов, описывая в воздухе высокую дугу, при этом не попадая на картофельную грядку, а превращая пустующий участок возле забора в мини-пойму. То ли я сделал слишком маленькие дырочки, то ли напор воды был слишком сильным — но в этом году своей картошки мне точно не видать. На следующей неделе обещали тридцать градусов жары. В такую погоду не приживется ни один корнеплод.

— Масса, ты собираешься выключать воду или нет? Зря тратишь.

— Да-да, знаю.

— Может, в следующий раз лучше посадить картошку в этой грязи, куда достает вода?

— Нельзя. Там отец похоронен.

Эти уроды не верят, что я похоронил его во дворе. Но это правда. Я попросил своего адвоката Хэмптона Фиска оформить задним числом нужные документы и похоронил отца в дальнем конце сада, где до того был пруд со стоячей водой, который потом высох. На этом месте ничего не растет. Так было до смерти отца, так оно и теперь. Я даже не поставил никакого надгробия. Еще до Марпессино дерева сацума я посадил там яблоню, своего рода кенотаф. Отец любил яблоки. Он ел их все время. Не знавшие его слишком близко считали, что у него отменное здоровье, потому что он не появлялся на публике без «макинтоша» и банки сока V8. Отец любил Бребурн, Гала, но самый его любимый сорт — Хани Крисп.

Попробуй предложи ему Ред Делишес, и он так на тебя посмотрит, словно ты оскорбил его маму. Жаль, я не проверил карманы его куртки, когда он умер. Уверен, нашел бы там яблоко. Он всегда брал с собой хотя бы одно, чтобы погрызть его после заседаний клуба. Думаю, что в тот раз было яблоко Голден Рассет, они хорошо лежат до зимы. При этом у нас никогда не было яблонь. Отец ругал заносчивых белых с Вест-Сайда, но сдается, что ему просто нравилось ездить в супермаркет Geldon's, где можно было купить яблоки Опалесцент по девять долларов за килограмм, или на фермерский рынок, чтобы поискать там Энтерпрайз. Мне нужно было выбрать для отца особенную яблоню, и я доехал до Санта-Паула. С конца девятнадцатого века Корнельский университет выводил самые лучшие сорта. Это была замечательная школа. Если хорошо попросить и оплатить доставку и транспортировку, приходила посылка с поздним сортом Джонаголд, сладких, как сама благая весть. Но в последние годы по неизвестной причине Корнелл стал лицензировать новые сорта, и саженцы продавали только местным фермерам. Если ты не живешь на севере штата Нью-Йорк, то, значит, не повезло и придется довольствоваться по случаю импортированной Флориной. Сегодня яблони из университетских садов Женевы, штат Нью-Йорк, тоже можно найти только на черном рынке — как кокаин из колумбийского Медельина. Моей зацепкой оказался Оскар Сокало, мой товарищ по лаборатории в Риверсайде, который потом уехал в Корнелл в аспирантуру. Встреча была назначена на стоянке в аэропорту. В небе проходило авиашоу. Деревенщина летала на старых бипланах, разгоняя свои «Сопвич Кэмелы» и «Кёртисы» до максимально возможных скоростей. Оскар захотел, чтобы «сделка» состоялась «из окна в окно» — как в детективном кино. Образец был таким вкусным, что я собрал ладонью сок с подбородка и облизал ее. Не знаю почему, но самые охуительные яблоки чертовски похожи на персики. Я привез домой готовый к посадке саженец высокоурожайного сорта Бархатный, фаворит яблочного мира, идеально хрустящее и полное витамина С. Я посадил его в полуметре от места, где покоился отец. Я хотел создать тень. Но через два дня дерево умерло. А яблоки приобрели вкус ментоловых сигарет, печёнки, жареной с луком, и дешевого рома.

Я стоял у могилы отца, в грязи, под фонтаном воды, предназначенной для картофельных грядок. С этого места я видел всю нашу огромную ферму. Ряды фруктовых деревьев, высаженных по цвету — от светлого к темному. Лимоны. Абрикосы. Гранаты. Сливы. Деревья сацума. Инжир. Ананасы. Авокадо. Дальше шли поля, поочередно засеваемые кукурузой, пшеницей и японским рисом, если уж мне не жалко платить за воду. В



самом центре стояла теплица, окруженная капустой, салатом, зеленым горошком и огурцами. Виноградная лоза — вдоль южной части забора, помидоры — вдоль северной. А в самом конце — белое одеяло хлопка. К нему я не притрагивался после смерти отца. Что там сказал мне Хомини, когда я стал одержим идеей вернуть Диккенс? *Ты же знаешь поговорку «за деревьями леса не увидеть»?* Ну так вот, ты за ниггерами плантации не видишь. Кого я пытался обмануть? Ведь я фермер, а все фермеры — естественные сегрегационисты. Мы отделяем зерна от плевел. Я ведь не Рудольф Гесс, не Питер Виллем Бота<sup>[173]</sup>, не «Капитол Рекордс» и даже не сегодняшние Соединенные Штаты, блин, Америки. Эти мерзавцы занимались сегрегацией, чтобы удержаться у власти. А я фермер и провожу сегрегацию, чтобы обеспечить каждому дереву, каждому растению, каждому бедному мексиканцу и каждому бедному ниггеру одинаковый доступ к солнцу и воде, чтобы любому живому организму не было тесно.

— Хомини.

— Да, *масса*?

— А какой сегодня день недели?

— Воскресенье. Вы никак собрались в «Дам-Дам»?

— Ага.

— Тогда спроси этого пидора, где он прячет моих «Пострелят»!

## Глава девятнадцатая

Людей пришло немного — человек десять. Фой, небритый, в мятом костюме, стоял в углу, непроизвольно дергаясь и нервно мигая. Недавно он попал в новости. Его чрезвычайно многочисленные внебрачные дети подали групповой иск о возмещении эмоционального ущерба, поскольку голос Фоя по любому поводу раздавался из всех радиоприемников, а лицо мелькало по всем телеканалам. Поэтому сегодня с «интеллектуалами» его связывала лишь безукоризненная эвклидова планиметрия стрижки под бокс и притащенная с собой картотека Rolodex. И впрямь, разве можно потерять веру в человека, который даже в худшие для себя времена следит за прической и приглашает к дискуссии Товарищей, например, Джона МакДжонса, черного консерватора, не так давно прибавившего к своей рабской фамилии приставку «Мак». МакДжонс читал отрывки из своей последней книги «Ирландское счастье. Путешествие черного ирландца <sup>[174]</sup> из гетто к гэлам». Для Фоя этот человек был неплохим приобретением. Поскольку участникам бесплатно наливали ирландский виски «Бушмилс», народу могло быть и больше, но не было сомнений: клуб потихоньку загибался. Возможно, идея устроить заговор тупых чернокожих мыслителей изжила себя.

— «И вот я в Слайго, небольшой живописной деревушке на северном побережье Изумрудного острова <sup>[175]</sup>, — читал МакДжонс. За этот картавый, квазибелый стиль хотелось дать в морду. — В кафе по телевизору показывают чемпионат Ирландии по хёрлингу. Килкенни против Голуэй. Мужчины с палками-щётками гоняют по льду небольшой белый шар. Возле меня стоит широкоплечий паря в толстом свитере грубой вязки и аккуратно постукивает тыльной стороной дубинки по ладони. Здесь, как нигде, я чувствую себя как дома...»

Я присел возле Короля Каза, который, как всегда, валял дурака. Жевал пончик с кленовой глазурью и листал журнал «Lowrider». Приметив меня, Фой Чешир многозначительно постучал пальцем по своим часам «Патек Филипп», словно я был дьяконом, опоздавшим на службу. С Фоем определено что-то не так. Он постоянно перебивал МакДжонса идиотскими вопросами:

— Насколько я знаю, «хёрлинг» на сленге студентов обозначает «блевотину», это верно?

Я попросил у Каза не нужный ему «The Ticker». В разделе финансовых

новостей говорилось, что после того, как в городе появился проект Академии Уитон, безработица в Диккенсе сократилась на одну восьмую. Цены на жилье выросли на три восьмых. Даже процент школьников, окончивших школу, увеличился на четверть. Наконец-то чернокожие оказались в прибыли. Это было самое начало социального эксперимента, и выборка была относительно невелика, но цифры не врут. За последний квартал с момента появления Академии Уитон успеваемость в средней школе Чафф значительно улучшилась. Не то чтобы все стали перескакивать в следующий класс и светиться на телеэкране в «Как стать миллионером», но в среднем экзаменационные оценки подбирались если не к «отлично», то к «хорошо». И, как я понял из вышестоящих директив, под внешнее управление школу не передадут, по крайней мере в ближайшем будущем.

Когда МакДжонс закончил выступление, Фой вышел на середину зала и бойко захлопал в ладоши, как ребенок, впервые попавший в кукольный театр.

— Хочу поблагодарить мистера МакДжонса за его вдохновляющее чтение. Но прежде чем перейти к следующему пункту повестки дня, сделаю два объявления. Во-первых, мое последнее публичное шоу «Черный контролер» закрыли. И второе. Наверное, многие из вас знают, что началась новая битва и вражеский дредноут уже тут, в Диккенсе, это Академия Уитон, школа для белых. У меня много высокопоставленных друзей, и все они отрицают ее существование. Но не волнуйтесь, у меня есть против врага секретное оружие.

Тут Фой открыл портфель и вывалил его содержимое на ближайший к нему стол. Новая книга. Два человека сразу встали и ушли. Я тоже было собрался вслед за ними, а потом вспомнил, что явился не просто так; кроме того, мне было интересно, какой еще текст искорежил наш великий американский классик Фой. Прежде чем пустить книгу по кругу, Фой скромно показал ее Джону МакДжонсу. Тот посмотрел в ответ с выражением «Ниггер, ты уверен, что хочешь поделиться этой херней с миром?». Когда книга дошла до сидевших позади, Каз молча передал ее мне, даже не взглянув. Мне было достаточно прочитать название, чтобы никогда не захотеть ее отдавать. «Приключения Тома Сорри». Мне стало очевидно, что все произведения Фоя представляли собой Черное Искусство и ожидали своего часа. Я уже пожалел, что сжег предыдущие книги вместо того, чтобы начать их собирать. Последние десять лет я смотрел на них свысока, морща свой приплюснутый негритянский нос, а теперь нигде никогда не найти таких невероятных книг в единственном издании, как «Черный старик и Винни-Надувной-бассейн-Пух», «Дозированные

ожидания», «Миддлмарч в середине апреля», «Я верну тебе деньги — клянусь». На обложке «Тома Сорри» был изображен аккуратненький чернокожий мальчик в дешевых мокасинах, клетчатых носках и ярко-зеленых штанишках с веселыми китами, выпускающими фонтанчики. Вооруженный ведром с побелкой, он бесстрашно стоял возле стены, исписанной граффити различных банд, а на него с угрозой уставилась ватага громил в лохмотьях.

Когда Фой вырвал книгу из моих рук, от расстройства мне показалось, словно я пропустил решающий тацдаун.

— Могу сказать без ложной скромности, что эта книга — настоящее ОМО, оружие массового образования. — От волнения голос Фоя стал выше на две октавы и приобрел гитлеровский пыл. — И как образ Тома Сорри вдохновил меня, пусть он сплотит нацию в великом деле закрашивания забора! Чтобы навсегда исчезли уродливые образы расовой сегрегации, которую символизирует собой Академия Уитон! Хотите знать, кто на моей стороне? — И Фой торжественно указал на входную дверь. — Эти три великих афроамериканских героя со мной за общее дело!

Не имею юридического права называть имена. Я повернулся к дверям, считая, что Фой галлюцинирует, и увидел на пороге «Пончиков Дам-дам» сразу три мировые афроамериканские знаменитости — популярного телеведущего \_и\_ \_ \_ \_ \_б\_ и чернокожих дипломатов — \_о\_ \_ \_ \_о\_ \_ \_ и \_н\_ \_ \_ \_ее\_ \_ \_ \_ \_с\_. Поняв, что клуб интеллектуалов загибается, Фой напряг последние силы и попросил замолвить словечко. Несколько удивленные немногочисленностью публики, три суперзвезды робко присели за столик и, надо отдать им должное, заказали кофе и «медвежьи когти»<sup>[176]</sup>, таким образом присоединившись к собранию. Основное время отнял Джон МакДжонс: он понес обычную республиканскую чушь, что у ребенка, рожденного в рабстве в 1860 году, было больше шансов на полную семью по сравнению с сегодняшними детьми, рожденными после вступления в должность первого президента США — афроамериканца. Да, МакДжонс был негром-снобом, прикрывавшим либертарианством ненависть к самому себе. Я по крайней мере свои чувства не скрывал, а он вертел статистикой, которая, может и верная, становится бессмысленной, если вы признаете тот простой факт, что рабы и есть рабы. Полная семья до начала войны совершенно не обязательно создавалась по любви, а по принуждению. И почему-то МакДжонс не упомянул, что полные черные семьи рабов случались между братом и сестрой или между сыном и матерью. Или что во времена рабства вариант развода не предусматривался. Нельзя было сказать «Пойду за сигаретами» и не

вернуться уже никогда. Да, и как насчет полных семей, у которых не оказывалось детей, потому что их продали в рабство невесть куда? Как современный рабовладелец, я был оскорблен: уважаемый институт рабства не был описан в самых жестоких, кровавых красках, каких заслуживает.

— Какая чушь! — сказал я, перебив МакДжонса на полуслове и по-школьному подняв руку.

— В смысле типа лучше родиться в Африке, а не здесь? — срезал К\_ \_н\_ \_в\_ \_ \_ с уличными интонациями, несколько противоречащими CV и V-образному вырезу его джемпера.

— Здесь это где? В смысле в Диккенсе?

— Не будем говорить о такой дыре, как Диккенс... — вмешался в разговор МакДжонс, кинув на гостей многозначительный взгляд, словно хотел сказать «не беспокойтесь, беру его на себя». — Никто не хотел бы жить здесь, но не стоит притворяться, что вы предпочли бы родиться в Африке, а не где-нибудь в другом месте Америки.

*Лучше тут, чем в Африке.* Это козырь всех ограниченных националистов. Приставьте мне к виску капкейк, но мне действительно лучше жить здесь, а не где-нибудь в Африке, хотя я слышал, что в Йоханнесбурге тоже неплохо, а серфинг на пляжах Кабо-Верде вообще исключительный. Но я не настолько эгоистичен, чтобы считать, будто мое относительное благополучие, включая, но не ограничиваясь круглосуточным доступом к бургерам с соусом чили, блюрею и офисным креслам фирмы Aeron, стоит страданий предыдущих поколений. Сильно сомневаюсь, что какой-нибудь предок, перевозимый рабовладельцами в трюме корабля, стоя по колено в испражнениях, в короткие минуты передышки между избиениями и изнасилованиями, обосновывал необходимость десятилетий убийств, невыносимой боли и страданий, душевных мук и неизлечимых болезней тем, что когда-нибудь у его прапрапра-правнуков дома появится вай-фай, пусть даже медленный и с пропадающим сигналом.

Я промолчал и предоставил место на ринге Королю Казу. За все двадцать лет заседаний я не слышал от него внятных заявлений, кроме того, что в его чае со льдом маловато сахара. Но сейчас он встал во весь рост, лицом к лицу с человеком с четырьмя учеными степенями, владеющим десятью языками, из которых только французский был языком черных.

— Ниггер, я запрещаю тебе ставить под сомнение Диккенс! — резко сказал Каз, тыча свеженаманикюренным ногтем в МакДжонса. — Мы не дыра — мы город!

Ставить под сомнение? Все же он перенял кое-какую риторику «интеллектуалов».

К чести МакДжонса, тот не испугался внушительных размеров Каза и его рыка и не отступил.

— Ну хорошо, возможно, я не совсем корректно выразился. Но все же позвольте не согласиться с вами. Диккенс — не город, а просто местность, обычные американские трущобы. Постчерная, пострасовая, постсоуловая отсылка, если угодно, ко временам романтизации черной отсталости.

— Слышь, придурок, впаривай свою херню про пострасу и постсоул кому-нибудь, кого это ебет, только не мне. Потому что я — исконно черный, в Диккенсе родился и вырос. Я — хомо сапиенс-«калека», ниггер из примордиальных времен «тпру, поехала».

Похоже, мисс Р\_ \_ \_ впечатлилась небольшим монологом Короля Каза — она раздвинула колени, продемонстрировав внутреннюю поверхность правого бедра, и постучала меня по плечу:

— Этот большой урод играет в футбол?

— Играл немного, когда в школе учился.

— Мои трусики мокрые, — произнесла она по-русски, облизнув губы.

Я, конечно, не лингвист, но, думаю, это значило, что Каз может поймать ее в любое удобное для него время. Между тем, поскрипывая при каждом шаге резиновыми подошвами кроссовок, наш ветеран Диккенса вышел на середину комнаты:

— Зырь, унылый придурок, что такое Диккенс.

И, повинаясь внутреннему ритму, Каз бросился в пляс — стал танцевать что-то вроде чечетки, известной в наших местах как «Поступь калеки». Ни на секунду не оказываясь спиной к зрителям, он крутился то на носках, то на пятках. Сомкнув колени и освободив руки, он вращался и прыгал по залу, описывая концентрические круги, заходящие друг на друга. Казалось, пол раскалился и Каз не мог стоять на месте. Король Каз спорил с МакДжонсом единственным доступным ему способом.

Хочешь чуток — получишь чуток, ежли ты лихой — так возьмешь чуток<sup>[177]</sup>.

*Velis aliquam, acquiris aliquam, caninus satis, capis aliquam.*

Когда вокруг соперников собралась небольшая толпа, я наконец сделал то, ради чего пришел: снял со стены портрет отца, скрутил в трубочку и засунул под мышку. Сегрегировать город с его фотографией на стене — все равно что заниматься сексом в комнате рядом с родительской спальней.

Невозможно сосредоточиться. Невозможно вволю покричать. Я немного понаблюдал, как Король Каз обучал МакДжонса, \_ \_ \_ л К \_ \_ \_ и, \_ \_ \_ \_ н П \_ \_ \_ \_ и волоокую \_ онд \_ \_ \_ \_ зз \_ \_ \_ \_ е «поступи калеки». Они профессионально легко подхватывали движения и уже прыгали по комнате, будто бывалые бандиты. Логично: некоторые элементы были заимствованы у масаев, что-то украдено у боевого танца чероки, который показывают в старых вестернах. «Поступь калеки» и есть настоящий древний танец воина. Тот самый, выставляющий *danceur noble* в низкосидящих штанах-багги целью. Танец, который говорит: «Стреляй в меня, когда будешь готов, Гридди». Ведь любой ниггер, даже купающийся в лучах славы, и любая черная консервативная «подсадная утка» знает, что это такое, когда мишень нарисована у него на спине.

Я уже отвязывал лошадь, когда из клуба вышел Фой и по-отечески приобнял меня. Его бородка нервно подрагивала, раньше я такого не видел, шея была измазана в грязи, и вообще от него воняло.

— Уезжаешь навстречу закату, Продажная тварь?

— Да.

— Длинный был денек.

— Наверное, вся эта туфта насчет того, что при рабстве было лучше, перебор даже для тебя, да, Фой?

— По крайней мере МакДжонсу не плевать на черных.

— Да ладно, его волнуют черные так же, как двухметрового детину — баскетбол. Его волнует, потому что он больше ничего не умеет.

Фой понимал, что я больше никогда не вернусь в Клуб интеллектуалов, и одарил меня таким скорбным взглядом, каким миссионеры, должно быть, смотрели на язычников в джунглях. Взгляд его говорил: «Неважно, что ты слишком глуп, чтобы оценить Господню любовь. Но Он любит тебя, несмотря ни на что. Просто отдай своих женщин, свои природные богатства и своих бегунов на длинные дистанции».

— А тебя разве не волнует белая школа?

— Не-а, белым детям тоже нужно где-то учиться.

— Только белые дети не станут покупать моих книг. Да, кстати...

И Фой протянул мне экземпляр «Тома Сорри», а потом забрал обратно и без спросу подписал его мне.

— Фой, можно задать тебе вопрос?

— Да, конечно.

— Может, это слухи, но мне важно знать, действительно ли ты владеешь самыми расистскими эпизодами «Пострелят»? Если так, у меня

есть предложение.

Похоже, я задел за живое. Фой отрицательно покачал головой, показал на свою книгу и ушел обратно в кафе. Когда стеклянная дверь открылась, я успел услышать, как самый богатый афроамериканец и два прославленных негритянских посланника вместе с Королем Казом во всю глотку голосят рэп «Fuck tha Police» группы N.W.A. Прежде чем засунуть «Томас Сорри» в седельную сумку, я бегло взглянул на дарственную надпись и увидел в ней угрозу.

Продажной твари  
Яблоко от яблони недалеко падает...  
Фой Чешир

Да пошел он. Я поскакал домой. Погнал коня вниз по бульвару Гатри. По пути я изобретал разные варианты выезда — не обращая внимания на полицейских, пустил лошадь восьмеркой вокруг желтых конусов на перекрытой центральной полосе. На Черитон-драйв я увидел запыхавшуюся скейбордистку и, выдав ей в одну руку повод, прокатил, как в длинном кабриотеле, от Эйдроум-стрит до Сойер-стрит, а потом резко повернул на Бернсайд. Я и сам не знал, чего хотел от попытки вернуть Диккенсу славу, которой никогда не существовало. Даже если официальный статус когда-нибудь окажется восстановлен, не будет никаких фанфар и фейерверков. Никто не поставит мне в парке памятник и не назовет в мою честь школу. Мне не дано испытать чувств первооткрывателя, не повторить подвиг Жана Батиста Пойнт дю Сейбла<sup>[178]</sup>, воткнувшего флаг в землю Чикаго, или Уильяма Овертона, отца-основателя Портленда. В конце концов, я ничего не открыл и ничего не основал. Мне предстояло всего лишь смахнуть пыль с артефакта, который еще даже не врос в землю. Когда я вернулся домой, Хомини торопливо помог мне расседлать лошадь и потащил к компьютеру. В онлайн-энциклопедии он отыскал недавно выставленную короткую статью неизвестного исследователя.

Диккенс, непризнанный город на юго-западе округа Лос-Анджелес. Некогда полностью черный, в настоящее время там дофига мексиканцев. Некогда считался столицей преступного мира. Сейчас делишки поправились, но лучше смотреть в оба.

Да, если когда-то я верну Диккенс из небытия, то лучшей наградой станет широкая улыбка Хомини.



## Глава двадцатая

Никому ни слова, но следующие несколько месяцев я занимался ресегрегацией, и это было здорово. В отличие от Хомини, у меня прежде никогда не было настоящей работы, пусть и бесплатно. Мы с Хомини колесили по городу, и он был моим афроамериканским Игорем, злобным социологом-вдохновителем, хотя со стороны, казалось, мы смеемся над собственным бессилием.

Каждую неделю, с понедельника по пятницу, ровно в час дня Хомини как штык стоял возле грузовика.

— Ну что, Хомини, к сегрегации готов?

— Да, хозяин.

Мы начинали с малого, и в этом очень пригодилась актерская слава Хомини, всеобщего любимца в Диккенсе. Отбивая чечетку, он входил куда-нибудь и выдавал такой замысловатый номер в духе старого доброго театра Читлин, что братья Николас, Чарльз Коулз или Бак и Бабблз наверняка позеленели бы от зависти:

*Потому что я кудряв  
Зубы — жемчуг, добрый нрав  
И улыбчив (каждый знает)  
И одет как подобает*

*Уже много лет подряд  
Я всегда чему-то рад  
Остальное все — фигня*

*И пускай я чернокожий  
Веселее нету рожки —  
Кличут Солнышком меня!*

После этого, словно это тоже часть представления, Хомини лепил на витрину магазина, кафе или парикмахерской табличку «ТОЛЬКО ДЛЯ ЦВЕТНЫХ». И никто их ни разу не убрал, по крайней мере при нас — ведь Хомини так старался.

Иногда, в память об отце, пока Хомини обедал или спал в грузовике, я

заходил в какое-нибудь заведение в отцовском белом халате с папкой в руке. Протянув хозяину визитку, представлялся работником Федерального департамента по борьбе с расовой несправедливостью и объяснял, что мы проводим тридцатидневное исследование на тему «Расовая сегрегация и нормативное поведение среди сегрегированных по расовому принципу». За пятьдесят долларов я предлагал одну из трех табличек на выбор: «ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕРНЫХ, АЗИАТОВ И ЛАТИНОС», «ТОЛЬКО ДЛЯ ЛАТИНОС, АЗИАТОВ И ЧЕРНЫХ» И «БЕЛЫМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН». На удивление много владельцев мелкого бизнеса сами готовы были заплатить мне за табличку «БЕЛЫМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН». Как обычно при социальных экспериментах, я не возвращался для последующих наблюдений, но через месяц они, к моему изумлению, перезванивали сами и просили доктора Бонбона оставить табличку у себя, потому что клиенты чувствуют себя особенными. «Клиентам нравится. Как будто их приняли в частный клуб, открытый для всех».

Довольно быстро я убедил директора кинотеатра «Меральта» (единственного в городе), что он сможет вполтину уменьшить число жалоб, если в партере повесит табличку «ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЛЫХ И НЕМЫХ», а на балконе — «ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕРНЫХ, ЛАТИНОС И ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА». Впрочем, для своих действий мы не всегда спрашивали разрешения: так, воспользовавшись кистью и красками, мы изменили расписание работы публичной библиотеки имени Ванды Колман. Было: «Воскресенье — вторник: закрыто, среда — суббота: 10–17:30». Стало: «Воскресенье — вторник: только для белых, среда — суббота: только для цветных». Расползлись слухи об успехах Карисмы в школе Чафф, время от времени ко мне стали обращаться различные организации, чтобы я немножко «посегрегировал» и у них. Чтобы снизить уровень преступности в районе, местное отделение Un Millar de Muchachos Mexicanos (о Los Emes)<sup>[179]</sup> пыталось придумать что-то кроме ночного баскетбола. «Чтобы подходило и для мексиканцев, и для коренных американцев», спортивная игра на небольшой площадке, где бы подростки чувствовали себя на равных. Жонглирование именами таких баскетбольных знаменитостей, как Эдуардо Назера, Тани Робинсон, Шони Шмиммель и Орlando Мендес-Вальдес моих собеседников не убедило.

Наша встреча была краткой и состояла из обсуждения двух вопросов от меня.

Вопрос первый: «У вас есть средства?»

«Только что мы получили грант в сто тысяч долларов от „Загадай желание на звезду“».

Вопрос второй: «Но ведь это грант для умирающих детей?»  
«Совершенно верно».

В разгар государственной кампании насаждения Закона о гражданских правах в некоторых сегрегированных городах власти закрыли муниципальные бассейны, чтобы лишить цветных детей извращенного удовольствия в них писать. Мы же, вдохновленные идеей ресегрегации, наняли спасателя, выдали его за бездомного, построили бассейн «только для белых» и огородили его сетчатым забором; ребята с удовольствием перепрыгивали эту преграду, играли в водные жмурки и коллективно задерживали дыхание в нырке, если мимо проезжала патрульная машина.

Когда Карисма почувствовала, что нужно что-то противопоставить лицемерной гордыне и нишевому маркетингу, распространившимся во время месяцев черной истории и испанского наследия, я придумал Белую неделю. Вопреки названию Белая неделя представляла собой получасовой праздник, посвященный чудесам и вкладу этих загадочных белых в мир досуга. Краткую передышку от принудительных рассказов о нелегальной иммиграции, труде мигрантов и Среднем пути<sup>[180]</sup>. Нас досыта накормили ложью, будто если один выбился в люди — значит, это произошло и с остальными. Два дня мы переделывали заброшенную автомойку на бульваре Робертсон в туннель «отмытия добела». Три вывески разделяли очередь на три потока, в зависимости от предпочтений:

### **Отмытие добела стандартное**

Презумция невиновности

Более высокая продолжительность жизни

Более низкие страховые отчисления

### **Отмытие добела класса люкс**

То же, что при стандартной услуге, плюс

Полицейские предупреждения вместо арестов

Хорошие места на концертах и спортивных мероприятиях

Мир вращается вокруг тебя любимого

### **Отмытие добела класса суперлюкс**

То же, что услуга класса люкс, плюс

Работа с годовой премией

Армия — это для лохов

Прием в любой колледж по праву происхождения

Психотерапевт, который тебя выслушивает

Яхты, на которых ты никогда не был  
Все твои грехи и дурные привычки считаются «стадиями»  
Никакой ответственности за царапины, вмятины и предметы,  
оставленные в подсознании

Под самую «белую» музыку, которую только можно было придумать (Мадонна, The Clash и Hootie & the Blowfish), дети, одетые в купальники или обрезанные шорты, смеялись и танцевали под струями теплой воды и пены. Не обращая внимания на предупреждающее мигание янтарно-желтой лампочки, бежали под водопад полироли *Hot Carnauba Wax*. Потом мы раздали им конфеты и газировку и позволили стоять под горячей сушкой сколько угодно. Напомнили им, что чувствовать теплый ветер, дующий в лицо, — это и значит быть белым и богатым. Это значит день напролет кататься в собственном кабриолете.

По мере приближения Дня гетто мы с Хомини более или менее отсегрегировали в Диккенсе практически все места общественного пользования, кроме больницы имени Мартина Лютера «Киллера» Кинга. И дело было не в том, что самое «вкусное» мы оставили напоследок. Больница, как ни смешно, располагалась в районе Полинезийские сады. Полинезийские сады (сокращенно ПС), большинство населения которых составляли латинос, имели репутацию крайне недружелюбного к афроамериканцам места. Местные байки по сути утверждали, что раны, нанесенные жителям Диккенса по дороге через ПС в больницу, были опасней болезней, требовавших обращения за медицинской помощью. Любая улица в любом районе округа Лос-Анджелес, особенно незнакомая, может нести опасность, и от полиции, и от бандитов. Никогда не знаешь, когда и за что к тебе прицепятся — то ли к одежде, то ли к цвету кожи. Лично со мной в Полинезийских садах ничего такого не случилось, но я и никогда не отправлялся туда по темноте. Накануне нашего мероприятия в больнице случилась перестрелка между местными «Варрио» и «Баррио», двумя бандами, вступившими в кровавую вражду из-за произношения и написания одного и того же слова. Поэтому, чтобы сберечь наши с Хомини задницы в целости, я прикрепил к лобовому стеклу две фиолетово-золотистые наклейки с логотипом клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», а на крышу грузовика для гарантии водрузил огромный, размером с остров Иводзима, победный флаг «Лейкерс» 1987 года. Потому что все ангеленосы — подчеркиваю, все до одного — обожают «Лейкерс». И когда мы тронулись в путь по Сентенниал-авеню, притормаживая из-за медленных лоурайдеров, отказывающихся ездить со скоростью выше шестнадцати

километров в час, флаг «Лейкерс» гордо развевался на вечернем ветру и давал моему пикапу временный дипломатический иммунитет.

Главврач доктор Уилберфорс Минго был старым приятелем моего отца и, узнав, что это я нарисовал границу вокруг Диккенса и установил на выезде билборд, что это я придумал проект с Академией Уитон, сразу разрешил мне произвести акт сегрегации во вверенном ему помещении. Откинувшись на спинку кресла, он добавил, что за килограмм вишни из моего сада я могу хоть обсементировать. Скрываясь под покровом ночи, когда всем параллельно, на безликих стеклянных дверях приемного покоя мы с Хомини вывели кроваво-красную с подтеками надпись: «Травмпункт имени Бесси Смит»<sup>[181]</sup>. Получилось как афиша фильма ужасов. Потом присобачили к центральной бетонной колонне вестибюля черно-белую металлическую табличку «Проезд только для „скорых“ с белыми пациентами».

Не могу сказать, что при этом у меня не тряслись поджилки. Больница была самым большим учреждением, которое я сегрегировал, нас могли увидеть посторонние. Проходить внутрь я побоялся и попросил Хомини дать мне морковку: на всякий случай я прихватил с собой несколько свежих, прямо с грядки.

— Ну, что скажете, доктор? — подразнил его я, похрумкивая морковкой.

— Знаете, *масса*, Багз Банни — это тот же Братец Кролик, только с хорошим агентом.

— Так что там, словил Братец Лис Братца Кролика? Я почти уверен, что после этой выходки белые парни нас точно достанут.

Хомини поправил приклеенную к кузову надпись «СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САНШАЙН СЭММИ» и достал из кузова банки с краской и пару кистей.

— *Масса*, если сейчас тут действительно появятся белые и увидят нашу мазню, они, как всегда, подумают «Вот чокнутые ниггеры», и пойдут дальше по своим делам.

Если бы Хомини сказал это на несколько лет раньше, когда не было еще ни интернета, ни хип-хопа, ни художественной декламации, ни силуэтов Кары Уокер, я бы еще с ним согласился. Но теперь понятие «быть черным» сильно изменилось. В опыте черных много всякой фигни, но по крайней мере раньше у нас было свое личное пространство. Наш сленг и плебейское восприятие моды не выходили за рамки чернокожего социума. У нас даже был собственный набор сверхсекретных сексуальных техник. Негритянская камасутра, которую нам передавали на детских площадках

или на верандах, или подвыпившие родители оставляли двери спален приоткрытыми, чтобы «маленькие ниггеры чему-то научились». Однако распространение в интернете черной порнографии и несоблюдение права на интеллектуальную собственность позволили получить доступ к нашим некогда специфическим сексуальным техникам любому, у кого есть двадцать пять долларов в месяц на подписку. И теперь не только белые, но и другие женщины всевозможных вероисповеданий, цветов кожи и сексуальной ориентации мучаются, когда их имеют на скорости километр в секунду, через раз вопя: «Чья это киска?» И все эти люди, не способные оценить ни Баския, ни Кэтлин Бэттл<sup>[182]</sup>, ни Патрика Юинга<sup>[183]</sup>, так и не открывшие для себя «Забойщика овец»<sup>[184]</sup>, Ли Моргана<sup>[185]</sup>, чудодейственную силу талька, Фрэн Росс<sup>[186]</sup> или Джонни Отиса<sup>[187]</sup>, все равно суют свой мейнстримный американский нос в нашу жизнь. И в этот момент я точно понял, что в конце концов угожу к хуям в тюрьму.

Хомини затолкнул меня в автоматические двери больницы, приговаривая:

— *Масса*, всем насрать на День гетто, если нам насрать.

В больницах перестали рисовать на полу разноцветные, как радуга, линии-указатели. В те дни, когда еще пользовались пластырями-бабочками, делали швы нерассасывающимися нитями, а медсестры не говорили с акцентом, тебе совали в руки коричневую папку с направлениями, и ты знал, что красная полоса ведет к рентгену, оранжевая — в онкологию, а фиолетовая — в детское отделение. Но если в больнице-«киллере» пациент из приемного покоя, измотанный ожиданием, когда же его увидит система, которой безразлично, что он сидит тут и держит пластиковый стакан, в котором плавает его отрезанный палец, лед давно растаял, а он все сидит, пытаясь остановить кровотечение, прижимая к ране кухонную губку, в один прекрасный момент встанет и от скуки подойдет к стеклянной перегородке, за которой сидит дежурная медсестра, и спросит, а куда ведет эта мерзко-коричневая линия, то сестра только пожмет плечами. И не в силах сдержать любопытства, они двинутся вдоль линии, которую мы с Хомини рисовали всю ночь, а потом еще полдня следили, чтобы люди обратили внимание на надпись «Осторожно, окрашено!». В больнице эта линия практически стала сказочной дорогой, вымощенной желтым кирпичом.

В краске Pontone 426C есть даже васильковый оттенок, вообще она странного таинственного цвета. Я его выбрал, потому что он может быть и

коричневым, и черным в зависимости от освещения, роста и настроения. Если следовать за этой длинной линией толщиной в три дюйма, выйдешь из зала ожидания, потом пройдешь два ряда распашных дверей, и если долго идти по коридорам, заполненным больными, резко поворачивая то направо, то налево, линия поведет тебя вниз по лестнице, по трем пролетам грязных ступенек, которые никто уже давно не подметал, пока не окажешься во внутреннем вестибюле, освещенном тусклой красной лампочкой. В самом конце линия увенчана трезубцем, и каждая его часть указывает на одну из трех одинаковых безымянных двойных дверей. Через первые двери можно выйти на задний двор, через вторые — в морг, а через третьи — к автомату с газировкой и всякой джанкфуд. Мне не удалось решить проблему расового и классового неравенства в сфере здравоохранения, но я достоверно знаю: те, кто проделывает путь по моей черно-коричневой дороге, более активны. И когда, наконец, их вызывают в кабинет дежурного врача, они с порога говорят: «Доктор, прежде чем вы возьметесь за меня, я должен понимать: вам не насрать на меня? Вам правда не насрать на меня?»

## Глава двадцать первая

Раньше на День гетто Король Каз и его тогдашняя банда «Амуниципальные калеки Бульвара Колизей „и ты Брут“» отправлялись на территорию своих заклятых врагов, банды «Парни с Побережья Венис»<sup>[188]</sup> (ППВ). Они ехали по Бродвею<sup>[189]</sup> (четыре машины, двадцать человек, солнце светит в затылки), готовые к действию. Для всех них (не считая тех, кто попал за решетку) это был единственный день, когда они покидали пределы района. Но с появлением ипотечных кредитов с плавающей ставкой ППВ были вытеснены со своей территории винными барами, лавками с товарами для холистической медицины и нервными кинозвездами, окружившими свои бунгало на десяти сотках трехметровыми каменными заборами, повысив, таким образом, стоимость земли до двух миллионов долларов. Теперь, чтобы возиться с защитой своей территории, членам банды ППВ приходилось отправляться с побережья Венис куда-нибудь подальше — в Палмдейл или в Морено-Валли. И что тут делать, когда твой враг отказывается давать отпор. Не из-за трусости или нехватки оружия, а просто из-за усталости. От борьбы с трехчасовыми пробками и перекрытиями дорог устаешь так, что не остается сил нажать на спусковой крючок. Поэтому теперь когда-то враждующие банды справляют День гетто, устраивая реконструкции Гражданской войны. Они встречаются на полях великих сражений, стреляя друг в друга холостыми и пуская «римские свечи», и тогда испуганные прохожие бросаются врассыпную, а невинно страдающие посетители уличных кафе со страху прячутся под столы. Они вываливаются из своих старых тачек с форсированными моторами, и, как пьяные студенты, валяющие дурака, эти несчастные сыны Вест-Сайда гоняются друг за другом по набережной вдоль Венис-Бич, впустую махая кулаками и пихаясь в память об исторических махаловах: Битве на Шенандоа-стрит, Великой Терке на бульваре Линкольна и Побоище в парке Лос-Амигос. После чего воссоединяются с друзьями и семьями в демилитаризованной зоне, на поле для софтбола в центре города, превращенном в зону отдыха, и заключают перемирие за барбекю и пивом.

В отличие от полиции, которая ставит в заслугу каждое падение уровня преступности политике «нулевой толерантности», я не считаю, что моя полугодовая кампания местного апартеида привела к относительно спокойной весне в Диккенсе, но все-таки в этом году День гетто прошел



совсем по-другому. Марпесса, Хомини, Стиви и я торговали со скамеек нарезанными на дольки фруктами, которые буквально сметали. Покупатели переплачивали в восемь раз. Вообще-то обычно каждая банда и каждое гетто собирались в парке по своим дням. Например, «Киллеры Снайпер-Сити, улица шесть-трей» резервировали за собой 3 июня, потому что июнь — шестой месяц в году, а «трей» означает «три». Негритянская банда «Los Osos Negros Doce y Ocho»<sup>[190]</sup> собиралась вовсе не 8 декабря, как можно было бы предположить, а 12 августа, потому что вопреки популярному мнению зимой в Калифорнии чертовски холодно. Мы же тусовались 15 марта, потому что какой еще день могла выбрать банда «Амуниципальные калеки Бульвара Колизей „и ты Брут“»? Конечно же, Мартовские Иды.

До конца восьмидесятых, еще до того, как слово «квартал» стало обозначением любого района, начиная от шикарных Калабасас-Хилз, Шейкер-Хайтс и Верхнего Истсайд и заканчивая зоопарком при университете, а любой ангеленос говорил что-то вроде: «Ты поосторожней с ним, ведь он с нашего квартала» или «Да, я не навестила бабушку Сильвию на смертном одре, а ты как думал? Ведь она жила на квартале», — это слово относилось к одному-единственному месту, и это место было Диккенс. Но там на бейсбольном поле в парке, под флагом Дня гетто собрались бандиты всех цветов и оттенков. Диккенс, бывший когда-то сплоченным гетто, после волнений 1982 года «балканизировался» на мелкие гетто, раздробился, как Югославия. Король Каз и Панаш, диккенсовские аналоги Тито и Слободана Милошевича в темных очках Oakley и с перманентом в стиле Дорис Дей, приветствовали воссоединение рэпом, отбивая такт ногами по импровизированной сцене так лихо, что их локоны плясали вместе с ними, подпрыгивая над широкими плечами.

Я не виделся с Панашем много лет. Я не знал, в курсе ли он, что мы с Марпессой спим друг с другом. Я не спрашивал его разрешения. Но, видя, какие он выделяет трюки с пневматической пушкой «Лулу Белл»<sup>[191]</sup> двенадцатого калибра (которая для него была что гитара для Би Би Кинга), как он жонглирует ею, подбрасывая в воздух как палку, щелкая затвором и успевая прострелить подброшенную в воздух крышку (уголовный вариант стрельбы по глиняным голубям), и все это одной рукой, — я подумал, что спросить разрешения все-таки стоило. Король Каз проорал в микрофон: «Я знаю, что по крайней мере один из вас, ниггеров, точно принес с собой китайскую еду!»

На первой линии, в стороне от праздника, скрестив руки на груди, стояли два чувака, которых что полиция, что любой умник с айкью хотя бы

в пятьдесят охарактеризовали бы как «подозрительные лица латиноамериканской внешности». Внешне они мало отличались от остальных, но смотрели вокруг с таким презрением, будто сами были не из Диккенса. Поговаривали, что это ребята из Полинезийских садов. Идеологически они были приемлемы, как нацисты на слете ку-клукс-клана, но сильно отличались с точки зрения корпоративной культуры. Неотразимый запах шашлыка и облако от первой классной дури выманивали парочку все ближе и ближе к линии ворот. Когда они подошли к месту подачи, Стиви в это время резал своим machete ананасы.

— Ниггеры, вы их знаете? — спросил он, не отрывая глаз от парней, приближающихся к дагауту.

Оба чувака были в широких штанах-хаки, из-под которых выглядывали кроссовки «Найк Кортес» — такие охрененно новые, что казалось, если снять одну кроссовку и поднести к уху как раковину, можно услышать гул океана потогонного труда. Стиви зыркнул тюремным взглядом на одного из пришельцев: панама, футбольная куртка, татуировка «Стомпер»<sup>[192]</sup> на подбородке. В гетто мужчины не носят курток спортивных клубов, потому что болеют за конкретные команды. Определенный цвет, логотип и номер — это по-бандитски.

Когда ты только откинулся, ты очень расово настроен. Это не значит, что среди преимущественно черных «калек» и «кровников» нет мексиканцев или что в бандах латиносов нет черных. В конце концов, на улице главное — это соседство и родство душ, преданность близким и своему гетто, независимо от расовой принадлежности. Но в тюрьме с политикой идентичности что-то случается. Возможно, это как показывают в кино, где белые против черных, и против мексиканцев, и против других белых, безо всяких «если» или «но». Мне рассказывали, как хардкорные головорезы «слепнут», попадая в камеру, начинают брататься с ниггерами или ватос. *К черту расу! Плевать на black power! Мама этого ниггера кормила меня, когда я был голоден, так что не будем об этой херне.*

Второй парняга, в белой капитанской футболке, с вертикальной наколкой «Марионетка» на горле, кивнул сначала мне:

— *¡Que te pasa, pelon?*<sup>[193]</sup>

Мы, лысые товарищи по несчастью, — не такие уж расисты. Мы, лысые, понимаем, что все младенцы похожи на мексиканцев, а лысые мужики — на негров, ну, более или менее. Поэтому я предложил парню затянуться моим джойнтом. Уши у гостя покраснели, а глаза заблестели, как японская лаковая миниатюра.

Марионетка зашелся в кашле:

— Бля, что это за хуйня?

— Это Карпальный туннель <sup>[194]</sup>. Давай, сожми кулак.

Марионетка попытался согнуть пальцы, но у него не вышло. Стомпер посмотрел на него как на сумасшедшего, а потом зло вырвал у него косяк. Не надо быть компьютером, чтобы понять: несмотря на сходство, они не находились по одну сторону баррикад. Сделав долгую затяжку, Стомпер попытался сложить пальцы в жест банды, но у него ничего не получилось, как он ни старался. Тогда он вытащил из кобуры свой никелированный револьвер, но едва смог обхватить его рукой, не то что взвести курок. Стиви засмеялся и предложил им ананасовые дольки. Почувствовав во рту неожиданно сладкий вкус с легким мятным ароматом, они сначала сморщились, а потом рассмеялись как малые дети. Под грозными взглядами братвы «чоло» зашагали в самый центр поля, жуя ананасовые дольки и по очереди докуривая остатки марихуаны.

— А ты знаешь, что татуировка УН на шее у Джонни Унитас <sup>[195]</sup> вообще не про «Умный, нескандальный»?

— Я знаю, про что она.

— Она обозначает Убийца ниггеров. Только эти два ниггера из разных группировок. А «баррио» и «варрио» — на них не похоже, чтобы они вот так тусовались вместе.

Мы с Хомини обменялись улыбками. Похоже, наши таблички в Полинезийских садах сделали свое дело. По дороге из больницы мы остановились на Бейкер-стрит и прибили их к телефонным столбам по обе стороны ржавой железной дороги, которая и разделяла «Баррио ПС» и «Варрио ПС». Чтобы прочитать табличку на противоположной стороне, нужно было перейти дорогу, то есть очутиться на вражеской территории. Те, кто осмелился на это, поняли, что текст и там, и там одинаковый: «Правильная сторона железной дороги».

Потом Марпесса потащила меня на основную базу. Король Каз, делегация престарелых отморозов и молодняка хватала жареные ребрышки и ананасы, стоя в зоне бэттеров. Панаш жевал ананасы до корки, увлеченно рассказывая всякие гастрольные истории, и тут ни с того ни с сего Марпесса сказала:

— Хочу, чтобы ты знал, что сплю с Бонбоном.

Панаш засунул в рот все, что осталось от ананаса, вместе с колючей кожурой, упоенно высасывая сок до остатка, пока тот не стал сухим, как обглоданная кость. Потом подошел ко мне и, постучав по моей груди дулом

своей «Лулу Белл», произнес:

— Блин, да если б я ел такие ананасы каждый день, я бы и сам ебался с этим ниггером.

Раздался выстрел. В центре поля, очевидно все еще под Карпальным туннелем, валялся на спине Стомпер. Стащив с себя кроссовки, он зажал пистолет пальцами ног и пулял в небо, не переставая дико хохотать. Это было так весело, что к нему присоединились мужчины и даже несколько женщин. Вынув оружие, они курили траву и прыгали босиком по грязи на одной ноге, надеясь выпустить по обойме, пока не прибыла полиция.

## Глава двадцать вторая

Черные люди «выпирают». «Выпирают» — это слово из голливудского сленга, обозначающее динамическое присутствие в кадре, когда кто-то слишком фотогеничен. Как объяснил Хомини, именно поэтому нынче редко снимают в паре черных и белых актеров, — белые звезды просто вымываются из кадра. Тони Кёртис. Ник Нолти. Итан Хоук снимается в фильме с афроамериканцем, и это становится кинопробой, доказывающей, кто на самом деле человек-невидимка. И вы когда-нибудь видели, чтобы в пару черной актрисе брали белого? Единственные, кому хватало для этого обаяния, были Джин Уайлдер и Спэнки Макфарланд. Остальные же — Томми Ли Джонс, Марк Уолберг, Тим Роббинс — это просто жалкая попытка ухватиться за гриву убегающей лошади.

Когда я смотрел фильмы с Хомини на Фестивале запрещенного кино и открыто расистской мультипликации в кинотеатре «Ньюарт», слышал их со Спэнки шутки, то нетрудно было понять, почему киношники прочили его на место следующего «великого пиканини». Этот блеск в глазах, этот блеск черных щечек, как у херувимчика, были неотразимы. Его кучерявая шевелюра была наэлектризована и суха, казалось, секунда — и она воспламенится. От него было глаз не оторвать. Одетый в рваный комбинезон и высокие ботинки, которые были ему велики, наверное, размеров на десять, этот ребенок был прирожденным комиком. Никто не был так смешлив и не переносил все невзгоды, как Хомини. Я даже не представляю, как он выдерживал все эти неотцензурированные безжалостные шутки про арбузы и папу в тюрьме. На любое оскорбление или выпад он отвечал своим знаменитым хриплым криком «Йоуза!». Я даже не могу сказать, было ли это демонстрацией трусости или благодушия, но вытаращенные глаза и ошарашенный вид с разинутым ртом и по сей день остаются излюбленным актерским приемом черных комиков. Только сегодня они так делают один-два раза за фильм, а бедный Хомини должен был строить из себя простачка по три раза в каждой части, да еще крупным планом.

Когда включили свет, ведущий объявил, что в зале находится последний из оставшихся в живых «пострелят», и пригласил Хомини на сцену. После бурной овации он смахнул слезу и ответил на несколько вопросов. Говоря об Альфальфе и его «банде», Хомини был искренен как ребенок. Он рассказал о графике съемок. Как проходили репетиции. Кто с

кем дружил. Кто был самым смешным за пределами съемочной площадки, кто самым наглым. Он посетовал, что никто так и не оценил его эмоциональный вклад в создание образа Гречихи и воспел свою особую дикцию и свой словарный запас, развившийся во время работы на Metro-Goldwyn-Mayer. Я про себя умолял, чтобы никто не спросил про Дарлу, потому что уже не мог слушать об их парных скачках под трибунами в перерывах между съемками «Футболист Ромео».

— У нас есть время еще для одного вопроса.

С заднего ряда наискосок от меня одновременно поднялась группа студенток. Они были одеты в викторианские платья с панталонами: на груди у каждой были вышиты греческие буквы N T Γ, а волосы заплетены в толстые косички, соединенные деревянными прищепками. Девушки из сестричества «Ню Йота Гамма» походили на кукол с антикварных аукционов.

— Мы бы хотели знать...

Но их заставили замолчать хором улюлюканий и градом стаканчиков от попкорна. Хомини призвал к спокойствию. Зал подчинился, переключив на него все внимание, и тут я заметил, что сидящая со мной женщина — самая настоящая афроамериканка. Только у африканок могут быть такие маленькие, аккуратные мочки ушей. Настоящая африканка, черная, как негритянский фанк семидесятых, черная, как C<sup>+</sup><sup>[196]</sup> в органической химии, черная, как я сам.

— В чем дело? — спросил Хомини, обращаясь к залу.

За два ряда передо мной с места поднялся высокий бородатый белый в шляпе-федоре и, возмущенно тыкая пальцем в сестер Топси, воскликнул:

— Их блэкфейс<sup>[197]</sup> совсем не смешон, это безобразие.

Хомини приложил ко лбу ладонь козырьком, всматриваясь в зал:

— Блэкфейс? А что это такое?

Раздался смех, но Хомини даже не улыбнулся, и белый парень недоуменно уставился на него с такой дебильной миной, какой я не видал со времен великих комиков Степина Фетчита и Джорджа Буша, первого президентаклоуна.

И тут белый чувак любезно привлек внимание Хомини к некоторым фильмам, которые мы только что посмотрели. Эпизод «Черный, как Самбо» — про то, как Спэнки измазал лицо черными чернилами, чтобы написать за Хомини контрольную по правописанию, иначе его не возьмут в парк аттракционов. «Черный постреленок» — там Альфальфа измазывает себе лицо, чтобы попасть на прослушивание, где отбирают самого лучшего

банджоиста для шумового оркестра. «Джиг-бу!» — про то, как Фрогги убегает от привидения. Раздевшись до трусов, он натирает все тело сажей, чтобы напугать призрака, переворачивает на него столы и кричит страшным голосом «Бу-га! Бу!».

Хомини кивнул, заложил пальцы за подтяжки и покачался на пятках. Потом попыхтел воображаемой сигарой, гоняя ее из одного угла рта в другой.

— А-а, только мы не называли это «блэкфейс». Это была актерская игра.

Внимание зала снова переключилось на него. Они думали, что Хомини продолжает дурачиться, но он был убийственно серьезен. Для Хомини блэкфейс был не расизмом, а проявлением здравого смысла. Черная кожа выглядит лучше. Выглядит здоровее. Выглядит симпатичнее. Выглядит сильнее. Именно поэтому культуристы и участники соревнований по бальным латиноамериканским танцам накладывают темный грим. Почему берлинцы, нью-йоркеры, бизнесмены, нацисты, полицейские, аквалангисты, «пантеры», плохие парни и рабочие сцены в театре Кабуки предпочитают черный цвет? Потому что если имитация представляет собой высшую форму лести, то «белые менестрели» — это комплимент, невольное признание того, что раз и вправду не довелось родиться черным, то быть черным и есть настоящая свобода. Спросите Эла Джонсона<sup>[198]</sup> или множество азиатских комиков, зарабатывающих себе на жизнь, играя черных. Или у сестер из NIG, которые уселись на место и оставили отдуваться единственную из них чернокожую девушку.

— Мистер Хомини, правда, что Фой Чешир купил права на самые расистские эпизоды «Пострелят»?

Вот черт дернул этого ниггера напомнить про Фоя Чешира!

Я посмотрел на свою черную соседку с блэкфейс, пытаюсь отгадать, участвует ли она в этой игре и чувствует ли себя при этом свободной. Понимает ли она, что натуральный цвет ее кожи — чернее любого блэкфейс? Тут Хомини указал на меня и представил как своего «хозяина». Несколько голов сразу повернулись ко мне: им было интересно посмотреть на живого рабовладельца. Я испытал соблазн поправить Хомини, уточнить, что я просто его менеджер, никакой не хозяин, но тут вспомнил, что в Голливуде это одно и то же.

— Думаю, так оно и есть. Мой хозяин отберет их, и тогда весь мир увидит мои самые лучшие, самые унижающие и оскоряющие работы.

К счастью, погас свет, и начали показывать расистские мультфильмы.



Мне нравится Бетти Буп<sup>[199]</sup>. У нее хорошая фигура. Она свободолобива, любит джаз и, по всей вероятности, опиум, потому что в галлюциногенном мультфильме «Betty Boop Ups and Downs» Луна продает депрессивную Землю с аукциона другим планетам. Сатурн, старый очкастый еврей с гнилыми зубами и характерным акцентом, побеждает, довольно потирает руки и злорадствует: «Моё, Моё, теперь вес мьир моё, майн готт» — и лишает земное ядро гравитации. Это 1932 год, символический еврей<sup>[200]</sup> Макса Флейшера доводит глобальный хаос до полного безумия. Не то чтобы Бетти было до этого дело. В мире, где летают кошки и коровы, а дождь идет снизу вверх, ее главная забота — чтобы ветер не вздымал юбку, из-под которой выглядывают облегающие трусики. И кто скажет, что мисс Буп — не своя в доску? Следующие шестьдесят минут мы наблюдали, как компания бухих коренных американцев в облезлых перьях не может поймать кролика Warner Brothers, не то что его приручить. Мышь-мексиканец пытается перехитрить кошку-«гринго», чтобы, прокравшись через границу, утащить сыр. Под мелодии «Swanee River» и «Jungle Nights in Harlem» Дюка Эллингтона прошла бесконечная череда мерзко озвученных персонажей Looney Tunes — афроамериканские кошки, вороны, лягушки, служанки, карточные игроки, собиратели хлопка и каннибалы.

Иногда выстрел из дробовика или взрыв динамита превращал номинально белого Поросенка Порки в менестреля цвета пороха. Полученный таким образом почетный статус ниггера позволял ему исполнять на фоне финальных титров веселые песенки вроде «Campdown Races». Подборку завершил мультфильм о моряке Попае и Багсе Банни, которые выигрывают Вторую мировую войну у кривоzubых, очкастых, тарыхтящих на птичьем языке японцев, разодетых как гейши и вооруженных огромными колотушками. Наконец, после того, как Супермен, вознагражденный медалью и восхищением публики, окончательно сокрушает японский флот, в зале зажегся свет. После двухчасового смеха в темноте над неприкрытым расизмом нахлынул стыд. Все видят твое лицо, и кажется, будто мама застукала тебя за мастурбацией.

За три ряда передо мной три друга — черный, белый и азиат — отправились к выходу, взяв со спинок кресел куртки. Они пытаются избавиться от ненависти. Черный парень, смущенный тем, что его высмеивали в фильме «Черномазка и Земь Гномов», все еще прикрывая лицо кепкой Супермена, шутливо накидывается на товарища-азиата: «Хватай Патрика! Он — враг!» Патрик загораживает лицо руками и



протестующе восклицает: «Я не враг! Я китаец!» Но в ушах у него еще звенят слова Багса Банни: «Япошка — косоглазая мартышка». Их невозмутимый белый товарищ, вышедший из схватки невредимым, смеется и сует сигарету в зубы: «Кто смел, тот и съел». С ума сойти, как быстро «Пострелята» и мультфильмы Technicolor почти столетней давности всколыхнули волну расовой неприязни и стыда. Нельзя представить себе чего-то более расистского, чем предложенное «развлечение», именно поэтому я был уверен, что слухи о Фое, якобы завладевшем несколькими сериями «Пострелят», совершенно точно ложные. Что может быть более расистским, чем только что увиденное?

Я обнаружил Хомини в вестибюле кинотеатра: он раздавал автографы, по большей части на том, что никак не было связано с «Пострелятами». Ему протягивали афиши старых фильмов, «Сказки Дядюшки Римуса», фотографии с Джеки Робинсоном<sup>[201]</sup> — все равно что, главное, старше 1960 года. Иногда я забываю, какой Хомини смешной. Раньше мы всегда были начеку и ждали от белых подвоха. В нашем арсенале всегда имелись импровизированный сарказм или непритязательная банальность, чтобы обезоружить и смутить белого провокатора. Возможно, наше чувство юмора напоминало ему, что под личиной черномазого скрывается нечто человеческое, и это позволяло нам избегать побоев и получать часть положенного нам жалованья. Блин, да один день жизни черного в сороковых я бы приравнял к тремстам годам репетиций в театрах The Second City<sup>[202]</sup> или The Groundlings<sup>[203]</sup>. Достаточно пятнадцать минут посмотреть в субботу телек, чтобы понять: на свете осталось не так уж много черных комиков, а неприкрытый расизм уже не тот, что прежде.

Девушки из «Нью Йота Гамма» попросили сфотографироваться вместе с Хомини.

— Как непсы<sup>[204]</sup> к занавесочкам, — сказал Хомини, приняв серьезный вид, а потом снова улыбнулся.

Шутку поняла лишь одна девушка, действительно темнокожая, и еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Я подошел к ней. Она упредила все вопросы, которые я не успел задать.

— Я учусь на подготовительных курсах в медицинский. Почему? Потому что у этих белых сучек все на мази, вот почему. И теперь и у нас есть своя сеть, и это ни хуя не шутки. Если не можешь их победить, значит, нужно к ним присоединиться. Мама правильно говорит: кругом сплошной расизм.

— Он не может быть кругом, — возразил я.

Будущая доктор Топси задумалась, наматывая на палец выбившуюся кудряшку.

— А знаете единственное место, где нет расизма? — Девушка оглянулась, не слышат ли ее «сестры», и сказала шепотом: — Помните фото, где семья черного президента идет, взявшись за руки, по лужайке возле Белого Дома? Только в тот сраный момент съемки только в том месте никакого расизма не существовало.

Зато в фойе театра расизма было хоть отбавляй. Сутулый белый братишка, повернув козырек бейсболки на правое ухо, приобнял Хомини, чмокнул в щеку и принялся на пару с Хомини паясничать. Настоящие братец Тамбо и братец Боунс<sup>[205]</sup>.

— Знаешь, все эти рэперы, — а ведь они считают себя «последними из настоящих ниггеров», — даже мизинца твоего не стоят, потому что ты, дружище, не только последний из «пострелят», ты последний настоящий ниггер. Я имею в виду ниггерrrrr.

— Благодарю тебя, белый человек.

— А знаешь, почему на земле не осталось настоящих ниггеров?

— Нет, сэр, не знаю.

— Потому что белые и есть новые ниггеры. Просто мы слишком самонадеянны, чтобы понять это.

— Новые ниггеры, говоришь?

— Да, все мы — ниггеры до гробовой доски. Мы ровня, лишенные гражданских прав, готовые сопротивляться этой гребаной системе.

— Только вам скосят срок вполовину.

Топси ждала нас на парковке кинотеатра, в том же костюме и с блэкфейсом, но в дизайнерских солнечных очках, и с азартом копалась в своем рюкзаке. Я попытался впихнуть Хомини в машину, пока он ее не заметил, но девица нас перехватила.

— Мистер Дженкинс, я хочу кое-что вам показать. — Топси вытащила из сумки толстенную папку на трех кольцах и раскрыла ее, положив на капот. — Я сделала копии регистрационных журналов по всем выпускам «Нашей банды» и «Пострелят», снятым на студии Хэла Роуча, а потом на MGM.

— Обалдеть!

Я выхватил из-под носа Хомини журнал и просмотрел столбцы записей. Там было все: названия, даты съемок, актерский состав, киногруппа, сводный бюджет, прибыль и убытки по всем 227 эпизодам. Минуточку, 227?

— Разве их было не 221?

Топси улыбнулась и открыла предпоследнюю страницу. Записи по шести фильмам, снятым в конце 1944 года, были полностью замараны. Это означало, что два часа детских бесшабашных шуток и приключений, которые я не видел, действительно где-то существуют. Мне казалось, я вижу перед собой сверхсекретный доклад ФБР об убийстве Кеннеди. Я рывком раскрыл папку и попытался просмотреть страницу на свет, надеясь попасть в то время и понять черные замыслы редакторов.

— Как вы думаете, кто это сделал? — спросил я девушку.

Топси вытащила из рюкзака еще один отксеренный листок. Список всех лиц, затребовавших документацию начиная с 1963 года и по сегодняшний день. Всего четыре имени: Мэйсон Риз<sup>[206]</sup>, Леонард Малтин<sup>[207]</sup>, Фой Чешир и Баттерфляй Дэвис, то есть, как я понимаю, наша Топси. Когда я оторвал глаза от журнала, Хомини и Баттерфляй уже сидели в кабине. Одной рукой он обнимал девушку, а другой давил на клаксон.

— Этот ниггер спер мои фильмы. Поехали скорей!

На путешествие из западного Лос-Анджелеса до обители Фоя в Голливуд-Хиллз потребовалось больше времени, чем следовало. Когда отец таскал меня в гости к Фоя, где они вели свои мозгодробительные беседы, мало кто знал самый короткий путь от бухты в горы. В то время Кресент-Хайтс и Россмор были тихими улицами, свободными для езды. Теперь это двухполосные магистрали, по которым машины едут бампер в бампер. Блин, я же плавал в бассейне Фоя, пока они с отцом сидели и разговаривали о политике и расовых проблемах. И отец ни разу даже не выказал раздражения, что Фой купил дом на деньги, который он получил от мультфильма «Черные коты и детский джаз», оригинальные раскадровки которого до сих пор висят у меня в спальне.

— Вытрись, придурок! — ворчал на меня отец. — Капаешь на хозяйский паркет из ятобы!

Большую часть поездки Баттерфляй и Хомини просидели в обнимку, рассматривая фотографии самой Топси и ее сестричества, прославляющие радости мультикультурализма. Они чморили все этносы Лос-Анджелеса, район за районом. В нарушение всех правил дорожного движения и социальных табу Баттерфляй сидела на коленях у Хомини (оба не пристегнутые ремнями безопасности).

— Вот это я на пикнике в Комптоне... «Девушка из гетто», третья справа.

Я кинул взгляд на фотографию. Девушки с пивом и баскетбольными мячами и их спутники, с зачерненными лицами, в афропариках, курят

косяки. Набивают золотозубые рты куриными ножками. Я счел оскорбительным даже не расистское глумление, а отсутствие воображения. А где Зип Кун<sup>[208]</sup>? Где хэпкэты сороковых<sup>[209]</sup>? Черные мамы? Штиблеты? Привратники? Квотербеки? Дикторы прогноза погоды на неделю выходного дня? Ресепционисты, которые здороваются с тобой в каждой киностудии и актерском агентстве города: «Мистер Уизерспун сейчас спустится к вам. Не желаете ли стакан воды?» Это проблема нынешнего поколения: оно не знает собственной истории.

— А это мы играем в лото «Бинго-Гринго» на Синко де Майо<sup>[210]</sup>.

В отличие от фото с пикника на этом снимке Баттерфляй можно было отыскать без труда: вот она, сидит рядом с девушкой-азиаткой. Обе они, как и остальные «сестры», были одеты в огромные сомбреро, пончо, с матерчатыми сумками-бандольерами и с накладными усами а-ля Панчо Вилья. Они пили текилу и играли в лото. *Ve-ocho...! Bingo!* Баттерфляй продолжала перебирать фотографии. Каждое событие предполагало свой дресс-код. Бункер: вечеринка в бассейне для подлинного генофонда. Японская пижамная вечеринка сябу-сябу. Тропою пива: пеший поход, переходящий в пейотль-трип.

Дом Фоя стоял неподалеку от Малхолланд-драйв, на холме с видом на долину Сан-Фернандо; мне казалось, он был больше, чем я помню. Настоящее поместье в тюдоровском стиле, с круговой подъездной аллеей, похожее на школу-пансион, даже несмотря на огромное объявление о продаже с молотка за долги, прибитое к воротам. Мы вывалились из машины. Горный воздух был живительно чист. Я глубоко вдохнул и задержал дыхание, а тем временем Хомини и Баттерфляй отправились к воротам.

— Нутром чую, мои фильмы там.

— Хомини, в доме никто не живет.

— Они там, я знаю.

— И что, собираешься перерыть весь двор, как в «Нежданном богатстве»? — спросил я, приплетя заодно лебединую песню Спэнки.

Хомини пошатал железный забор. И тут в памяти всплыл код — прямо как телефонный номер старого друга детства. Я набрал на панели 1–8–6–5. Ворота зажужжали, натягивая роликовую цепь, и медленно открылись. 1865<sup>[211]</sup>. Эти черные так предсказуемы.

— *Масса*, пойдем?

— Думаю, вы и без меня разберетесь.

За Малхолланд открывался живописный вид.

Заметив время, я отправился на север, лавируя между гнавшим «мазерати» и двумя подростками на дареном кабриолете BMW. Почти два километра дорогу пересекали следы от грязевого оползня, уходившие вниз, в кусты. Наконец, я выехал к улице и к Кристалуотер Кэньон Парк, небольшой ухоженной зоне отдыха, оборудованной столиками для пикников, с тенистыми деревьями и баскетбольной площадкой. Не обращая внимания на текущую по дереву смолу, я уселся под толстой елью. Собравшиеся после работы игроки разминались, чтобы сыграть пару раз до заката. В центре площадки маячил одинокий долговязый черный лет тридцати с небольшим, светлокожий, без рубашки. Из тех полупрофессионалов, что забредают на площадки для белых в богатых кварталах вроде Brentwood или Лагуны в поисках достойной игры, возможности возвыситься и, кто знает, может даже найти работу.

— Внимание! Всем ниггерам просьба съехать с площадки, — заорал черный брат к восторгу белых игроков.

Профессор философии в творческом отпуске ввел мяч в игру. Адвокат по делам о возмещении ущерба бросил с угла. На редкость хорошо сыграв рукой, толстый фармацевт опередил педиатра, но смазал бросок в прыжке. Дейтрейдер сделал бросок, но не задел кольцо, и мяч улетел за поле в сторону парковки. Даже в Лос-Анджелесе, где крутые тачки стоят впритык, словно тележки у супермаркета, машина Фоя с номером '56 300SL опознавалась безошибочно. На земле таких осталось не больше сотни. Фой сидел возле переднего крыла в небольшом шезлонге, одетый лишь в трусы, футболку и сандалии, болтал по телефону и одновременно что-то печатал на ноутбуке, почти таком же старом, как и его автомобиль. Он сушил одежду. Его рубашки и брюки висели на плечиках, зацепленных за дверцы «крылья чайки», которые, широко распахнутые, парили, как крылья серебряного дракона. Мне нужно было спросить. Я встал и прошел вдоль площадки. Два игрока упали, хотя мяч не был ни у одной из команд. Они поднялись на ноги и продолжили спор.

— Ну и от кого отскочил мяч? — спросил меня игрок в стоптанных кроссовках, протянув ко мне руку в молчаливой мольбе о пощаде.

Я его узнал. Он играл усатого детектива в одном старом сериале, который до сих пор популярен на Украине.

— Он отскочил от чувака с волосатой грудью.

Кинозвезда не согласилась. Но это было верным решением.

Фой поднял на меня глаза, не переставая болтать по телефону и печатать. Он страстно и неразборчиво тараторил бессмысленный набор слов — что-то про скоростные поезда и возвращение негров-носильщиков

в пульмановские вагоны. Шины «Пирелли» его «мерседеса»-купе полысели. Из потрескавшейся кожаной обшивки сидений, словно гной, выпирал желтый поролон. Наверное, Фою негде было жить, но он отказывался расставаться со своими часами и машиной, за которую, даже в таком разьебанном состоянии, он выручил бы на аукционе несколько сотен тысяч. Но мне нужно было спросить.

— Что пишешь?

Он прижал телефон плечом.

— Сборник эссе «Когда-нибудь я заговорю как белый».

— Фой, когда в последний раз ты произвел на свет хоть что-то оригинальное?

Совершенно не обидевшись, Фой на секунду задумался и сказал:

— Наверное, когда был жив твой отец.

И продолжил телефонный разговор.

Я вернулся к старому дому Фоя и обнаружил, что Хомини и Батерфляй купаются гольшом в бассейне. Даже удивительно, что любопытные соседи не потрудились вызвать полицию. Наверное, все черные старики похожи друг на друга. Стемнело, беззучно включилась автоподсветка воды. Светлоглубой цвет вечернего бассейна — мой любимый. Хомини залез на самую глубину, притворившись, будто не умеет плавать, и хватался за выдающиеся части тела Баттерфляй как за спасательный круг. Ему не удалось найти того, чего он искал, — фильмов, но то, что он, кажется, нашел, его успокаивало. Я разделся и тоже прыгнул в воду. Она была теплая, градусов тридцать — неудивительно, что Фой разорился.

Я плыл на спине и сквозь пар, поднимавшийся над водой, смотрел на Полярную звезду. Она указывала путь к свободе, но я не знал, нужна ли она мне. Я думал об отце, чьими идеями было оплачено это заложенное поместье. Я перевернулся лицом вниз, словно мертвец, пытаюсь принять позу, в которой отец лежал на улице, когда я его нашел. Что успел он сказать перед тем, как его застрелили? *Вы еще не знаете, кто мой сын.* Вся эта работа, Диккенс, сегрегация, Марпесса, хозяйство, а я до сих пор не знаю, кто я есть.

*Нужно задать себе два вопроса. «Кто я? И как мне стать собой?»*

Я оставался таким же потерянным человеком, как и прежде, и уже серьезно подумывал, чтобы ликвидировать ферму, вырвать с корнем урожай, продать скот и устроить огромный бассейн с искусственными волнами. Круто же заниматься серфингом на заднем дворе?

## Глава двадцать третья

Через две недели после нашего приключения «В поисках утраченных киносокровищ на бульваре Лорел Кэньон» раскрылась тайна. Журнал New Republic, не печатавший фото детей на обложке со времен «ребенка Линдберга»<sup>[212]</sup>, вдруг разразился статьей. Над заголовком «Новый Джим Кроу»<sup>[213]</sup>. Государственное образование: подрезает ли оно крылья белым детям?» был изображен мальчик лет двенадцати, являвший собой символ обратного расизма. Новый Джим Кроу стоял на ступеньках школы Чафф с толстой золотой цепью на шее, в тонкой шапке и наушниках с шумоподавлением, из-под которых торчали непокорные грязные белые космы. В одной руке он держал учебник по афроамериканскому английскому, в другой — баскетбольный мяч. Мальчик ехидно улыбался золотыми брекетами, а на его футболке размера XXXL было написано: «Энергия = эпси<sup>2</sup>»<sup>[214]</sup>.

Давным-давно мой отец учил меня, что ответ на любой вопрос, вынесенный на обложку журнала, — «Нет», потому что редакция знает, что ответ «Да» отпугивает читателя так же, как предупреждения на сигаретных пачках с крупными планами гноящихся гениталий не отвращают, а провоцируют на курение и небезопасный секс. Таким образом, получается желтая журналистика: *Народ против О. Джей Симпсона*<sup>[215]</sup>: *раскол ли Америку вердикт суда?* Нет. *Телевидение зашло слишком далеко?* Нет. *Антисемитизм снова наступает?* Нет, потому что он никогда и не останавливался. *Подрезает ли крылья белым детям государственное образование?* Нет, потому что через неделю после того, как номер появился в киосках, у остановки на Розенкранц остановился арендованный школьный автобус и оттуда выпрыгнули пятеро белых детей с рюкзаками за спиной, где лежали учебники, тревожные свистки и газовые баллончики, и совершили попытку реинтеграции школы Чафф, а завуч Карисма Молина стояла в дверях, преграждая вход в свое квазисегрегированное учреждение.

Даже если Карисма и не рассчитывала на паблисити в связи с тем, что школа, продолжай она развиваться прежними темпами, заняла бы четвертое место по округу, она должна была понимать, что двести пятьдесят бедных цветных детей, получающих неполное среднее образование, никогда не попадут на первую полосу, а отказ в обучении даже одного белого вызовет бурю в СМИ. Однако никто не мог предвидеть появление коалиции состоятельных белых родителей, которые, послушав советы Фоя, забирали



детей из слабых государственных школ или из необоснованно дорогих частных. И призывали вернуться к принудительным школьным автобусам для всех, против чего так рьяно возражали родители предыдущего поколения.

Власти штата Калифорния, слишком растерянные и бедные, чтобы предоставить вооруженную охрану, опутив руки, наблюдали, когда пять жертвенных агнцев реинтеграции (Сьюзи Холланд, Ханна Нейтер, Робби Хейли, Киган Гудрич и Мелони Вандевеге) вышли из автобуса под защитой не национальной гвардии, а магии прямой телетрансляции и громких выкриков Фоя Чешира. Я видел его две недели назад, он тогда жил в своей машине, и, насколько мне известно, на последнее заседание в «Дам-дам» никто не пришел, хотя было запланировано выступление важного деятеля \_р\_ \_ \_ О\_ \_ \_ \_ \_.

Сгорбив плечи и защищая руками лица, Диккенсовская Пятерка, как впоследствии стали называть этот квинтет, мужественно приготовилась взойти на эшафот истории под градом камней и пустых бутылок. Но в отличие от жителей Литл-Рока 3 сентября 1957 года<sup>[216]</sup>, никто из диккенсовцев не плевал им в лицо и не бросался расистскими оскорблениями. Напротив, у Великой Пятерки просили автографы и интересовались, с кем они пойдут на школьный бал. Но когда будущие ученики поднялись по лестнице, в дверях возникла завуч Карисма, которая не хуже губернатора штата Арканзас Фобуса вцепилась рукой в дверной косяк и отказывалась двигаться. Ханна, самая высокая из всех, попыталась ее обойти, но Карисма была просто кремень.

— Англосам вход воспрещен.

Мы с Хомини стояли по эту сторону баррикад. Стояли за спиной Карисмы и, как и все остальные, если не считать опекунов и поваров Центральной средней школы Литл-Рок или Университета Миссисипи в 1962 году<sup>[217]</sup>, выступили против истории. Хомини приперся в школу, чтобы рассказать о Джиме Кроу. Меня же Карисма вызвала, чтобы показать письмо, приложенное к присланной по почте книге Фоя «О мышьяке и блюде»<sup>[218]</sup> — очередное переосмысление классики в духе мультикультурализма, китайская адаптация Стейнбека, где действие было перенесено во времена китайских кули на железной дороге. Книга была написана под копирку, только без артиклей, а все «л» и «р» переставлены. *Может, в этом плохлятом миле все боятся долг долга. Хоть убей не пойму: после сына Чарли Чана номер один еще более полувека тому назад, после японского парня из Smahing Pumpkins, офигенных музыкальных*



продюсеров среди них, скейтбордистов и покорных азиатских жен для белых парней из рекламы радиотехники, — люди вроде Фоя Чешира все еще думают, что иена — это китайская валюта и что азиаты-американцы не способны произнести это чертово «р». Однако написанное второпях, кривыми каракулями, несколько нервировало:

Уважаемая пешка либеральных сил,

Не думаю, что вам по силам совершить мыслительный подвиг, чтобы понять, но тем хуже для вас. Эта книга уверенно ставит меня в ряд таких писателей, получивших самообразование, как Вирджиния Вульф, Кавабата, Мисима, Маяковский и ДФУ<sup>[219]</sup>. Увидимся в школе в понедельник. Занятия пройдут на вашей территории, и все же моими слушателями будете вы. Возьмите с собой ручку, бумагу и заклинателя ниггеров Продажную тварь.

С уважением,

Фой «А вы знали, что Ганди избивал свою жену?» Чешир.

Когда Карисма спросила, почему Фой перечислил именно этих писателей, я сказал, что не знаю, умолчав о том, что список составлен исключительно из самоубийц. Трудно сказать, было ли письмо проявлением суицидального мышления, но на это стоило надеяться. Нынче не так много черных, выбившихся в «первые», а поскольку Фой был прекрасной кандидатурой, чтобы оказаться «первым чернокожим писателем, покончившим с собой», я был готов на это посмотреть. Самообразование, значит? У него оказался самый паршивый учитель в мире.

Фой выступил во главе колонны, взяв на себя роль переговорщика, торжественно предъявив небольшую стопку ДНК-экспертиз, причем он размахивал ею не у лица Карисмы, а перед объективом ближайшей телекамеры:

— В моих руках список заключений, доказывающих, что предки каждого из этих детей по материнской линии прослеживаются вглубь тысячелетней истории кенийской Восточноафриканской рифтовой долины.

— Ниггер, ты на чьей стороне?

Из закрытой двери школьного холла я не видел того, кто это сказал, но вопрос был хороший, и, судя по молчанию, Фой не знал на него ответа. Да и сам я не очень-то понимал, на чьей я стороне. Я был уверен только, что я точно не с Библией, осознанными рэпперами<sup>[220]</sup> и Фоем Чеширом. Зато

Карисма почувствовала твердую почву под ногами: обеими руками толкнула Фоя в грудь, и дети скатились вниз по лестнице, как кегли. Я оглянулся на тех, кто стоял по эту сторону порога: на Хомини, учителей, на Шейлу Кларк. Все были немного испуганы, но полны решимости. Блин, похоже, все-таки я оказался на верной стороне истории.

— Если вы так уж хотите учиться в Диккенсе, предлагаю дожждаться, когда заработает школа через дорогу.

Будущие белые ученики подхватились, обернулись и уставились на своих предков, гордых первооткрывателей мифической Академии Уитон. Они увидели девственные здания, эффективных преподавателей, привольно раскинувшийся зеленый кампус. Академия Уитон так звала к себе, что молодняк нетерпеливо потянулся на эти учебные небеса, как ангелы тянутся к лютневой музыке и приличной жарке в столовой. Но тут на их пути встал Фой.

— Не верьте кумирам! — вскричал он. — Эта школа — корень всех зол. Это пощечина каждому, кто ратует за равенство и справедливость. Расистская насмешка, издевательство над трудящимися этого сообщества или всех остальных. Морковка, висящая перед мордой старой лошади, которая слишком устала, чтобы скакать. Кроме того, этой школы не существует.

— Но она выглядит как настоящая.

— Это просто мечты, которые кажутся реальностью.

Разочарованные, но не побежденные, дети устроились на траве возле флагштока. Получилась мексиканская мультикультурная ничья: в середине — черножопый Фой и белые дети и по обе стороны от них — Карисма и призрак идеальной Академии Уитон.

Говорят, что отец маленького Тайгера Вудса во время игры по выходным специально звенел мелочью в кармане в момент, когда Тайгер готовился к победному броску с двух метров. В конечном итоге вырос гольфист, который не отвлекается ни на что другое. С другой стороны, я вечно на что-то отвлекаюсь. Перманентно отвлекаюсь, потому что мой отец любил поиграть со мной в «Постфактум». Посреди какого-нибудь занятия отец вдруг совал мне под нос известную историческую фотографию и спрашивал: «А что было дальше?» Мы как-то пришли на матч «Бостон Брюинз»<sup>[221]</sup>, и во время важного таймаута он вдруг сунул мне в нос фото с отпечатком ноги Нила Армстронга на лунной пыли. А что было дальше? Я пожал плечами.

— Не знаю. Он снимался в рекламах «Крайслера» по телику.

— Неверно. Он стал алкоголиком.

— Папа, я думал, это Базз Олдрин<sup>[222]</sup>...

— Кстати, многие историки считают, что он был в дупель, когда ступил на Луну. «Всего маленький шаг, но для человечества — это гигантский скачок вперед». Что вообще они хотели этим сказать?

Посреди матча Малой бейсбольной лиги, в которой я играл впервые, Марк Торресс, долговязый нападающий с битой, столь же твердой, как подростковая эрекция, и быстрый, как первый секс, пробил 0:2 в свою пользу. Этого не увидел ни судья, ни я: я только почувствовал, как просвистел ветер над головой. Отец сорвался с трибуны и побежал ко мне. Но вовсе не для того, чтобы дать мне дельный совет. Нет, он сунул мне под нос знаменитую фотографию встречи на Эльбе, где американские и русские солдаты обмениваются рукопожатиями, поздравляя друг друга с фактическим окончанием Второй мировой войны на европейском театре военных действий. Так что было дальше?

— После этого Америка и Советский Союз вступили в холодную войну, которая продолжалась почти пятьдесят лет, и обе страны были вынуждены потратить на оборону триллионы долларов по схеме финансовой пирамиды, которую Дуайт Эйзенхауэр называл военно-промышленным комплексом.

— Неплохо. К тому же Сталин расстрелял всех солдат с этой фотографии за братание с врагом.

В зависимости от степени повернутости на научной фантастике это могли быть вторые «Звездные войны» или пятые. Но это не важно, потому что в разгар битвы на мечах между Дартом Вейдером и Люком Скайуокером, прямо после того, как Повелитель тьмы успевает отсечь противнику руку, папа выхватил из рук капельдинера фонарик и кинул в меня черно-белое фото. Так что было дальше? В колеблющемся круге света — молодая чернокожая девушка в идеально отглаженной белой блузке и клетчатой, как скатерть, юбке прижимает к своей еще неоформившейся, как и ее психика, груди толстую папку на трех кольцах. Она в темных солнечных очках, смотрит куда-то мимо меня и бесноватых белых теток за ее спиной.

— Девятка из Литл-Рока, она одна из них. Власти подогнали федеральные войска, она доучилась. С ней все потом было хорошо.

— Да, но потом, на следующий год, губернатор вместо того чтобы продолжить, как того требовал закон, интеграцию образовательного процесса, вообще позакрывал в городе все школы. Раз ниггеры хотят учиться, то никто не собирается их учить. Кстати, об учебе: обрати внимание, что они, школьные учителя, об этом не рассказывают.

Я никогда ничего не говорил о «них», поскольку не знал ни одного учителя, кроме отца. Помню только, как удивился, когда увидел, как Люк Скайуокер непонятно почему падал в звездную бездну.

Иногда мне хотелось, чтобы моим отцом стал Дарт Вейдер. С ним было бы лучше. Пусть у меня не было бы правой руки, но я точно не обязан был бы быть черным и мне не пришлось бы постоянно из-за этого переживать. Кроме того, я левша.

Итак, они все собрались тут, неподатливые, как пятна травы на одежде, в ожидании, что кто-то вмешается в события. Правительство. Бог. Пятновыводитель для цветных вещей. Полиция. Кто угодно. Карисма раздраженно посмотрела на меня:

— Эта херня закончится когда-нибудь?

— Вряд ли, — пробурчал я и отошел в сторону, подставив лицо под свежий весенний ветерок калифорнийского утра.

Фой мобилизовал свое войско на громкое пение «We shall overcome». Взявшись за руки, они раскачивались в такт. Многие думают, что песня «We shall overcome» является всеобщим достоянием. Что благодаря великодушию черных борцов за свободу любой столкнувшийся с предательством и несправедливостью имеет право в любое время в любом месте распевать ее вдохновляющий припев, как и должно быть. Но если вы стоите около Управления по охране авторских прав, распевая «We Shall Overcome», выступаете против тех, кто получает прибыль с украденной песни, то помните: Питу Сигеру причитается десять центов за каждое исполнение. Поэтому, несмотря на то что Фой старался изо всех сил, поменяв уместное «когда-нибудь» на крик «прямо сейчас!», я на всякий случай кинул ему под ноги монетку.

Фой поднял руки высоко над головой, и его свитер задрался, обнажив пузо и рукоять пистолета, торчащую из-за итальянского кожаного ремня. Это объясняло и изменение слов песни, и письмо, и нетерпение, и странный блеск в его глазах. И как же я раньше не заметил отсутствие углов на его обычно прямоугольной прическе?

— Карисма, вызывай полицию.

Не два, а все шесть куплетов «We shall overcome» знают только студенты-хиппи, негритянские певцы джубили, болельщики «Чикаго Кабс»<sup>[223]</sup> и прочие разномастные идеалисты, поэтому, когда на третьем куплете хор начал сбиваться, Фой вытащил пушку и помахал ей, словно это была его козырная карта сорок пятого калибра. Призывая свой хор продолжать петь подзабытые фрагменты, хотя все стояли к нему спиной, и несясь мимо меня и Хомини к школьному входу, закрытому Карисмой.

В Диккенсе уж если собралась толпа, то ее не разгонишь. Как и местная пресса, привыкшая к бандитским разборкам и бесконечному потоку чокнутых убийц. Поэтому когда Фой запустил две пули в зад собственного «Мерседеса», криво припаркованного на Розенкранц, толпа если и расступилась, то только для того, чтобы образовать аварийный выход, по которому дети могли без риска для жизни забраться в автобус и вжаться в сиденья. Десегрегация — болезненный процесс для обеих сторон, и когда Фой произвел еще два выстрела в движение за гражданские права, он значительно его замедлил, поскольку у «Автобуса Свободы» спустило две шины.

Еще один выстрел пришелся по эмблеме «Мерседес-Бенц». Багажник медленно и величественно открылся, как могут только багажники «Мерседесов». Фой вытащил оттуда ведро с побелкой. И прежде чем я или кто-то еще смог до него добраться, стал отгонять толпу пушкой и фальшивым пением. При этом он опять заменил слова: персонализировал песню, исполняя вместо «мы» — «я». Как обычно говорят на песенных телеконкурсах, «Вы сделали эту песню своей собственной».

Щелчок открытой банки с краской всегда очень радует. Закономерно довольный собой и своими ключами от машины, Фой, не переставая петь во все горло, встал на ноги, повернулся спиной к улице и наставил пистолет мне в грудь. Я вспомнил слова отца: «Я миллион раз такое видел. У образованного ниггера сносит резьбу, потому что пазл сложился». Вся чернота, съедавшая их изнутри, вдруг улетучивается, как грязь на стекле во время дождя. Остается только прозрачность души человека, и человека видно насквозь. Наконец обнаружена ложь в резюме. Найдена причина, по которой он никак не допишет отчет: и это не дотошность, а дислексия. Оправдались подозрения, что вечный флакон ополаскивателя для рта на столе у черного сотрудника, который сидит рядом с туалетом, вовсе не «устраняет неприятные запахи, обеспечивая защиту от бактерий, которые могут вызвать воспаление десен», а мятный шнапс. Жидкость, предназначенная для уничтожения кошмаров и поддерживающая ложное чувство безопасности, будто листериновая улыбка, убивает их нежно. «Я видел миллион раз, как это с ними происходит, — говорил отец. — У ниггеров с Восточного побережья по крайней мере есть „Виноградник“<sup>[224]</sup> и Саг-Харбор<sup>[225]</sup>. А у нас что? Лас-Вегас да чертов „Полло Локо“»<sup>[226]</sup>. Лично я люблю «Полло Локо». Я не мог сказать с уверенностью, что Фой опасен для меня или для других, но решил: если выберусь из этой переделки живым, первым делом пойду в «Полло Локо» на пересечении

Вермонт и 58-й улицы. Закажу себе жареного цыпленка с поджаренной кукурузой и картофельным пюре и какой-нибудь красный фруктовый пунш, вкус которого напоминает мне праздник по случаю моего восьмилетия.

Сирены были на полпути. Даже когда в округ хлынули налоги от переоцененной недвижимости, Диккенс не получил от государства свою долю. А теперь, при сокращении финансирования и взятках, время ответа на запрос вообще составляло вечность, и вызов принимали операционисты, находившиеся на посту еще со времен Холокоста, геноцида в Руанде, бойни на ручье Вундед-Ни и гибели Помпеи. Фой отвел от меня пистолет, приставил дуло к своему уху, а другой рукой опрокинул ведро полусохшей краски себе на голову. Краска тягуче расплзлась по левой половине тела: его левый глаз, левая ноздря, левый рукав, левая штанина и целиком часы «Патек Филипп» стали совершенно белыми. Фой, конечно, был никакое не Древо познания, скорее Куст мнения, но в любом случае я понимал, что, на публику или нет, он умирает изнутри. Я посмотрел на его корни. По бороде Фоя стекал молочно-белый водопад и капал с подбородка на коричневый ботинок. В этот раз было очевидно, что с обувью все кончено, потому что преуспевающий черный вроде Фоя любит ботинки больше, чем Создателя, родину или крутобедрую женушку.

Я подошел к нему, подняв руки и открыв ладони. Фой еще сильнее вдавил пистолет в свою уродскую прическу афро, удерживая самого себя в заложниках. Неважно, что это, «полицейское самоубийство» или жалкая отмазка, — я обрадовался уже тому, что он перестал петь.

— Фой, — произнес я удивительно отцовским голосом. — Тебе нужно ответить себе всего на два вопроса. «Кто я есть? И как мне стать самим собой?»

Я ждал предсказуемого «Я делаю то-то и то-то ради вас, ниггеров, а где благодарность?» и жалоб, что никто не покупает его книг. Что он был продюсером, режиссером, редактором и звездой телевизионного ток-шоу, которое показывали на двух континентах, и принес в десятки домов на шести континентах усредненную и романтизированную версию черной философской мысли, а представления мира о нас изменились не больше, чем наши представления о самих себе. Что он внес личный вклад в избрание чернокожего президента, и ничего не изменилось. Что на прошлой неделе какой-то ниггер выиграл семьдесят пять тысяч долларов на подростковом Jeopardy, и все стало еще хуже. Что на самом деле все становится только хуже. Из нашего словаря и из нашего сознания исчезло слово «бедность». Потому что на автомойках работают белые парни. Потому что женщины в порно выглядят лучше, чем прежде, а хорошенькие

геи работают натуралами. Потому что знаменитые актеры снимаются в рекламе телефонных компаний и армии Соединенных Штатов. Знаешь, почему, как ты говоришь, везде такой пиздец? Потому что кое-кто решил, будто на дворе 1950 год и можно возродить в американском народе дух сегрегации. Ведь это твоих рук дело, Продажная тварь? Это ты понатыкал все эти таблички по городу? Придумал возвести в гетто фальшивую школу, как в Париже в Первую мировую, чтобы запутать немецкие бомбардировщики, везде понатыкали вокзалы, триумфальные арки и эйфелевы башни. Как немцы, которые во время следующей войны, в свою очередь, построили в концлагере Терезиенштадт магазины, театры и парки, чтобы обмануть Красный Крест и заставить его поверить, что никаких зверств там не творилось, хотя вся война и была цепью гребаных зверств: пуля, незаконное задержание, стерилизация, атомная бомба — все сразу. Но меня ты не одурачишь. Я тебе не Люфтваффе и не Красный Крест. И я не рос в этой дыре... Яблоко от яблони недалеко падает.

Когда между пальцев сочтется твоя кровь, любое ее количество воспринимается как «обильное». Но когда я корчился в канаве, прижав руками собственные кишки, я почувствовал что-то похожее на успокоение. Я даже не слышал выстрела, но первый раз в жизни почувствовал сходство с отцом: мы оба были подстрелены в живот трусливыми ублюдками. И это было своего рода искупление грехов. Словно наконец вернул отцу долг за все его ебанутые представления о детстве и о черных. Папа никогда не верил в ощущение завершенности. Говорил, что это ложная психологическая концепция. Что-то, выдуманное психотерапевтами, чтобы облегчить белым чувство вины. За годы учебы и практики отец не слышал ни от одного цветного пациента, что они нуждаются в «завершенности», готовы отпустить прошлое. Они хотели отмщения. Соблюдения дистанции. Возможно, прощения и хорошего адвоката, но не завершенности. Отец говорил, что люди неверно понимают самоубийство, убийство, установку желудочного баллона, межрасовые браки и щедрые чаевые как завершенность, хотя на самом деле все, чего они достигают, — это полное уничтожение.

Проблема завершенности в том, что тыходишь во вкус и хочешь, чтобы завершилось и все вокруг. Особенно когда ты истекаешь кровью, твой совершенно вышедший из подчинения раб орет: «Верни моих „Пострелят“, мудила!» и с такой яростью колотит твоего противника шишковатыми кулаками, что отодрать его может только половина окружного управления шерифа. А ты между тем пытаешься остановить



кровь мокрым журналом Vibe<sup>[227]</sup>, который кто-то бросил в канаву, и у тебя нет времени на то, чтобы не воспользоваться хоть этим. Канье Уэст провозгласил: «Я есть рэп!» Jay-Z возомнил себя Пикассо. Жизнь охуительно мимолетна.

— «Скорая» вот-вот подъедет.

Наконец все успокоились. Хомини, не переставая рыдать, снял с себя футболку, скатал валиком, положил себе на колени и опустил на нее мою голову. Рядом присела на корточки помощник шерифа и аккуратно потыкала рану тыльной частью фонарика.

— А ты пиздец какой смелый, Заклинатель. Ни о чем не хочешь попросить?

— Завершенность.

— Думаю, даже не придется зашивать. На ранение в живот не похоже, скорее пуля задела «трудовую мозоль», рана неглубокая, ерунда.

В того, кто говорит, что рана неглубокая, никогда не стреляли. Но я был не намерен позволить такому незначительному отсутствию эмпатии помешать тотальной завершенности.

— Нельзя кричать «Пожар!» в переполненном кинотеатре?

— Разумеется.

— А я прошептал «расизм» в пострасовом мире.

Я поведал ей о своей попытке вернуть Диккенс и о том, что думал, будто строительство школы вернет городу чувство идентичности. Она сочувственно потрепала меня по плечу и подозвала по рации своего начальника, и пока меня бинтовали, мы вдвоем спорили о тяжести моего преступления. Представители округа не желали вменять мне что-то тяжелее вандализма по отношению к госсобственности, а я убеждал их, что хотя после возведения Академии Уитон уровень преступности в районе снизился, содеянное все равно являлось нарушением Первой поправки, Гражданского кодекса, а также, несмотря на перемирие в войне с бедностью, как минимум четырех статей Женевской конвенции.

Явились парамедики. Стабилизировав мое состояние с помощью марли и нескольких добрых слов, фельдшер приступил к заполнению формальных документов.

— Близкие родственники?

Пока я лежал, если не при смерти, то почти, я думал о Марпессе. Которая, если верить положению солнца в великолепном синем небе, остановилась на обеденный перерыв у океана в дальнем конце прямо той же самой улицы Розенкранц. Закинула босые ноги на приборную панель, уткнулась носом в Камю и слушает «This Must be the Place» The Talking



Heads.

— У меня есть девушка, но она замужем.

— А этот? — Парамедик указала шариковой ручкой в сторону полуголого Хомини, который стоял рядом и давал показания помощнице шерифа: та записывала их в блокнот, недоверчиво качая головой. — Он член семьи?

— Семья? — Подслушивавший фельдшера Хомини несколько оскорбился, вытер свои дряблые подмышки футболкой и подошел узнать, как я поживаю. — Да я ему ближе, чем семья!

— Он уверяет, что его раб, — справилась с записями помощник шерифа. — По словам этого ебанутого, он работает на него уже четыреста лет.

Фельдшер кивнула и пробежалась по его морщинистой спине руками в резиновых перчатках, обсыпанных тальком.

— Откуда у вас эти рубцы?

— Меня пороли хлыстом. Как их еще мог получить ленивый, никчемный ниггер?

Надев на меня наручники и пристегнув их к носилкам, помощники шерифа наконец поняли, что могут предъявить мне обвинение, но пока меня несли сквозь толпу к машине, мы дискутировали о формулировках.

— Может, работоторговля?

— Нет, его мне никто не продавал. А что насчет принудительного труда?

— Допустим, но не похоже, что вы заставляли его работать.

— Не похоже, чтобы он работал.

— Так вы его действительно били плеткой?

— Не совсем так. Я плачу одним людям... Это долгая история.

Одной из фельдшериц пришлось перевязать шнуры, положив меня на деревянную скамью автобусной остановки. Со спинки скамейки успокаивающе улыбалась мне знакомая личность в красном галстуке. Он смотрел прямо на меня и подбадривающе улыбался.

— У вас есть хороший адвокат? — спросила помощник шерифа.

— Позвоните вот этому ниггеру, — сказал я, постучав пальцем по постеру. Реклама гласила:

Хэмптон Фиск — *адвокат*

Помни четыре правила для оправдательного приговора:

1. Ни хрена не говори!

2. Не убегай!

3. Не оказывай сопротивления при аресте!

4. Ни хрена не говори!

1–800-СВОБОДА Se Habla Español<sup>[228]</sup>

Он опоздал на обвинительный акт расширенной коллегии присяжных, но услуги Хэмптона того стоили. Я сказал ему, что не могу позволить себе сидеть в тюрьме. У меня урожай созревает, кобыла на днях ожеребится. Вооружившись этим знанием, Хэмптон явился в суд, на ходу смахивая с пиджака листья, выдергивая из завитой шевелюры веточки, и с корзиной моих фруктов в руках. И с места в карьер начал:

— Будучи фермером, мой клиент является очень важным членом данного цветного сообщества, представители которого, что подтверждено документально, страдают от недоедания и авитаминоза. Он никогда не выезжал за пределы штата Калифорния, у него древний пикап на этаноле, который, черт побери, найти в этом городе нереально, следовательно, скрыться от следствия никак не может.

Генеральный прокурор штата, специально прилетевшая на слушания из Сакраменто, вскочила на ноги, обутые в туфли Prada на высоких каблуках:

— Протестую! Подсудимый, просто злой гений во плоти, своими отвратительными действиями умудрился подвергнуть расовой дискриминации все расы одновременно, не говоря уж о его собственном нескрываемом рабовладении. Правосудие штата Калифорния считает, что имеет более чем достаточно доказательств для обвинений в злостном нарушении Билля о гражданских правах в редакции 1866, 1871, 1957, 1964 и 1968 годов, 13-й и 14-й поправок к конституции<sup>[229]</sup>, а также шести из десяти библейских заповедей. Будь моя воля, я бы обвинила его в преступлениях против человечности!

— Вот вам доказательство человечности моего клиента, — спокойно произнес Хэмптон, осторожно поставив корзину с фруктами перед судьей и отступив назад с низким поклоном. — Только что собраны на ферме моего клиента, ваша честь.

Судья Нгуен потер усталые глаза. Взял нектарин и, задумчиво покатав в пальцах, произнес:

— Парадокс в том, что в этом зале собрались главный прокурор штата — женщина афроазиатского происхождения, черный подсудимый, черный защитник, судебный пристав — латиноамериканец и я, вьетнамоамериканец — районный судья, чтобы, по сути, определить параметры судебного спора о применимости, действительности и самом

существовании понятия превосходства белых в рамках нашей системы права. И хотя никто из присутствующих не станет отрицать базовые постулаты «гражданских прав», мы можем до скончания веков спорить о том, что составляет равенство перед законом, определенное соответствующими статьями Конституции, в нарушении которой обвиняется подсудимый. Пытаясь восстановить свое сообщество путем повторного введения ряда правовых норм, а именно сегрегации и рабства, которые, с учетом истории его культуры, стали определять облик сообщества, несмотря на предполагаемые неконституционность и несуществование этих концепций, он обозначил фундаментальный изъян в понимании американцами равенства. «Мне не важно, черный ты, белый, коричневый, желтый, красный, зеленый или фиолетовый», — мы все так говорили. Это постулируется как доказательство нашей непредубежденности, однако если кого-либо из нас покрасить в фиолетовый или в зеленый, мы чертовски разозлимся. А именно это он и делает. Он всех раскрашивает, красит сообщество в фиолетовый и в зеленый и смотрит, кто после этого продолжает верить в равенство. Не знаю, законны ли его действия, но точно могу гарантировать подсудимому реализацию его гражданского права на скорый суд. Заседание — завтра в девять утра. Однако приготовьтесь: каким бы ни был приговор, оправдательным или обвинительным, дело отправится в Верховный суд, так что, надеюсь, на ближайшие лет пять у вас не запланировано ничего другого. Залог назначается... — Судья Нгуен куснул нектарин, поцеловал крестик и продолжил: — Залог назначается в размере одной канталупы и двух кумкватов.

# Черный абсолют

## Глава двадцать четвертая

Я думал, кондиционеры в Верховном суде будут такие же фиговые, как в лучших судебных фильмах вроде «12 разгневанных мужчин» или «Убить пересмешника». В кино суд всегда бывает во влажной местности в разгар лета, потому что книги по психологии утверждают, что уровень преступности растет в зависимости от температуры воздуха. Люди срываются. Возопревшие свидетели и адвокаты с прокурорами начинают орать друг на друга. Присяжные обмахиваются бумажками, а потом в поисках спасения и глотка свежего воздуха открывают настежь окна с четвертными переплетами. В Вашингтоне в это время года душновато, но в зале суда прохладно, почти холодно, однако я все равно открываю окно, чтобы выветрился дым и пять лет разочарования в судебной системе.

— А тебе дуть не положено! — кричу я Фреду Мэнну, выдающемуся судебному художнику и киноману.

Объявили обеденный перерыв, наверное, в самом долгом судебном разбирательстве в истории Верховного суда. Мы коротаем время в безымянном вестибюле, курим по очереди один джойнт и разбираем финал «Нескольких хороших парней». Фильм так себе, но своим презрением к актерам, к сценарию и особенно заключительным монологом Джек Николсон вытягивает картину.

— Ты заказывал «Code Red»<sup>[230]</sup>?

— Наверное. Я сейчас нехило так накурился...

— Так ты заказал «Code Red»?

— Да заказал, блин. И еще закажу, потому что дурь ваще охуенная. — Вот у Фреда взрывной темперамент. — Как называется?

Это, должно быть, о косяке, который он держит в руке.

— Еще не назвал, но «Code Red», мне кажется, подходит.

Фред работал художником на всех знаковых процессах: об однополых браках, о кончине Акта об избирательных правах<sup>[231]</sup>, о гибели политики равных возможностей в высшем образовании и, следовательно, во всем остальном. Фред говорит, что за все тридцать лет, проведенные им в зале суда, это первый случай, когда объявили перерыв на ужин. И раньше он никогда не слышал, чтобы судьи повышали друг на друга голос и поедали друг друга взглядами. Он показывает мне сегодняшний набросок. Судья — консервативный католик непристойно оскорбляет судью — либерального католика из Бронкса, исподтишка проведя пальцем по щеке.

— А что значит соño<sup>[232]</sup>?

— Как?

— Она сказала ему шепотом «соño», а потом добавила: «Chupa mi verga, cabron»<sup>[233]</sup>.

Карикатура на меня, выполненная цветными карандашами, ужасна. Я помещен в нижнем левом углу рисунка. Мне нечего сказать суду, который допускает неконтролируемые затраты корпораций на политические кампании, сжигание американского флага, но суд совершенно правильно запретил любую фото- и видеосъемку, потому что выгляжу я урод уродом. Нос картошкой и огромные оттопыренные уши-анемометры, торчащие по бокам лысины в форме горы Фудзи. Я сверкаю желтозубой улыбкой и тарашусь на молоденькую судью-еврейку, словно вижу все, что у нее под мантией. Фред говорит, что причина запрета съемок не имеет отношения к приличиям: страну следует защищать от того, что сокрыто под Плимутским камнем<sup>[234]</sup>. Потому что Верховный суд — место, где Америка оголяет свой член и сиськи, решая, кого наебать, а кому дать испить материнского молока. Здесь происходит конституционная порнография. Помните, что сказал судья Поттер о непристойности? «Узнаю, когда вижу»<sup>[235]</sup>.

— Фред, ты не мог бы укоротить мне резцы на картинке? А то я тут на херова Блакулу похож.

— Кстати о «Блакуле». Недооцененный фильм.

Фред отстегивает клипсу от своего бейджика и хватает «крокодильчиком» пятку, чтобы прикончить косяк одной могучей затяжкой. Он закрывает глаза и сжимает пальцами нос, а я спрашиваю, можно ли взять карандаш. Фред согласно кивает, и я пользуюсь представившейся возможностью, чтобы вынуть из его роскошного набора для рисования все коричневые карандаши. Хуй вам, чтоб я вошел в историю Верховного суда как самый уродливый ответчик.

На занятиях социологией, обозначенных в папином учебном плане как «Обычаи и намерения неугомонных белых», отец предостерегал меня от прослушивания блюзов и рэпа вместе с белыми незнакомцами. По мере моего взросления отец предостерегал меня от игры с ними в «Монополию», питья более двух кружек пива и совместного курения травы. Все это может привести к ненужной фамильярности. Самое опасное после голодного камышового кота и паромы с мигрантами-африканцами — это когда белый человек видит, как ему кажется, основания для дружбы. Фред, выдохнув дым, возвращается в вашингтонский вечер, и его глаза блестят как у брата по духу.

— Вот что я тебе скажу, приятель. Чего я только здесь не повидал. Расовое профилирование, межрасовые браки, язык вражды, отмена приговоров, вынесенных по расовым соображениям. Знаешь, в чем разница между нами и вами? Мы все хотим занять место за общим столом, но когда мы попадаем за него, у вас, дураков, нет плана на случай побега. А мы? Мы готовы свалить в любой момент. Я никогда не захожу в ресторан, на боулинг или на оргию, не спросив себя, как съебаться, если на меня вдруг напрыгнут. На усвоение этого чертова урока ушло целое поколение, но мы его усвоили. Вам сказали: «Все, школа кончилась, больше ничему не надо учиться», а вы, тупые придурки, и поверили. Вот если прямо сейчас в дверь постучит спецназ, что ты будешь делать? У тебя есть стратегический план отступления?

В дверь постучали. Это судебный пристав, она дожевывает на ходу полуфабрикатный ролл с тунцом. Она задается вопросом, почему я сижу, перекинув одну ногу через подоконник. Фред только качает головой. Я смотрю вниз. Даже если я и выживу, выкинувшись с четвертого этажа, я буду заперт внутри безвкусного мраморного внутреннего двора. В капкане десятиметровой аляповатой колониальной архитектуры. Среди львиных голов, красных орхидей, зарослей бамбука и заиленного фонтана. На обратном пути Фред показывает на маленькую, как для хоббита, дверь, скрытую деревом в кадке; вероятно, она ведет на Землю Обетованную.

Возвращаюсь в зал и вижу, что на моем месте сидит безумно бледный белый мальчишка. Как будто он дождался четвертого периода и спустился с верхних трибун, проскользнул мимо служителей на дорогое место, потому что какой-то болельщик ушел раньше, опасаясь пробок на дороге. Сразу вспомнился черный стэндап про белых зрителей, обнаруживших на своих местах нигтеров и кидающих жребий, кому их сгонять.

— Парень, ты занял мое место.

— Ага, я просто хотел сказать, что чувствую то же самое, что и ты, моя конституциональность тоже находится под судом. А в твоей группе поддержки не особенно много народу. — И он помахал в воздухе невидимыми черлидерскими помпонами. — *Рика-рока! Рика-рока! Сис! Бум-бах!*

— Спасибо за поддержку. Она мне нужна. Но все же пересядь.

В зал возвращаются судьи. Никто не замечает моего новоиспеченного партнера. Для всех это был длинный день. Под глазами судей набухли мешки, их мантии измялись и потеряли блеск. Одевание черного судьи вообще, кажется, измазано в шашлычном соусе. Бодры лишь поджефферсонски горделивый председатель и франтоватый Хэмптон Фиск:

на одежде ни складки, из прически не выбивается ни единый волос — ни малейших признаков усталости. Но все равно один-ноль в пользу Хэмптона: он переоделся в роскошный обтягивающий фисташковый комбинезон с расклешенными штанинами. Он снимает фетровую шляпу, плащ, отставляет в сторону трость с набалдашником слоновой кости, поправляет промежность, потом встает в сторонке, поскольку председатель намерен сделать объявление.

— Сегодня у нас тяжелый день. Понимаю, что в нашей культуре особенно сложно обсуждать расовые проблемы, и подобный разговор всегда хочется отложить...

Белый парнишка рядом со мной кашляет в кулак, как в фильме «Зверинец»<sup>[236]</sup>, что значит «это все херня». Я спрашиваю эту бледную немочь, как его зовут, — должен же я знать имя человека, сидящего со мной в одном окопе.

— Адам У...

— Наш человек.

Хотя я и под кайфом, но не настолько, чтоб не понять, что расовые проблемы «сложно обсуждать», потому что обсуждать вообще сложно. Жестокое обращение с детьми тоже сложно обсуждать, и вы никогда не услышите, чтобы люди на это жаловались. Они просто об этом не говорят. Или когда вы в последний раз спокойно, взвешенно обсуждали радости инцеста по соглашению сторон? Да, о некоторых вещах просто трудно говорить, и хорошо, что в стране достойно преодолевают расовые проблемы. Но когда говорят: «Почему мы не можем обсуждать проблемы расовых отношений еще честнее?», в реальности это означает «Почему вы, ниггеры, не можете быть благоразумными?» или «Да пошёл ты на хуй, белый. Если я действительно скажу что думаю, меня уволят еще быстрее, чем ты бы меня уволил, если бы расовые проблемы можно было открыто обсуждать». Под «расой» всегда подразумеваются ниггеры, тогда как можно нести любую чушь про индейцев, латиносов, азиатов и новейшую американскую расу — селебрити.

Чернокожие вообще не рассуждают о расовых проблемах. Будто с цветом кожи больше ничего не связано. Все это «смягчающие обстоятельства». Единственные люди, кто хоть как-то осмысленно и смело обсуждает расовую тему, — это шумные белые мужчины средних лет, романтизирующие братьев Кеннеди и «Мотаун»<sup>[237]</sup>, начитанные свободомыслящие белые ребята вроде сидящего рядом со мной мальчишки в футболках с надписью «Свободу Тибету и Бобе Фетту»<sup>[238]</sup>, горстка



журналистов-фрилансеров из Детройта и американские хикикомори, которые сидят в своих подвалах и набивают на клавиатуре взвешенные и продуманные ответы на бесконечный поток расистских сетевых публикаций. Спасибо миру за MSNBC, Рика Рубина<sup>[239]</sup>, черного парня из журнала The Atlantic<sup>[240]</sup> и прекрасную судью из Верхнего Вест-Сайда: наклонившись к микрофону, она наконец задала первый вразумительный вопрос:

— Полагаю, мы столкнулись с юридическим казусом. Может ли считаться нарушением законов о гражданских правах сам факт того, что эти гражданские права, в том виде, как это прописано в законе, не работают? Мне кажется, мы проигнорировали то, что доктрина «равные, но отделенные»<sup>[241]</sup> была отменена, причем не только из соображений морали, а на основе судебного решения, что отделенный не может быть равным. Но данное дело требует от нас даже не признания «отделенных» равными. Как минимум рассматриваемое дело требует от нас задать себе вопрос не о том, действительно ли отделенные являются равными, а что такое «отделенные и не вполне равные, при этом в безусловно лучшем положении, чем когда-либо». Дело «Я против Соединенных Штатов Америки» требует от нас фундаментального анализа, что мы понимаем под «отделенным», «равным» и «черным». Поэтому начнем с самого банального вопроса: что такое «черный»?

Огромное преимущество Хэмптона Фиска, кроме того, что он не дает умереть моде семидесятых, в том, что он всегда готов. Он расправляет лацканы, лежащие на груди, как два полога палатки, и откашливается — намеренный трюк, заставляющий аудиторию нервничать. А он хочет, чтобы аудитория была на взводе, во всяком случае это означает, что она будет слушать внимательно.

— Так что же такое «черный», ваша честь? Действительно, интересный вопрос. Им задавался и бессмертный французский писатель Жан Жене после того, как один актер предложил ему написать пьесу только с черными действующими лицами. Сначала Жене подумал: «А кто такой именно черный?», но добавил к этому еще более фундаментальный вопрос: «Прежде всего, какого он цвета?»

Помощники Хэмптона тянут за шнуры и опускают шторы на окнах, затем сам он подходит к выключателям, и зал погружается в темноту.

— Кроме Жене, те же аргументы приводили многие рэперы и черные мыслители. Ранний рэп-квинтет из совершенно белых позеров, известный как Young Black Teenagers<sup>[242]</sup>, утверждал, что «Черный — это состояние

ума». Отец моего клиента, известный афроамериканский психолог Ф.К. Я — мир его гениальному праху — предположил, что черная идентичность формируется поэтапно. В его теории «типичной черности» первая стадия — это негр-неофит, существующий в состоянии пред-сознания. Подобно детям, боящимся темноты, он испытывает страх перед черным цветом собственной кожи. Он боится черноты, которую воспринимает не больше не меньше как бесконечную и неизбежную.

Хэмптон щелкает пальцами, и на все четыре стены зала суда проецируется гигантское фото Майкла Джордана, купленного *Nike*. Затем его быстро сменяют последовательные изображения: Колин Пауэлл незадолго до вторжения в Ирак делится с Генеральной Ассамблеей ООН рецептом уранового концентрата; Кондолиза Райс цедит вранье через дырку в передних зубах. Эти афроамериканцы должны подтвердить точку зрения Хэмптона. Примеры того, как ненависть к себе заставляет принять господствующие ценности ценой отказа от самоуважения и собственной морали. Промелькнули снимки Кьюбы Гудинга<sup>[243]</sup>, Корал Смит<sup>[244]</sup> из «Реального мира»<sup>[245]</sup>, Моргана Фримена.

Ссылаясь на таких давно забытых поп-кумиров, Хэмптон выдает себя, но продолжает дуть в ту же дудку:

— Такие люди хотят быть кем угодно, но не черными. Они страдают от низкой самооценки и выглядят как покойники.

На стенах вспыхивает фото чернокожего судьи: не выпуская изо рта сигару, тот готовится загнать мяч в лунку с трех метров. Все, включая самого судью, весело смеются.

— Негры, находящиеся на первой стадии, любят смотреть повторы «Друзей», не обращая внимания на то, что каждый раз, когда по сюжету белый парень встречается с черной девушкой, то это, как правило, невзрачный тип, любимчик черных сестер. Это Скрич<sup>[246]</sup>, Дэвид Швиммер<sup>[247]</sup>, Джордж Констансас<sup>[248]</sup> из группы...

Председатель суда робко поднимает руку:

— Простите, мистер Фиск, у меня вопрос...

— Погоди, мудила, не видишь, что я в ударе?

Я тоже. Я вытаскиваю машинку для самокруток, как могу в темноте, наполняю желоб влажным продуктом. Мне плевать на их пренебрежение, их *le mépris*<sup>[249]</sup> ко всему. Я и без них знаю, что такое вторая стадия черной самоидентичности. «Черный с большой буквы». Этот бред мне уже знаком. Мне вбили его в голову, еще когда я дорос до того, чтобы играть в «Найди лишнее». Отец заставлял меня находить на фото команды «Лейкерс» белого

игрока. Марк Ландсбергер<sup>[250]</sup>, куда ты подевался, когда так мне нужен?

— Отличительной чертой второй стадии является более высокая степень осознания себя черным. Это всепоглощающее чувство более позитивной направленности. Черный цвет кожи становится важным компонентом эмпирического опыта и концептуальной основы жизни. Черное идеализируется, белое осмеивается. Эмоции варьируют от злобы, гнева и самоуничтожения до эйфории и идеи черного превосходства.

Чтобы меня не попалили, лезу под стол, но косяк не раскуривается. Никак не могу затянуться. Из новообретенного укрытия, между битвой за огонь, я вижу, как на стенах мелькают тени Фоя Чешира, Джесси Джексона, Соджорнер Трут<sup>[251]</sup>, Момс Мабли<sup>[252]</sup>, Ким Кардашьян и моего отца. Мне никуда от него не деться. Он был прав: завершенности не существует. Возможно, дурь слишком вязкая, чтобы загореться. Может, я слишком туго скрутил. А может, никакой травы вообще нет, а я так обдолбался, что последние пять минут пытаюсь курить собственный палец.

— Третья стадия — это расовый трансцендентализм. Коллективное сознание, которое борется с угнетением и за душевное равновесие.

Все, хуй с ним, ухожу. Я призрак. Собираюсь потихоньку выбраться, при этом не сбивая Хэмптона, который выступает в этом бесконечном процессе поборником справедливости.

— Представителями черных такого типа являются Роза Паркс, Гарриет Табмен, Сидящий Бык<sup>[253]</sup>, Сесар Чавес<sup>[254]</sup>, Итиро Судзуки<sup>[255]</sup>.

Я прикрываю лицо руками. Мой силуэт мелькает на фоне кадров с Брюсом Ли: тот колотит кого-то в фильме «Выход дракона». Благодаря судебному художнику Фреду у меня есть план спасения и я могу проложить путь в темноте.

— Представителями этого типа являются также женщина слева от вас и мужчина справа. Эти люди верят в красоту ради красоты.

Как и большинство других городов, вечерний Вашингтон в сто раз красивее, чем дневной. Я сижу на ступеньках Верховного суда и, пытаюсь смастерить трубку из банки от газировки, люблюсь Белым Домом (с зажженными окнами он похож на универмаг) и хочу понять, чем так хороша наша столица по сравнению с другими.

Из алюминиевой банки из-под пепси не очень удобно затягиваться, но сойдет. Выдуваю дым в темноту. Должна быть еще четвертая стадия самоидентификации — Черный Абсолют. Я и сам до конца не понимаю, что это такое, но что бы это ни было, оно не продается. На первый взгляд это кажущееся нежелание успеха. Дональд Гоинс<sup>[256]</sup>, Честер Хаймс<sup>[257]</sup>,

Эбби Линкольн<sup>[258]</sup>, Маркус Гарви<sup>[259]</sup>, Элфри Вудард<sup>[260]</sup> и любой серьезный черный актер. Это сигары «Tiparillo», свиные рубцы и ночь в тюрьме. Это кроссовер<sup>[261]</sup> и прогулки на улице в тапочках. Это «ввиду того, что» и «и тому подобное». Это наши красивые руки и сбитые ноги. Черный Абсолют — это когда тебе на все похуй. Это Кларенс Купер<sup>[262]</sup>, Чарли Паркер, Ричард Прайор, Майя Дерен<sup>[263]</sup>, Сан Ра<sup>[264]</sup>, Кэндзи Мидзогути<sup>[265]</sup>, Фрида Кало, черно-белый Годар, Селин, Гун Ли<sup>[266]</sup>, Дэвид Хаммонс<sup>[267]</sup>, Бьорк и любая версия Wu-Tang Clan. Черный Абсолют — это эссеистика средствами художественной прозы. Это осознание того, что в мире нет абсолюта за исключением тех случаев, когда он есть. Это признание противоречивости людей, которая не грех или преступление, а всего лишь проявление хрупкости человеческой природы как ломкость волос или либертарианство. Черный Абсолют приходит с пониманием, что нигилизм, сам по себе безнадежный и бессмысленный, придает жизни ценность.

Сидя на ступенях Верховного суда под надписью «Правосудие для всех», я покуриваю, гляжу на звездное небо и вдруг понимаю, что с этим городом не так. Все здания — примерно одинаковой высоты, и горизонт отсутствует. И только монумент Вашингтона задевает ночное небо как огромный средний палец всему миру.

## Глава двадцать пятая

Смешно: в зависимости от решения Верховного суда праздник по случаю моего возвращения домой мог оказаться и прощальным перед тюремным заключением, поэтому на кухне был натянут транспарант «Конституциональный ли вопрос или институциональный — он подлежит решению». Марпесса собрала только близких друзей и соседей Лопесов. Все, кто добрался до моей берлоги, собрались вокруг Хомини, героя дня, и смотрели потерянных «Пострелят».

Фоя признали невиновным в покушении на убийство в состоянии временного помешательства, но гражданский иск против него я все равно выиграл. Это, в общем, было очевидно: как и у большинства американских знаменитостей, баснословное состояние Фоя и существовало только в баснях. Единственной ценностью, которая у него оставалась после того, как он продал машину и выплатил гонорар адвокату, оказалось то единственное, что мне от него было нужно, — фильмы «Пострелят». Мы запаслись арбузом, джином, лимонадом и шестнадцатимиллиметровым проектором и приготовились посвятить вечер крупнозернистому черно-белому дремучему расизму, невиданному со времен «Рождения нации», или всего, что сейчас показывают на канале ESPN. Через два часа мы изумлялись, ради чего Фой вообще страдал. Хомини, конечно, был счастлив лицезреть на экране свой образ, но сокровищница была заполнена материалом, который на MGM забраковали. К середине сороковых сериал вообще не отличался новыми идеями, вел посмертное существование, но эти выпуски были особенно ужасны. В поздних фильмах актерский состав остался неизменным — Фрогги, Микки, Гречиха, мало кому известная Жанет и, конечно же, Хомини в эпизодических ролях. Однако послевоенные серии ужасно серьезны. В серии «Нацист что надо» дети отслеживают немецкого преступника, выдающего себя за педиатра. Расизм герр доктора Джонса обнаруживается, когда к нему на прием приходит заболевший Хомини и слышит ехидное: «Я ффижу, мы не до всиех тобрались ф фойна. Фот тибье пильюли с мышьяком, фероятно, помогут. Йа-йа». В «Необщительной бабочке» Хомини играет редкую для себя главную роль. Мальчик так долго проспал в лесу, что бабочка монарх успела сплести кокон в его спутанных волосах. Перепуганный Хомини бежит к мисс Крэбтри, снимает шляпу и показывает свое открытие мисс Крэбтри, которая заявляет, что у него завелась хризалида<sup>[268]</sup>. Дети же,

решив, что это «сифилида», помещают Хомини в «гарантин». Впрочем, нашлось и несколько настоящих жемчужин. Чтобы как-то оживить проект, студия решила снять адаптированные версии театральных постановок с «пострелятами» в ролях. Ужасно жаль, что зрители так и не увидели Гречиху в роли Джонса Брутуса и «мутного Смитерса» Фрогги в «Императоре Джонсе»<sup>[269]</sup>. В обойму вернулась Дарла, блестяще отыграв в «Антигоне». Не менее прекрасен Альфальфа в роли обманутого Лео в пьесе Клиффорда Одетса<sup>[270]</sup> «Потерянный рай». Однако по большей части в архиве не оказалось ничего такого, что заставляло бы Фоя так старательно оберегать пленки от общественности. Тот же оголтелый расизм, но не более опасный, чем однодневная поездка в законодательное собрание штата Аризона<sup>[271]</sup>.

— Сколько там до конца, Хомини?

— Еще пятнадцать минут, *масса*.

На фоне пленницы вспыхивает название «Ниггер и дрова, дубль 1». Через пару секунд из-за пленницы выглядывает голова чернокожего мальчика с умильными, как у маленького тюленя, глазищами. «Черный парень!» — говорит мальчик и хлопает своими длинными ресницами.

— Хомини, это ты?

— Если бы. Этот парень вообще не актер.

Слышно, как за кадром режиссер кричит: «Я вижу дрова и не вижу ниггера. Фой, постарайся, пожалуйста. Я понимаю, что тебе всего пять лет, но, черт возьми, сделай это пониггеристей». Второй дубль как минимум впечатляющий, однако за ним следует очередная малобюджетная короткометражка «Нефтяные магнегры» с тремя основными персонажами: Гречихой, Хомини и доселе никому не известным маленьким постреленком Черным парнем, обозначенным в титрах как Крошка Фой Чешир, моментально ставшим звездой в этом последнем, так никем и не обнародованном шедевре «Пострелят».

— О боже! Я помню, я помню, как мы это снимали!

— Хомини, прекрати прыгать, не загораживай экран.

В фильме «Нефтяные магнегры» после встречи в темном переулке с долговязым ковбоем в огромной шляпе три постреленка катят по безмятежным улицам Гринвиля полную тачку денег. Чтобы умаслить «банду», которая подозревает неладное, богатенькое трио, постоянно одетое в смокинги и цилиндры, водит друзей в кино и угощает их конфетами. Доходит до того, что они покупают оборвышу Мики дорогой кэтчерский набор, на который тот давно любовался в витрине магазина



спорттоваров. «Банду» не устраивает, как Гречиха объясняет новообретенное богатство: он якобы нашел четырехлистный клевер и выиграл в ирландскую лотерею, и «пострелята» выдвигают разные теории. Они стали букмекерами в подпольной лотерее? Они играют на скачках? Или умерла Хэтти Макдэниел<sup>[272]</sup> и завещала им все свои деньги? В конце концов пострелята угрожают Гречихе исключением из «банды», если тот не скажет правду. «Мы — в нефтяном бизнесе!» Ребят гложет сомнение, ведь рядом нет нефтяной вышки. И тогда Хомини отводит всех на тайный склад, внутри которого происходят страшные вещи. Плохие чернокожие дяденьки собрали всех детей из Ниггертауна и забирают у них через капельницу черную кровь — по пять центов за пинту. Капля за каплей канистры наполняются черной кровью. В конце фильма маленький Фой в подгузниках оборачивается к камере, состраивает рожу: «Я Черный парень!» и милосердно исчезает под знаменитую музыкальную тему.

Наконец тишину нарушает Король Каз:

— Теперь понятно, почему Фой свихнулся. Я бы тоже сошел с ума, если бы на моей совести лежала подобная херня. А ведь я живу тем, что отстреливаю всяких ублюдков.

У сурового гангстера Стиви, беспощадного, как свободный рынок, и невозмутимого, как вулканец<sup>[273]</sup> с синдромом Аспергера, покатила по щеке слеза. Он берет банку пива и предлагает тост:

— Даже не знаю, как сказать... За тебя, Хомини. Ты лучше меня. Думаю, «Оскару» надо бы учредить награду «За прижизненные достижения» для чернокожих актеров, потому что вам пришлось тяжело, ребята.

— А ничего не поменялось. — Это Панаш. Я и не знал, что он тут, наверное, только вернулся домой со съемок шоу «Хип-хоповый полицейский». — Я хорошо понимаю, через что прошел Хомини. Бывает, режиссеры так и говорят: «Побольше черного в этой сцене. Добавь черного жару». Ты на него орешь: «Пошел ты на хуй, гребаный расист», а он тебе: «Вот, вот! Не сбивай накал!»

Нестор Лопес резко встает со своего места, покачнувшись оттого, что в голову ударили травка и водка:

— По крайней мере у вас есть история Голливуда. А у нас что? Спиди Гонзалес, тетка с бананами на голове, «Не нужны нам ваши вонючие жетоны»<sup>[274]</sup>, да пара фильмов про тюрьму.

— Но ведь какие отличные фильмы, братец.

— Да, но у вас были свои «Пострелята». А у нас? Где, блядь, наш

Чорисо<sup>[275]</sup>? Где наш Бок-Чой<sup>[276]</sup>?

Хотя Нестор прав, что в сериале никакого Чорисо не было, я ничего не говорю о двух азиатских пострелятах Синь Джое и Эдварде Су Ху, которые, хотя и не были звездами, отыграли в эпизодах в сто раз лучше некоторых сопливых персонажей, не вылезавших из кадра.

Накануне я купил двух овец шведской породы, и мне нужно наведаться в загон. Прижавшись друг к другу, мои рослагские ягнята лежат под хурмой. Это их первая ночь в гетто, и они боятся, что козы и свиньи будут их задирать. Один малыш — белый и взъерошенный, а второй — с серой спутанной шерстью, оба дрожат от страха. Я обнимаю их, целую их морды.

Сзади меня стоит Хомини, я даже не слышал, как он подошел. Увидев мои телячьи нежности, он смачно целует меня в губы.

— Какого хера, Хомини?

— Я ухожу.

— Куда?

— Из рабства. Завтра утром обсудим репарации.

Ягнята продолжают трястись от страха, и я шепчу им на ухо: «Vaga modig»<sup>[277]</sup>. Представления не имею, что это значит, но в брошюре написано, что нужно повторять эти слова три раза в день в течение первой недели. Я бы их не покупал, но вид оказался под угрозой исчезновения, а один профессор-животновод увидел меня по телевизору и решил, что я буду хорошо за ними ухаживать. Я тоже боюсь. А если меня посадят? Кто тогда станет за ними присматривать? Если не пришьют нарушение Первой, Тринадцатой и Четырнадцатой поправок, то могут, по слухам, по приговору Международного уголовного суда обвинить в апартеиде. За апартеид не преследовали ни единого южноафриканца, а арестуют меня? Безобидного афроамериканца из Южного Централа? Амандла авету!<sup>[278]</sup>

— Иди сюда, когда закончишь, — настойчиво зовет меня из спальни Марпесса.

Ладно, покормлю малышей молочной смесью потом. По телевизору показывают «Новости своими глазами». Уже пять лет как моя девушка, она лежит на кровати на животе, подперев руками свою симпатичную голову, и смотрит прогноз погоды по телевизору, взгроможденному на шкаф. Рядом сидит Карисма. Она откинулась к изголовью и положила на Марпессину попу уставшие ноги в чулках. Я втискиваюсь в крошечное оставшееся пространство и попадаю в шведскую семью моей мечты.

— Марпесса, а если меня посадят?



— Заткнись и смотри телевизор.

— Хэмптон хорошо заметил в суде, что если неволя Хомини равносильна бремени страстей человеческих, то корпоративная Америка должна быть готова к прорве групповых исков, бесплатно подготовленных поколениями стажеров.

— Может, хватит болтать? Все пропустишь.

— Да, но если меня посадят?

— Тогда найду себе другого ниггера для скучного секса.

Остальные гости столпились у двери в спальню и заглядывают внутрь. Марпесса оборачивается, берет меня за подбородок и разворачивает обратно к телевизору:

— Смотри.

Ведущая выпуска погоды Шанталь Маттинли машет руками над 3D-картинкой межгорной впадины Лос-Анджелес. Душно. С юга надвигается влажный фронт. Синоптики не обещают понижения температуры в долине Санта-Кларита и внутренних долинах округа Вентура. В остальных областях штата — обычная для этого времени года температура с умеренным похолоданием к вечеру. Ясно, временами слабая облачность. Вдоль побережья, начиная от Санта-Барбары и вплоть до Оранджа, температура легко-умеренная (кто бы знал, что это значит), по мере продвижения в глубь континента столбик термометра поднимется несколько выше.

Теперь местный прогноз. В округе Лос-Анджелес по-прежнему жарко без перемен, к вечеру немного прохладнее.

Обожаю карты погоды. По мере продвижения на юг и в глубь континента трехмерная топографическая карта вращается и движется.

Температура на этот час...

Палмадейл 31 °C / 40 °C... Окснард 21 °C/25 °C... Санта-Кларита 41 °C/42 °C... Таузенд-Оукс 19 °C/26 °C... Санта-Моника 19 °C/26 °C... Ван-Найс 28 °C/40 °C... Глендейл 26 °C/35 °C... Диккенс 23 °C/31 °C... Лонг-Бич 20 °C /28 °C

— Стойте, они что, сказали «Диккенс»?

Марпесса дико ржет. Я пробиваю себе путь сквозь толпу гостей и детей Марпессы, чьи имена я никогда не назову. Я выбегаю на улицу. Термометр в виде лягушки, висящий на заднем крыльце, показывает ровно двадцать восемь градусов. Я плачу и не могу остановиться. Диккенс вернулся на карту.

## Глава двадцать шестая

Как-то вечером, в годовщину смерти отца, мы с Марпессой поехали в «Пончики Дам-Дам» на «открытый микрофон». Мы сели на свои обычные места — как можно дальше от сцены и как можно ближе к туалетам и огнетушителю, подсвеченному красным светом от таблички «Запасной выход». На всякий случай я показал Марпессе и другие пути отхода.

— На всякий случай? Каким-то чудом кто-то расскажет действительно забавную шутку, и мы побежим выкапывать из могил Ричарда Прайора и Дейва Шапелла, чтобы убедиться, что они все-таки лежат в сраной земле и что не настала «Черная Пасха»? От этих хуевых мелкотравчатых негритянских шутов гороховых уши нехуево вянут. Наверное, есть причина, по которой среди этих ублюдков нет таких, как Джонатан Уинтерс<sup>[279]</sup>, Джон Кэнди<sup>[280]</sup>, Уильям Клод Филдс<sup>[281]</sup>, Джон Белуши, Джеки Глисон<sup>[282]</sup> или Розанна Барр<sup>[283]</sup>, потому что, если и народится по-настоящему смешной огромный негр, он перепугает Америку до усрачки.

— Среди белых комиков толстых почти не бывает. А Дейв Шапелл вообще не умер.

— Думай про Шапелла что тебе угодно. Этот ниггер давно в могиле. Им пришлось его убить.

Однажды в клубе нашелся человек, который меня рассмешил. Мы с отцом пришли тогда на «открытый микрофон». По сцене прыгал ведущий. Он был черен, как долги за электричество, и похож на сумасшедшую лягушку-быка. Глаза у него были так дико выпучены, словно пытались спастись от бушевавшего в нем безумия. И, представьте себе, он был довольно толстым. Мы сидели на своем обычном месте. Как правило, кроме тех минут, когда мой отец вылезал на сцену, я читал книжку, пропуская мимо ушей шутки на сексуальную и расовую темы. Но этот человек-лягушка начал с шутки, от которой я просто рыдал от смеха. «Твоя мама сидела на пособии так долго, — взревел он, беспечно держа в опущенной руке серебристый микрофон, который всучили ему за кулисами, — твоя мама сидела на пособии так долго, что ее портрет напечатали на продуктовых карточках». Чтобы заставить меня отложить в сторону «Уловку-22», нужно быть по-настоящему забавным. После этого я сам тащил папу на вечер юмора. Чтобы занять наш столик, мы приходили все раньше и раньше, потому что по всему черному Лос-Анджелесу прошел слух про смешного придурка, который ведет «открытый

микрофон». Пончикова сотрясалась от утробного черного смеха — с восьми вечера и до закрытия.

Этот прищосейный шут не просто рассказывал шутки — он вытаскивал твое подсознательное и простодушно побивал тебя им, но не до неузнаваемости, а до момента, когда тебя становилось легко узнать. Как-то вечером, через два часа после начала, в клуб забрела белая пара. Они уселись в центре зала перед сценой и присоединились к веселью. Иногда они громко хохотали, иногда понимающе хихикали, словно всю жизнь были черными. Не знаю, что привлекло его внимание. Его совершенно круглая голова покрылась потом, блестящим в свете софитов. Может, эти двое слишком громко смеялись. Хихикали, когда нужно было хахакать. Может, сели слишком близко к сцене. Может, если бы эти белые не считали нужным все время выставляться, ничего бы не случилось.

— А вы, беложопые, над чем смеетесь? — закричал он.

В зале захихикали. Белая парочка залилась громким смехом, хлопая руками по столу. Их заметили! Их приняли!

— Я не смеюсь! С хуя ль вы, ублюдки, лезете в чужие дела, да еще ржете? Пошли в пизду отсюда!

В нервном смехе нет ничего смешного. По залу прокатилась его волна, запинаясь и останавливаясь, словно второсортный джаз в ресторане. И черные парни, и латиносы, приехавшие в город на вечер, за большим круглым столом, знали, когда нужно перестать смеяться. Пара не понимала. Остальные посасывали из банок пиво или газировку, предпочитая не вмешиваться. И только белые смеялись, потому что это ведь тоже часть представления, правда?

— Вы, блядь, думаете, я с вами шутки шучу! Это все не для вас, понятно? Съебались! Это наш мир!

Смех смолк. Умоляющие взгляды, но не нашедшие сочувствия. Тихий шорох двух стульев, еле слышные шаги из-за стола. Порыв холодного декабрьского воздуха и шум улицы. Вечерний управляющий закрыл за ними дверь, уничтожив доказательства того, что здесь когда-либо побывали белые, не считая двух полупустых чашек и трех недоеденных пончиков.

— Да, так на чем, блядь, меня так по-хамски прервали? Ах да, так вот... Твоя лысая мамочка...

Когда я думаю о том вечере, когда черный комик выгнал в ночь белую пару, и они удалились, поджав хвосты и унося с собой свою предполагаемую историю, я не думаю о правых и виноватых. Нет, возвращаясь в мыслях к тому вечеру, я думаю о собственном молчании. Молчание может быть протестом и согласием, но чаще всего это страх.

Наверное, поэтому я такой тихий и хороший заклинатель, ниггеров и вообще. Это потому, что я всегда боюсь. Боюсь сказать лишнего. Пообещать, наугрожать и не сдерживать слово. Потому-то мне и понравился тот человек, хоть я не согласился с ним, когда он сказал: «Убирайтесь отсюда, это наш мир». Мне понравилось, что ему было не похер. Но жаль, что я так испугался, что мне не хватило духу протестовать. Не нападать на него за то, что он сделал, не заступаться за обиженных белых. В конце концов, они и сами могли бы постоять за себя, обратиться к власти или к своему Богу, чтобы он поразил нас на месте. Жаль, что я тогда не встал перед этим человеком и не спросил его: «Так какой же он, *наш мир?*»

## Завершенность

Помню, на следующий день после инаугурации черного чувака Фой, гордый как индюк, разъезжал по городу в своем «купе», сигналив и размахивая американским флагом. Он был не одинок: вся округа ликовала. Ну, не так сильно, когда оправдали О. Джей Симпсона<sup>[284]</sup> или когда в 2002 году «Лейкерс» выиграли чемпионат, но почти так же. Фой как раз проезжал мимо моего дома, а я сидел на крыльце и чистил кукурузу.

— А что это вы размахиваете флагом? Раньше я за вами такого не замечал.

И Фой сказал, что наша страна, Соединенные Штаты Америки, наконец-то воздала нам должное.

— Да? А как же индейцы? Китайцы, японцы, мексиканцы, бедняки, все леса, и вода, и воздух, и гребаный калифорнийский кондор? Когда им достанется?

Фой сокрушенно покачал головой и сказал, что моему отцу было бы стыдно за меня и что мне никогда не понять. И тут он был прав. Мне никогда этого не понять.

## Благодарности

Спасибо Саре Чальфан, Джин Аух и Колин Дикерман.

Я также благодарен Кеми Илесанми и некоммерческой организации Creative Capital. Эта книга была написана благодаря вашей поддержке и вере в мой творческий потенциал.

Мне хочется заключить в дружеские объятия Лу Азекова, Шейлу Малдонадо и Лидию Оффорд.

Машу рукой семье: мама, Анна, Шарон и Аника — люблю вас, дорогие.

Не могу не упомянуть о глубокоуважаемом Уильяме Кроссе, вдохновившем меня на литературное творчество. Мне довелось прочитать множество его работ по истории черной идентичности, а его труд «Негр и Черный. Опыт становления», опубликованный в двадцатом выпуске журнала «Блэк Уорлд» (июль 1971 г.), я прочитал еще будучи старшеклассником. Это и стало отправной точкой формирования моей личности.

---

---

notes

## Примечания

Предопределение Судьбы (*англ.* Manifest Destiny) — крылатое выражение, которое используется для оправдания американского экспансионизма.



Группа из девяти афроамериканских юношей, в 1931 году представших перед судом штата Алабама по обвинению в изнасиловании. Дело стало поворотной вехой в борьбе против расизма и за справедливый суд. Рассмотрение дела было проведено жюри, состоящим полностью из белых присяжных, и отмечено проявлениями лжесвидетельства, отменами приговоров, попытками линчевания и недобросовестностью суда.

Antebellum vellum (*лат.*) — рукописные документы периода, предшествующего Гражданской войне 1789–1849 гг.

Решение Верховного суда США, законодательно оформившее расовую сегрегацию и подтвердившее ее соответствие американской конституции.

Японское крылатое выражение, означающее «покорись судьбе».

Девиз полиции Лос-Анджелеса, распространившийся затем на многие американские города.

Арнольд Чакон, чиновник Госдепартамента США мексиканского происхождения.

Здесь: официальное заявление (*исп.*).

Имеется в виду песня «Don't Hate The Playa» американского рэпера Ice-T.



No tickee, no washee (Нет квитанции — нет стирки, *искаж. англ.*) — американское расистское выражение, высмеивающее особенности произношения китайцев, в XIX–XX веках часто владельцев и работников прачечных.

«Лицо со шрамом» (Scarface) — фильм 1983 года режиссера Брайана Де Пальмы с Аль Пачино в главной роли.

Ya estuvo (*исп.*) — здесь: «Вот именно!»

Автор песни «Ain't That a Shame» на самом деле — Пэт Бун.

Тони Моррисон — американская писательница, редактор и профессор. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года. Обладательница Президентской медали Свободы.

Великий компромисс Конвента. 21 февраля 1787 года Конгресс Конфедерации принял резолюцию о созыве Конвента «с единственной и выраженной целью пересмотра Статей Конфедерации». Раздел 2 статьи I устанавливал, что при определении численности населения каждого штата учитывалось только три пятых от общего числа рабов в каждом штате.

В XIX веке Соединенные Штаты Америки ввели подушный налог в качестве налога на голос, чтобы «ограничить» некоторых избирателей на выборах, а именно афроамериканцев, коренных американцев и белых бедняков. В 1937 году подушный налог был признан неконституционным.

В США существует распространенный стереотип, что жареная курица и арбузы — любимая еда афроамериканцев. Стереотип считается оскорбительным для чернокожих.



Марш протеста от Сельмы до Монтгомери в 1965 году, прошедший в рамках движения чернокожих за избирательные права, был жестоко разогнан.

То есть персонажей немых комедий киностудии «Кистоун» начала XX века, героями которых были бестолковые негры Самбо и Растус.

Смешанная по расовому составу хип-хоп-группа, популярная в конце 1980-х — начале 1990-х годов, основанная выпускниками Колумбийского университета.

Сэмюел Джордж «Сэмми» Дэвис-младший — американский эстрадный артист, киноактер и певец афроамериканского происхождения. Во взрослом возрасте обратился в иудаизм, обнаружив сходство еврейской и афроамериканской культур.

Стадия когнитивного развития, согласно теории Ж. Пиаже.

Научно-популярная книга американского журналиста Пола Клейнмана «Психология-101: факты, теория, статистика, тесты и так далее».

Бу-Танг Клан (Wu-Tang Clan) — американская хип-хоп группа. Enter the Wu-Tang (36 Chambers) — ее дебютный студийный альбом.

Кеннет Б. Кларк (1914–2005) и Мами Фиппс Кларк (1917–1983) — американские психологи. В 1947 году провели эксперимент, в ходе которого чернокожим детям в возрасте трех-семи лет предлагалось выбрать черную или белую куклу для игры. Более половины участников эксперимента ответили, что белую, потому что белая кукла кажется им красивее.



Малькольм Икс (эль-Хадж Малик эш-Шабазз) (1925–1965) — афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права чернокожих.

Гарриет Табмен (1820–1913) — американская писательница, аболиционистка, борец против рабства и за социальные реформы в США.

Букер Талиафер Вашингтон (1856–1915) — выдающийся борец за просвещение чернокожих американцев, оратор, политик, писатель.

«Планирование изменений» (The Planning of Change; 1969) — книга специалистов по менеджменту Роберта Чина и Кеннета Бенниса.

Бейсбольный стадион в Лос-Анджелесе.

Кило Джи (Kilo G, 1976–1997) — гангста-рэпер алжирского происхождения.

Атака легкой бригады (*англ.* The Charge of the Light Brigade) — героическая, но катастрофическая по последствиям атака британской кавалерии под командованием лорда Кардигана на позиции русской армии во время Балаклавского сражения 25 октября 1854 года в ходе Крымской войны. Вошла в историю также благодаря одноименному стихотворению А. Теннисона.

Лекарство со слабым антисептическим действием, пользовалось популярностью как заменитель обжигающего раствора йода. Из-за наличия ртути в 1998 году его применение было запрещено до проведения дополнительных исследований.



Детский стишок, которым отвечают, когда лень сказать, или которым намекают на то, что надо бы иметь свои часы. В оригинале стишок звучит так:

Half past the camel's ass  
A quarter past his balls  
lift up the rear leg  
and see niagra falls.

Примерный перевод такой:

Вам без четверти жопа верблюда,  
И курантами яйца гремят,  
Подними его заднюю ногу,  
И увидишь Ниагарский водопад.

Милтон Фридман (1912–2006) — американский экономист, отец неолиберализма, выступал против вмешательства государства в экономику.

Экономистов-бихевиористов в природе не существует, а последний всемирный экономический кризис был предсказан и истолкован последователями Джона Мейнарда Кейнса, сторонника государственного регулирования экономики.

p-коэффициент — наименьшая величина уровня значимости, при которой нулевая гипотеза отвергается для данного значения статистики критерия.

Баскетболист афроамериканского происхождения.

Джеймстаун — первое поселение англичан на территории современных США (а именно в Виргинии).

Песня белого американского рок-гитариста, автора-исполнителя Дейла Хокинса, родом из Луизианы, родины черного блюза.

Умение, сметливость, сноровка (*фр.*).



«Четыре в ряд» (Connect four) — настольная игра с фишками.

*Здесь: чиканос.*

Вакеро (vaquero) — ковбой, пастух на юго-западе США, особенно испаноязычный.

Ангеленос (Angelenos) — житель округа Лос-Анджелес.

Американский музыкант в стиле ритм-н-блюз, певец, поэт-песенник и продюсер.

Гри-гри — талисман или амулет вуду.

Песня Нины Симоне.

The Shirelles — американская группа, популярная в конце 1950-х — начале 1960-х годов.



Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Маркус Гарви (1887–1940) — деятель всемирного движения чернокожих за права и освобождение от угнетения. Основатель Всемирной ассоциации по улучшению положения негров.

Джордж Вашингтон Карвер (1865–1943) — американский ботаник, миколог, химик, педагог, учитель и проповедник.

«Капитан Кенгуру» — детская телепередача (1955–1984).

Мистер Зеленые Джинсы — участник передачи «Капитан Кенгуру», рассказывал детям про зверей.

Детская игра, когда звонишь в колокольчик у двери и убегаешь.

Cholo — латиноамериканец.

Спасибо за арбузы (*исп.*).



Высший сорт конопли с оранжевыми шишками.

«Вот он я, ваш долбаный маяте! Хулио Сесар Чавес — пидор!» (*исп.*)  
Маяте — негр (*исп., пренебр.*).

Шаника (shaniqua) — нарицательное имя, описывающее черную женщину низших слоев общества со всеми присущими ей стереотипами.

Камень Красноречия — камень, вмонтированный в стену замка Бларни (графство Корк в Ирландии), по легенде — часть Скунского камня, дающая поцеловавшему ее дар красноречия.

Короткометражные фильмы под общим названием «Пострелята» («Little Rascals») выходили в США с 1922 по 1944 год. Всего вышла 221 серия.

Серии с таким названием не существует. Скорее всего и сам сюжет является авторским вымыслом.

Бетси Росс (1752–1835) — филаделфийская швея, которая, согласно легенде, сшила первый американский флаг.

Натан Хейл (1755–1776) — солдат Континентальной армии во время американской Войны за независимость, национальный герой и мученик Американской революции.



Американский народный музыкальный инструмент.

Сборник эпизодов «Little Rascals in Curtain Calls».

Стихотворение Редьярда Киплинга. Название стало нарицательным обозначением миссии империалистов в колониальных владениях.

Американский мультфильм 1992 года, основанный на одноименной комедии. Резко критиковался за расизм.

«День на скачках» — «A Day at the Races» (1937).

Аниме для мальчиков-подростков.

Японская пьеса 1847 года.

«Эймос и Энди» — комедийная радиопьеса о жизни в Гарлеме, озвученная двумя белыми актерами (1928–1960).



Дэйв Шапелл (р. 1973) — американский комик, сценарист, продюсер и актер.

Эдди Мюнстер — персонаж телевизионного ситкома «The Munsters», оборотень.

Сликер Смит — герой кинокомедии «Рядовые» (1941).

Чаттануга Браун — персонаж двух классических кинокартин о Чарли Чене, полицейском детективе китайского происхождения 1940-х годов.

«Беула Шоу» (The Beulah Show) — американский радиоситком (1945–1952) и телевизионный ситком (1950–1952), в котором впервые главную роль исполняла афроамериканская актриса.

Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе.

«Фарсайд» — альтернатив-хип-хоп-группа из Лос-Анджелеса.

Сражение за форт Самтер в 1861 году ознаменовало собой гражданскую войну между Югом (рабовладельческие штаты) и Севером.



Accord — согласие, взаимопонимание. Civic — преисполненный чувства гражданского долга. Insight — мудрость, дальновидность.

Педераст (*исп.*).

Засранец (*исп.*).

«Лос-Анджелес Доджерс» — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Западном дивизионе Национальной лиги Главной лиги бейсбола.

Вин Скалли — спортивный комментатор.

Общая площадь — 12 308 тыс. км<sup>2</sup>.

Сакагавея — молодая женщина из индейского племени северных шошонов, проживавшего на территории нынешнего штата Айдахо. Помогла экспедиции Льюиса и Кларка в 1804–1806 годах исследовать обширные земли на американском Западе, которые тогда были только что приобретены.

Суреньос — латиноамериканские независимые уличные банды (состоящие в основном из мексиканцев), связанные с мексиканской мафией.



«Окленд Рейдерс» — профессиональный футбольный клуб, выступающий в Национальной футбольной лиге. Основан в 1960 году.

Поправка 8 к конституции штата Калифорния, запрещавшая однополые браки, действовала в 2008–2009 годы.

Поправка 187 к конституции штата Калифорния была принята на референдуме в 1994 году. Запрещала предоставление социальной помощи, дотаций на образование и несрочной медицинской помощи нелегальным иммигрантам. Вызвала большие споры в обществе; правозащитные организации обвинили ее инициаторов в расизме. Была немедленно опротестована.

Дейв Эггерс — американский писатель и издатель.

Ликантроп — вервольф.

Аллен Келси Грэммер — американский актер, комик, телепродюсер и телережиссер.

Pop Rocks — конфеты, выделяющие газ во рту.

Empower (англ.) — усиливать, уполномочивать, придавать уверенности.



Франц Омар Фанон (1925–1961) — вест-индский революционер, социальный философ и психоаналитик. Один из теоретиков и идейных вдохновителей движения новых левых и революционной борьбы за деколонизацию в странах третьего мира.

Пол Ревир (1735–1818) — американский ремесленник, серебряных дел мастер. Ревир верхом проскакал к позициям повстанцев, чтобы предупредить их о приближении британских контингентов. Подвиг Ревира был воспет Генри Лонгфелло в стихотворении «Скачка Пола Ревира».

**100**

Антидепрессанты.

Система измерения количества телевизионной аудитории в США.

Банда Bloods, или «кровники», — альянс афроамериканских уличных группировок Южного централа (Комптона, Инглвуда), а также пригородов Лос-Анджелеса, существующий с 1972 года, произошедший в результате собрания лидеров банд в единую «Семью», после нападений со стороны «калек» (Crips).

Кунта Кинту — герой романа «Корни» Алекса Хейли.

Смут — шутливое обозначение 170 см. Смуты появились в Массачусетском технологическом институте в 1958 году. Студенты решили разметить Гарвардский мост, соединяющий Бостон и Кембридж, чтобы точно знать, сколько еще до института. В качестве меры длины был выбран один из студентов, Оливер Смут. Его рост (примерно 1 м 70 см) и стал равным одному смуту. Процедура измерения заключалась в следующем: Смут ложился на мост, в то время как его сокурсники отмечали его длину, затем он вставал, переходил к полученной отметке и снова ложился. Каждые 10 смутов отмечались краской на мостовой. Скоро Оливер Смут «устал», но измерения продолжались, его тело просто перетаскивали к новым отметкам.

Башни Уоттс (в Лос-Анджелесе) — 17 футуристических башен высотой до 30 м, построенные итальянским иммигрантом Саймоном Родиа во дворе собственного дома в 1921–1954 годы.



In-N-Out Burger — сеть фастфуда, где заказ делается через окно с улицы.

Laugh Factory — Американская сеть комедийных клубов.

Порнография — это новая новая волна (*фр.*). Имеется в виду направление в кинематографе Франции конца 1950-х и 1960-х годов.

Британская ска-ривайвл-группа.

Джимми Клифф — ямайский певец.

I-Threes — ямайская группа.

Омфалоскепсис — созерцание собственного пупка.

Карамелька (*фр.*).



Роза Паркс (1913–2005) — американская общественная деятельница, зачинательница движения за права чернокожих граждан США.

Джеймс Браун — известный певец афроамериканского происхождения.

Родни Кинг (1965–2012) — чернокожий, избиение которого полицейскими спровоцировало массовые беспорядки в Лос-Анджелесе.

Whodini — хип-хоп-группа, создана в 1981 году.

Том Петти — американский рок-музыкант, приверженец классического рока конца 1960-х.

Имеется в виду рэпер Ice Cube.

Роман Питера Гулда (1971).

Гарлемский ренессанс — культурное движение, возглавляемое ведущими афроамериканскими писателями и художниками, период расцвета афроамериканской культуры в 1920-е–1930-е годы.



Фильм «Десять заповедей» (1923).

Вароша — квартал в городе Фамагуста на Кипре, откуда в ходе греко-турецкой войны 1974 г. было эвакуировано все греческое население.

Бокор Хилл Стейшн — камбоджийский курортный городок, построенный в начале 1920-х годов французскими поселенцами. К настоящему времени из-за нестабильности в регионе на протяжении второй половины XX века полностью заброшен.

Орадур-сюр-Вайрес — французский город, в котором во время Второй мировой войны нацисты по ошибке провели карательную операцию, направленную против Сопротивления.

Пауа (Paoua) — город в Центральноафриканской Республике, покинутый жителями после подавления восстаний в 2006–2007 гг.

Гороумо (Goroumo) — деревня в Центральноафриканской Республике, где в 2008 г. было убито все мужское население.

Роберто Боланьо Авалос (*исп.* Roberto Bolaño Ávalos, 1953–2003) — чилийский поэт и прозаик.

Эль Камино Реал (El Camino Real, Королевская Дорога) — историческая дорога в Калифорнии длиной 965 километров, соединяющая 21 испанскую миссию времен конкистадоров.



Gesundheit (*нем.*) — «будьте здоровы».

От англ. chaff — «высевки».

**132**

300 кровавых ударов.

101 смерть на родео.

Тыща литров крови.

Победителю быка достаются его рога.

В США во время родео на арене присутствует клоун, который на самом деле является профессиональным спортсменом и подстраховывает ковбоя.

Vas deferens glans (*лат.*) — семенные канатики.



Джейс Кэгни предположительно должен был сниматься в картине «Двадцать тысяч лет в тюрьме Синг-Синг» (*20,000 Years in Sing Sing*, 1932), но этого не произошло.

Kick the Can — что-то среднее между нашими играми в прятки и казаки-разбойники, с той разницей, что тот, кто ведет, бьет по банке из-под кока-колы, в которую положен камешек.

Красный — Зеленый — игра, связанная с цветами, которые зажигаются на светофоре.

Каждый рабочий день я думаю об одном и том же. Сколько детей, а у нас их двести пятьдесят, доучатся до конца? Процентов сорок? И сколько из этих оставшихся ста поступят в колледж? И в какой? На заочное обучение по интернету? Что-нибудь второстепенное. Клоунский колледж или что-то вроде этого. Поступить смогут человек пять. А сколько доучатся? Дай бог, два-три человека. Какая жалость. Мы — сплошные неудачники (*исп.*).

Арка в Сент-Луисе (*англ.* Gateway Arch), также известная под именем «Врата на запад», — мемориал, являющийся частью Джефферсоновского национального экспансионального мемориала.

Джон Генри (John Henry) — мифологический народный герой США, темнокожий рабочий-путеец, победивший в соревновании с паровым молотом, но погибший от истощения.

Роско Конклинг «Толстяк» Арбакл (Roscoe Conkling «Fatty» Arbuckle, 1887–1933) — американский актер немого кино, комик.

Стэн Лорел и Оливер Харди (Stan Laurel & Oliver Hardy) — американские киноактеры, комики, одна из наиболее популярных комедийных пар в истории кино.



Детский стишок с намеком, что у кое-кого задралась юбка и торчат трусы:

I see London, I see France I see \_\_\_\_\_'s underpants!

Вулканский салют — приветственный жест из сериала «Стартрек».

Нэскар (NASCAR — National Association For Stock Car Auto Racing) —  
Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей.

Дейл Эрнхардт-старший. Погиб 18 февраля 2001 года на последнем круге гонки Daytona 500, столкнувшись с автомобилем Кена Шрайдера.

Эли Уитни (1765–1825) — американский изобретатель и промышленник. Изобрел хлопковый волокноотделитель, одним из первых сконструировал фрезерный станок, заложил основы организации массового производства в машиностроении.

«Семейка Брэди» (1969) — американский комедийный телесериал (1969–1974) о многодетном овдовевшем отце, который женится на вдове с тремя детьми.

Харви Уилкокс (Harvey Wilcox, 1832–1891) назвал свое ранчо близ г. Лос-Анджелеса Голливудом в 1887 г. Голливуд стал центром киноиндустрии в начале 1910-х.

Бригам Янг (Brigham Young, 1801–1877) — американский государственный и религиозный деятель, второй президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, организатор переселения мормонов в район Большого Соленого озера и строительства Солт-Лейк-Сити.



Я мыслю, следовательно, я отрываюсь.

«Кельты», или «Бостон Селтикс» (*англ.* Boston Celtics), — американский профессиональный баскетбольный клуб, располагающийся в Бостоне, штат Массачусетс.

Ирвин Эффей «Мэджик» Джонсон-младший (Earvin Effay «Magic» Johnson, 1959 г.р., Мичиган) — американский профессиональный баскетболист. На протяжении всей карьеры выступал за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Бостон-гарден» (*англ.* Boston Garden) — спортивная крытая арена, построенная в 1928 году в Бостоне. Снесена в 1998 году. Наиболее известная команда, игравшая на арене, — баскетбольная «Бостон Селтикс».

«Уно» — детская карточная игра.

Театры сети Читлин (The Chitlin Circuit) — площадки для выступления афроамериканских музыкантов, комиков времен сегрегации (с начала XIX века и вплоть до 1960-х).

Pudenda (*исп.*) — наружные половые органы.

Мэри Маклауд Бетьюн (Bethune, Mary McLeod, 1875–1955) — афроамериканская общественная деятельница, педагог.



Гвендолин Брукс (Gwendolyn Brooks, 1917–2000) — американская поэтесса.

Льюис Латимер (Lewis Latimer, 1848–1928) — афроамериканец, известный изобретатель.

Эл Джолсон (1886–1950) — американский певец, киноактер, комик.

«Ревю Зигфельда» — постановки на Бродвее (1907–1936), а также радиопередача.

Берт Уильямс (1874–1922) — американец с Багамских островов, основоположник водевиля в Америке, один из самых великих комиков своего времени.

Ричард Прайор (Richard Pryor, 1940–2005) — американский комедийный актер, писатель, социальный критик. Был известен своим бескомпромиссным подходом к проблеме расизма и прочих современных социальных трудностей, а также обилием пошлостей и использованием ненормативной лексики в выступлениях.

Эбботт и Костелло (Abbott and Costello) — знаменитый дуэт белых комиков 1940-х—1950-х гг. Самый популярный стэндап — «Кто на первой базе», в котором вопрос одновременно является именем игрока, создавая путаницу в диалоге:

**Who's** on first

**What's** on second

**I don't know** is on third

Санни Ливайн — калифорнийский продюсер, композитор.



Los Angeles Lakers и Los Angeles Clippers — конкурирующие команды Национальной Баскетбольной Лиги.

Ванзейская конференция — совещание представителей правительства и руководителей нацистской партии Германии, состоявшееся 20 января 1942 года на озере Ванзе на вилле «Марлир» в Берлине. На Ванзейской конференции были определены пути и средства «окончательного решения еврейского вопроса» — программы геноцида еврейского населения Европы (в настоящее время используется термин Холокост).

Речь идет о Соуэто, группе поселений на юго-западной окраине Йоханнесбурга. Место для принудительного проживания африканского населения во время апартеида (1948–1994).

Питер Виллем Бота — южноафриканский политический и государственный деятель времен апартеида, в 1978–1984 — премьер-министр, в 1984–1989 — президент ЮАР. Проводил политику африканерского национализма и антикоммунизма, жестко отстаивал интересы белой общины.

В 795 году нашей эры произошло нашествие викингов на Ирландию, причем захватчиков называли «черными завоевателями». В XVII веке тысячи ирландских мятежников были увезены на Карибские острова, где они занимались принудительным трудом в британских поселениях. Тогда же на Карибские острова завозились из Африки рабы. Таким образом на свет появилось множество детей афроирландского происхождения.

Ирландия.

«Медвежьи когти» — датская миндальная булочка с начинкой из фруктового джема, напоминает по форме когтистую медвежью лапу.

Аллюзия на песню «If you Want Some» группы Delinquent Habits:

I came to represent where I'm from

If you want some get some bad enough take some

I came to break you off and get some

If you want some get some bad enough take some



Жан Батист Пойнт дю Сейбл — первый официальный житель Чикаго времен освоения Америки.

«Тысяча мексиканских ребят».

Речь идет о трансатлантической работоторговле.

Бесси Смит (Bessie Smith, 1894–1937) — американская исполнительница блюзов.

Кэтлин Бэттл (Kathleen Deanna Battle) — американская оперная и камерная певица, много концертировала со спиричуэлс, пятикратный лауреат премии «Грэмми».

Патрик Юинг (Patrick Aloysius Ewing) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

«Забойщик Овец» (Killer of Sheep, 1977) — фильм-наблюдение за жизнью афроамериканцев в городском гетто от лица тихого, незаметного человека, который работает на бойне, чтобы прокормить семью.

Ли Морган (Edward Lee Morgan, 1938–1972) — американский джазмен-трубач, игравший в стиле хард-боп.



Фрэн Росс (Fran Ross, 1935–1985) — афроамериканская писательница.

Джонни Отис (Johnny Otis, 1921–2012) — американский музыкант, руководитель оркестра, прозванный «крестным отцом ритм-н-блюза». За свои достижения в качестве продюсера, сочинителя песен и открывшего многих звезд «охотника за талантами» был в 1994 году как «неисполнитель» принят в Зал славы рок-н-ролла.

Окрестность в Лос-Анджелесе.

Улица в Лос-Анджелесе.

Черные медведи двенадцать восемь (*исп.*).

Лулу Белл — героиня одноименного фильма «Lulu Belle» (1948), история о коварной певице-мулатке, обольщающей сильных мира сего.

Stomper — «МОЛОТИЛОВО».

Что это у тебя, Лысый?



Синдром запястного канала (карпальный туннельный синдром, англ. carpal tunnel syndrome) — неврологическое заболевание, проявляющееся длительной болью и онемением пальцев кисти.

Джонни Унитас (1956–2002) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1956 году. Выступал за команды «Балтимор Колтс», «Сан-Диего Чарджерс».

Катион, или положительно заряженный ион. Вся патогенная флора (вирусы, аллергены, пыль, грязь, выхлопные газы и т.п.) имеют положительный заряд, отсюда аналогия с черным цветом.

Блэкфейс (blackface) — водевильный стиль, когда белый комик изображает из себя черного, чаще всего с наложением грима. Иногда лицо раскрашивается жженой пробкой.

Эл Джолсон (1886–1950) — американский артист, стоявший у истоков популярной музыки США.

Бетти Буп — персонаж рисованных мультфильмов, созданный Максом Флейшером.

Родители Бетти по версии создателей — ортодоксальные евреи, однако в 1936 году оказалось, что ее дедушка — настоящий старомодный американец «с Дикого Запада».

Джеки Робинсон (1919–1972) — американский бейсболист, первый темнокожий игрок в Главной лиге бейсбола в XX в.



«The Second City» — театр комедийных импровизаций, созданный в 1959 г. в Чикаго.

«The Groundlings» — театр комедийных импровизаций, созданный в 1974 г. в г. Лос-Анджелес. Во многом является последователем «The Second City».

Непс — 1) извитый ворс, 2) курчавые волосы (*сленг*).

Братец Тамбо и Братец Боунс — герои представления «Virginia Minstrels» в стиле блэкфейс, поставленного в «Театре Нью-Йорк Сити» в 1843 г.

Мэйсон Риз (р. 1965) — американский актер, снимавшийся в детстве, в 1970-х гг., во множестве реклам.

Леонард Малтин (р. 1950) — известный американский кинокритик и историк кино. Написал много имевших успех книг о кинематографе, нередко построенных на ностальгических мотивах.

Персонаж министр-шоу, выступал в паре с «Зип Куном» (Zip Coon, что-то вроде «Ловкого Ниггера») — пышно одетым чернокожим, который успешнее «приспособился» к белой культуре.

Хэпкэт — музыкант-исполнитель джаза или свинга.



Синко де Майо (Cinco de mayo — пятое мая) — национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 г.

Тринадцатая поправка к Конституции США, запрещающая рабство и принудительный труд, была принята Конгрессом во время Гражданской войны в США, 31 января 1865 года, ратифицирована необходимым количеством штатов 6 декабря 1865 года, вступила в силу 18 декабря 1865 года.

1 марта 1932 года был похищен полуторагодовалый сын Чарльза Огастеса Линдберга, американского летчика, ставшего первым, кто перелетел Атлантический океан в одиночку. Ребенок был убит. Конгресс постановил принять «Закон Линдберга», сделавший похищение людей федеральным преступлением.

Имя Джим Кроу стало нарицательным для обозначения бедно одетого неграмотного чернокожего. Впервые имя Кроу появилось в песенке «Прыгай, Джим Кроу», спетой в 1828 году Томасом Райсом, эмигрантом из Англии, исполнявшим ее с вымазанным жженой пробкой лицом.

Термин энси (Master of Ceremonies) сегодня часто употребляют в связи с понятием «рэпер», который заводит публику своими импровизациями.

Дело Симпсона, в оригинале в документах «Народ против Симпсона» (People vs. Simpson): суд над О. Джей Симпсоном (англ. O. J. Simpson). В 1994 г. знаменитый американский футболист и актер О. Джей Симпсон был обвинен в убийстве своей бывшей жены Николь Браун-Симпсон (Nicole Brown Simpson) и её приятеля Рональда Голдмана (англ. Ronald Goldman). Это было самое затяжное судебное разбирательство в истории Калифорнии.

«Девятка из Литл-Рока» — девять чернокожих учащихся из города Литл-Рок штата Арканзас, ставших известными в связи с событиями 1957 года, когда белые пытались воспрепятствовать их совместному обучению в школе для белых.

В 1962 году государство потрясло большое количество массовых беспорядков, связанных с попытками восстановления чернокожим гражданином Джеймсом Мередитом своего конституционного права на образование, который хотел зарегистрироваться в Университете Миссисипи в качестве студента.



«Of Rice and Yen» («О Рисе и Йене») — звуковой перепев названия книги Джона Стейнбека «Of Mice and Men» («О Людях и Мышах»), опубликованной в 1937 году.

Дэвид Фостер Уоллес (David Foster Wallace, 1962–2008) — американский писатель, эссеист.

Осознанный рэп (conscious rap) — сфокусированный на поднятии вопросов, связанных с проблемами общества.

«Бостонские медведи», или «Бостон Брюинз» (Boston Bruins), — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге.

Базз Олдрин (1930) — американский авиационный инженер, полковник ВВС США в отставке и астронавт НАСА. Второй человек, ступивший на Луну.

«Чикаго Кабс» — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Центральном дивизионе Национальной лиги бейсбола.

«Виноградник» (Vineyard) — некоммерческий внебродвейский театр, располагающийся в Нью-Йорке.

Сэг-Харбор (Sag Harbor) — небольшое поселение, насчитывающее жителей чуть больше 2 тыс. человек. Традиционно — писательская колония. В колониальный период — один из ведущих центров китобойного промысла в Северной Америке.



Сеть ресторанов.

Vibe — американский развлекательный музыкальный журнал, основанный известным продюсером Куинси Джонсом в 1993 году. Издание специализируется на освещении новостей в основном афроамериканской музыкальной культуры.

Говорю по-испански.

13-я поправка — отмена рабства (1865 г.), 14-я поправка — равенство граждан (1866).

Code Red — 1. прохладительный газированный напиток от бренда Mountain Dew со вкусом вишни. 2. Красный уровень опасности в чрезвычайных обстоятельствах.

Решение Верховного суда 2013 года, вернувшее в избирательный процесс расовую дискриминацию.

Нецензурное ругательство (*исп.*).

«Отсози у меня, придурок» (*исп.*).



Плимутский камень (Plymouth Rock) — скала, к которой, по преданию, причалили в 1620 году высадившиеся с корабля «Mayflower» Уильям Бредфорд и прочие отцы-пилигримы. Эта высадка служит отправной точкой истории США.

В 1964 году член Верховного суда США Поттер Стюарт сказал это, чтобы описать свой критерий порнографии.

«Animal House» (1978).

«Мотаун» — американская звукозаписывающая компания, созданная в 1959 г. Продвигала афроамериканских исполнителей.

Боба Фетт — герой киносериала «Звездные войны», охотник за головами, который по непонятным причинам приобрел популярность среди поклонников фильма.

Рик Рубин — американский музыкальный продюсер и аранжировщик еврейского происхождения.

Та Неайзи Котс (Ta-Nehisi Coates).

«Равенство пороэль» — норма американского законодательства, оправдывающая расовую сегрегацию.



Нью-йоркская белая рэп-группа, образованная в 1989 г.

Кьюба Гудинг Мл. (1968 г.р.) — афроамериканский актер кино, театра и телевидения, лауреат премии «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».

Корал Смит (1979 г.р.) — актриса, учасница реалити-шоу.

«Реальный мир» — реалити-шоу.

Скрич — герой ситкома «Saved by the Bell» (1989–1993).

Дэвид Лоуренс Швиммер — персонаж из сериала «Друзья».

Джордж Констансас — персонаж американского ситкома «Seinfeld» (1989–1998).

Презрение (*фр.*).



Марк Ландсбергер (1955 г.р.) — закончивший карьеру член команды Chicago Bulls.

Соджорнер Трут — американская аболиционистка и феминистка, рожденная в рабстве. Известна своей речью «Разве я не женщина?», произнесенной в 1851 году.

Момс Мабли (1894–1975) — американская исполнительница стэндапов в театрах сети Читлин, позднее — участница шоу Эда Салливана.

Сидящий Бык (1831–1890) — вождь индейского племени хункпапа, возглавлявший сопротивление коренного населения вооруженным силам США.

Сесар Чавес (1927–1993) — известный американский правозащитник, борец за социальные права трудящихся и мигрантов, национальный герой Соединенных Штатов Америки, сторонник веганства.

Итиро — японский профессиональный бейсболист.

Дональд Гоинс (1936–1974) — афроамериканский писатель.

Честер Хаймс (1909–1984) — американский писатель.



Эбби Линкольн (1930–2010) — американская джазовая певица, актриса.

Маркус Гарви (1887–1940) — ямайский политик, деятель всемирного движения чернокожих за права и освобождение от угнетения. Основатель Всемирной ассоциации по улучшению положения негров.

Элфри Вудард (1952 г.р.) — американская актриса.

Кроссовер — маневр в баскетболе, при котором игрок во время дриблинга резко переводит мяч с одной руки на другую, изменяя направление движения.

Кларенс Купер-младший (1934–1978) — американский писатель.

Майя Дерен (1917–1961) — американский режиссер независимого кино, хореограф, этнограф, теоретик авангарда.

Sun Ra, или Герман Пул Блаунт (1914–1993), — американский джазовый композитор, поэт и философ, постановщик спектаклей, известный своей экспериментальной музыкой, «космической философией».

Кэндзи Мидзогути (1898–1956) — японский кинорежиссер, один из крупнейших мастеров японского кинематографа.



Гун Ли (Gong Li, р. 1965) — сингапурская актриса.

Дэвид Хаммонс (David Hammons, р. 1943) — американский художник.

Хризалида — куколка бабочки.

Пьеса Юджина О'Нила, знаменитого американского драматурга.

Клиффорд Одетс (1906–1963) — американский драматург и сценарист.

Штат Аризона славится своими глупыми законами.

Хэтти Макдэниел (1895–1952) — первая из чернокожих артистов, удостоенная премии «Оскар».

Вулканцы — инопланетная раса из научно-фантастического сериала «Звездный путь» (*англ.* Star Trek).



Цитата из филма «Сокровища Сьерра Мадре» (1947).

Чорисо — пикантная свиная колбаса.

Бок-Чой — китайская листовая капуста.

Будь смелым (*шведск.*).

«Власть наша!» (зулу) — лозунг черного сопротивления в ЮАР времен апартеида.

Джонатан Уинтерс (1925–2013) — американский комедийный актер.

Джон Кэнди (1950–1994) — канадский киноактер, комедиант, сценарист и продюсер.

Уильям Клод Филдс (1880–1946) — американский комик, актер, фокусник и писатель.



Джеки Глисон (1916–1987) — американский комедийный актер и музыкант.

Розанна Барр, Розанна — американская актриса, комедиантка, сценарист, персона телевидения, продюсер.

Орентал Джеймс «О. Джей» Симпсон — американский актер и футболист. Получил скандальную известность после того, как был обвинен в убийстве своей бывшей жены и случайного свидетеля. Оправдан судом присяжных.